ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН



ТЕАТР АБСУРДА

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН



ЕАТР
АБСУРДА

Комедийно-философское повествование о моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров.

НЬЮ-ЙОРК – ИЕРУСАЛИМ – ПАРИЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ" • 1984

Viktor Perelman:
"Teatr absurda"

Cover design by Vagrich Bakhchanyan

Виктор Перельман
"Театр абсурда"

Художник Вагрич Бахчанян

Published in 1984 by "Time and We"
475 Fifth ave, suite 511-A
New York, New York 10017
Printed in Israel

ISBN 0-914481-02-9

МОЕЙ ЖЕНЕ АЛЛЕ ПЕРЕЛЬМАН
ПОСВЯЩАЕТСЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП "АВРОРЫ"

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Часть первая
РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я

НЬЮ-ЙОРК

Ах, как мало в нашей жизни значат цель и преднамеренность! Все определяет случай. Вот надумали вы поступить определенным образом и заготовили на этот счет все необходимые мысли, и все в голове уложено в стройную пирамиду, но вдруг какой-то с виду чистейший пустяк ломает ваши планы, и вы, пленник случая, ровным счетом ничего не можете переиначить.

Так и с этой моей книгой, для которой у меня уже давно было заготовлено начало и которое я раз десять выверил в своей голове, — все получалось логичным, основательным и соответствующим теме. И я уже готов был сесть за машинку, как вдруг вмешалось совершенно комичное обстоятельство — я получил от своего старого московского знакомого курьезнейшее и неизвестно как прорвавшееся сквозь железный занавес письмо: как они там в Москве, сидя в пивном баре Дома журналиста, рисуют мою жизнь в Нью-Йорке.

Когда-то, эдак лет двадцать пять назад, мы служили вместе с ним в многотиражной газете "За отличный рейс" под

руководством нашего незабвенного редактора Никиты Ивановича Болотникова, он же "Болт", он же "Кувшиное рыло" (никогда не пытайтесь искать логики в редакционных прозвищах). И всякий раз, пока в типографии "Московской Правды" печаталась наша газета, а Никита Иванович почивал у себя дома в Красной Пахре, мы шли с этим моим приятелем в "поплавок" и, заказав по сто пятьдесят грамм и кружке пива, предавались мечтам, как будем прорываться в большую прессу. И с чего бы ни начинали, рано или поздно наш разговор обращался к хрущевскому зятю и фавориту Алексею Ивановичу Аджубею. При имени Аджубея глаза у Миши Блоха — так звали моего приятеля — загорались нездоровым и даже каким-то плотоядным блеском, каким обычно загорались, когда, едучи в перовской электричке, он натыкался на нечто способное скрасить его вечер.

Между прочим, родился он как раз в Перове, в патриархальной еврейской семье, папа его был шотхеном, что не помешало стать Мише настоящим половым разбойником, перед которым не могла устоять ни одна из перовских заочниц.

Заочницы были Мишиной специальностью. Действовал он обычно в электричках, идя на стыковку со своими жертвами в тамбурах. "Вы — заочница?" — неотразимо вздымал он свои черные мефистофельские брови. Все остальное было делом времени, счет которому он никогда не забывал вести: не более вечера на заочницу.

О времени он забывал, лишь когда усаживался в одном из мягких кресел Дома журналиста и начинал анализировать жизнь московских редакторов, — он был кладезем информации, которой он готов был поделиться с вами в любое время суток.

По имеющимся у Миши сведениям, Аджубей уже давно не жил с хрущевской дочерью Радой, как никогда не бывал в "Известиях". Всю работу за него делали "негры", а сам он постоянно сопровождал Никиту в его поездках по миру и по Америке. При слове "Америка" Миша откидывался в кресле и, блаженно затянувшись сигаретой, смолкал.

Позже, когда наши дороги разошлись – я ушел в "Литературку", а Миша — неизвестно куда (злые языки говорили,

что он пристроился в журнале "Служба быта"), и мы почти не встречались, — так вот, позже, когда я подал заявление в Израиль, Миша, как мне рассказывали, страшно упился в баре ДЖ, стал мне прочить великое будущее, но позвонить и попрощаться так и не решился.

И вот, скажите, кто бы мог предвидеть, что спустя столько лет он решится написать мне письмо — и куда? — прямо в Нью-Йорк, на Пятую авеню, в редакцию журнала, само название которого, я думаю, он никогда не произносил вслух.

Из вежливости, в начале письма он спросил, помню ли я его, затем сообщил, что Никита Иванович в позапрошлом году отдал концы, и безо всякой связи с предыдущим стал расписывать слухи, которые ходят про меня в Московском Доме журналиста. Понять, что было правдой, а что было его комментарием, не представлялось никакой возможности.

Во-первых, сразу же по приезде из Израиля в Америку я был приглашен в Вашингтон, где меня назначили советником по русским делам. В связи с этим у меня и появился собственный дом в штате Нью-Джерси. О таком офисе, как у меня, разумеется, не мог мечтать никакой вшивый Аджубей: в центре Нью-Йорка, на сто пятом этаже, в одном из тех нью-йоркских небоскребов, где, согласно газете "Правда", обделывают свои дела самые крупные воротилы Уолл-стрита. Впрочем, в этом офисе я почти не бываю, поскольку все мое время отнимает Вашингтон. А в редакции все за меня делают "негры", одним из которых и мечтал стать друг моей юности.

Так вот, уважаемый читатель, мог ли я начать свою книгу, не упомянув этого письма из Москвы, тем более, некоторые его мотивы явно перекликаются с некоторыми выступлениями в эмигрантской печати. Не в том, конечно, смысле, что Вашингтон не делает без моего совета и шага, — такого со страниц эмигрантской печати мне не услышать до конца дней, а вот в том смысле, что работают на меня безгонорарные "негры" и что именно за их счет и появился у меня дом в штате Нью-Джерси и уж пару копеек я на журнале имею — не то, зачем бы я стал держать журнал — идиоты в наши дни перевелись.

Боже, как добры и прекрасны люди в своих представлениях о ближнем и о мире, в котором они живут! И каково будет историкам будущего разгребать эти Гималаи добра. Конечно, указанным историкам я мог бы предъявить все семьдесят четыре выпущенных мною журнала, но ведь вопрос в том, как я их выпустил. Не стану же я уверять, что я это сделал один, а если не один — то с кем? А если с кем-то — то платил ли за это? А если платил — то по каким ставкам? Хорошо, что историки будущего — не сотрудники ОБХСС. Можно представить, сколь интересен был бы этот диалог-допрос! Но, с другой стороны, овеянный подобной "славой", я чувствую себя просто не вправе скрыть от историков будущего, как и в каких условиях, расположившись в Нью-Йорке, в центре мира, жил и издавался один из самых популярных журналов русского зарубежья.

Читателей будущего, возможно, будет интересовать все — начиная от того, откуда взялся этот журнал и его редактор и как он жил, и кончая тем, как жили и существовали его сотрудники.

Итак, по порядку, вначале об офисе, который расположен в самом центре Нью-Йорка, на Пятой авеню. Сюда, точнее, на центральную автобусную станцию, я отправляюсь каждое утро из своей Леонии, расположенной на Востоке штата Нью-Джерси.

Улица, на которой я живу, называется Хайвуд авеню. Из ее обитателей я знаком только с соседом справа, по фамилии Виноград. Мы познакомились, когда, выпив во время новоселья, я стукнул задом своего "Бюика" его новенькую "Субару", с которой он каждое утро сметал пылинки. Я тотчас же отправился к нему и сознался в содеянном. Он молча дымил сигарой и назавтра принес мне на выбор два счета двух разных компаний за ремонт "Субары" — один на четыреста долларов, другой — на четыреста пятьдесят.

Соседей напротив, несмотря на то что мы живем в Леонии третий год, я не знаю вовсе. То есть я, конечно, знаю, что они существуют, но я не знаю их имен и — что уж совершенно нелепо — я плохо различаю их лица. Может быть, потому что я

их почти не вижу. Несмотря на то, что Хайвуд авеню мне кажется самой зеленой и самой красивой улицей в мире, они имеют обыкновение появляться на ней только два раза в сутки — один раз утром, когда заводят машину и выезжают из гаража, и другой раз — вечером, когда паркуются возле своих домов.

Впрочем, этим я совсем не хочу сказать, что наши отношения прохладны. Скорей, наоборот. В те редкие мгновения, когда они меня видят, на их лицах появляется солнечная улыбка и они весело приветствуют меня: "How are you doing?" (что в переводе с английского означает, как я себя чувствую?). На моем лице загорается нечто не менее лучезарное, и я восклицаю: "Fine!" (что означает — прекрасно!). Я знаю, что у меня есть варианты: "O'key" или "Not bad", или All right". Но мне больше всего нравится "fine" своей безапелляционной законченностью. Можно "Not bad". Но почему "Not bad"? Между нами может возникнуть диалог, что, по-моему, ни в мои, ни в их планы не входит. Один мой знакомый из Бруклина решил провести эксперимент и на веселое восклицание соседа: "How are you doing?" ответил: "Bad, very bad!" Сосед на него посмотрел таким взглядом, будто плюнули ему в душу, и с этого дня перестал с моим знакомым здороваться.

Мой путь от дома до офиса занимает меньше часа. Из них пятнадцать минут, выйдя из центральной автобусной станции, я иду с запада на восток по самой экзотической улице мира — Сорок второй стрит, где с утра до вечера бродят вечно бормочущие себе что-то под нос философы. Мой приятель и сосед по Леонии математик Борис Мойшензон говорит, что если кто-то ему и внушает ужас на Сорок второй, то это не буйные пуэрториканцы и не гигантские негры, напоминающие наших доисторических предков, а едва слышно бормочущие философы, поскольку никогда не известно, о чем именно они бормочут, проходя мимо тебя.

Так вот, если по Сорок второй вы дойдете до Пятой авеню и, пересекши ее, свернете направо, то упретесь в знаменитый "Колумбия билдинг". Миновав мраморный вход и очутив-

шись в отделанном бронзой мраморном лобби, вы должны будете подняться на лифте на пятый этаж (сто пятый этаж — был некоторым преувеличением), затем свернуть налево и еще раз налево — и тогда вы окажетесь перед дверью, на которой вы увидите наклеенную мощную золотую цифру: 511-А, а под ней такими же золотыми буквами выведено: "ГИЛДЕСМАН ИНКОРПОРЕЙТЕД" и "АМЛЕВ ИНТЕРНЕЙШЕНЛ".

Открыв дверь, вы попадете в темный предбанник, а, свернув из него направо, окажетесь в редакции международного журнала литературы и общественных проблем "Время и мы". Поскольку в Америке все измеряется на футы, я вечно путаю, сколько в нашем офисе метров и сколько футов, но, боюсь, что по площади он явно уступает редакции газеты "За отличный рейс", где, кроме Никиты Ивановича, размещалось еще пять сотрудников.

В редакции нашего международного журнала есть место максимум для двух столов: один мой, то есть редактора, другой — моей правой руки и зама, она же — литсекретарь, худред, корректор, зав.отделом писем и машинистка. Чтобы уже закончить с офисом, надо еще упомянуть о пяти громадных, поставленных друг на друга ящиках для рукописей графоманов.

В моем письменном столе также несколько ящиков, в которых для рукописей нет места. Мой стол — моя крепость, крепость против всех, кому я должен, а должен я всему миру: читателям, которые разочаровались в последних номерах, подписчикам, которые вовремя не получили журнал, авторам, которые требуют гонорара, нью-йоркской телефонной компании, фирме Ай-би-эм, Сити-банку и, конечно же, хозяину офиса мистеру Гилдесману.

Поэтому ящики моего стола полны неоплаченных счетов и платежек, гневных писем читателей, требованиями подписчиков вернуть деньги за недоставленные журналы и, конечно же, претензиями авторов, которым надоело быть безгонорарными "неграми". Вот самая последняя — от одной из наших старейших и уважаемых авторш, — радует меня следующим изящным пассажем: "Дорогой и многоуважаемый Виктор

Борисович, посылаю вам интервью с портретистом века Иваном Григорьевичем Костомаровым — последним потомком Ильи Ефимовича Репина и автором семисот семидесяти шести портретов замечательных людей, в том числе Джона Луи Бонапарта, скончавшегося месяц назад в Лос-Анджелесе. Я вложила в это интервью, дорогой Виктор Борисович, столько сил, что на этот раз меньше, чем за пятьдесят долларов, вам не отдамся".

Переступая порог редакции, я бросаю ястребиный взгляд на стол: сколько пришло сегодня... Нет, не рукописей, уважаемый читатель, о рукописях несколькими строками ниже — а сколько пришло чеков от новых подписчиков.

Все мои друзья уже давно жаждут подписаться, но в последний момент каждому что-то мешает: один — вот напасть! — только что потерял работу, другой — напротив — только что купил за сто пятьдесят тысяч дом, третий — именно вчера решил завязать и читать только по-английски, четвертый... ах, Боже, — что же случилось с четвертым? — У четвертого — журнал, как назло, не влезает в почтовый ящик.

И если чеков становится все меньше, то с рукописями как раз наоборот: пяти ящиков уже не хватает и на днях ставим в коридор шестой. Рукописи присылаются разные (самые опасные — это те, у которых заголовки выведены золотой вязью. Золотая вязь — признак пробивного таланта их автора) и большинству из них предпосланы похожие как близнецы авторские послания. "Дорогая, многоуважаемая редакция! Впервые я увидел ваш журнал еще в Риме и с тех пор загорелся мечтой при первой же возможности...". Нет, не подписаться на журнал загорелся наш страстный автор. О подписке уже было несколькими строками выше — а решился прислать нам свое нетленное творение, которое т а м, естественно, не смогли оценить и которое, как он смеет надеяться, оценят здесь, в его любимом издании. Если же редакция не найдет возможным его напечатать, то он просит ее высказать свое мнение, чтобы знать, как ему быть со своим талантом в этой проклятой Америке, где все только и кричат: "Доллары, доллары" и ни в грош не ценят настоящую литературу.

Все это касается литературной жизни, которая кипит на моем столе. Моя правая рука и зам, она же в прошлом ученый секретарь Комиссии по содружеству наук и тайнам творчества при Академии наук СССР, сидит от меня слева, за столом, стоящим перпендикулярно к моему. На ее столе размещено наше главное орудие производства, наша альма-матер, которую я вывез из Израиля, — электронный композер, на котором набирается наш журнал. Альма-матер — это большая пищая машинка. Моя правая рука, естественно, ненавидит нашу альма-матер всеми фибрами своей души. "Скажите, что вам нужна обычная машинистка, — говорит она всякий раз, когда я начинаю поторапливать с набором. — Вы просто воспользовались невинностью малютки!" Но я не хочу лишиться своей правой руки, поэтому я говорю, что машинисток в Нью-Йорке — как нерезаных собак — а правая рука у меня одна.

У моей правой руки, если быть откровенным, характер не сахар, хотя она постоянно восклицает: "Я — ангел!" И неизменно требует, чтобы я называл ее "умница и красавица". И я готов это делать, поскольку это соответствует действительности. Но мне всегда что-то мешает, как вечно что-то мешает моим друзьям подписаться на журнал. То я встаю не с той ноги, то на столе вместо стопки чеков обнаруживаю гору рукописей, увенчанных золотой вязью, то в журнале проскакивает неприятная описка, вызывающая негодование наших читателей.

Однажды произошло нечто страшное. Великий вождь мирового пролетариата Лев Давидович Троцкий был назван в нашем просвещенном издании Львом Борисовичем (позже никто из нас не мог найти этому рационального объяснения).

— Ах, как вы это могли пропустить!? Как вы только могли? — держался я за сердце.

— Ах, как я могла пропустить! А почему вы не посчитаете, сколько нелепостей я не пропустила? Боже, что за нещедрость на доброе слово!

В нашей редакции никогда не бывает денег, и поэтому ни о какой другой нещедрости речь не заходит.

На столе моего зама нет живого места. Что же касается содержимого ее ящиков, то о нем я вообще говорить не

намерен, поскольку перечислить его все равно не смогу, а врага в лице зама — наживу. К моему заму я еще вернусь, а пока о прочих фирмах, по-соседству с которыми размещается наш журнал.

Первая из них находится в той же комнате, что и редакция, примерно в полутора метрах от моего стола, точнее, между столом и входной дверью. Название фирмы ее президент москвич Нолик Вольман пока что держит в секрете, но даже его недоброжелатели признают, что в его руках самый сногсшибательный бизнес в Нью-Йорке. Чтобы не томить читателя и не без тайного умысла создать Нолику рекламу, скажу, что Нолик решил сделать деньги на тибетской медицине и продает своим клиентам целебное мумие (за что недоброжелатели прозвали его фирму "Мумие инкорпорейтед" и, будучи неспособными к полету фантазии, пустили слух, что мумие — это просто мышиный помет). В том, что он сделает на мумие миллион, у Нолика нет никаких сомнений, но пока из-за отсутствия стола, сам президент на фирме почти не бывает. Бизнес он ведет по телефону, давая указания моему заму, какое количество целебных шариков и за сколько долларов отпустить тому или иному клиенту. Последние вместе с целительным препаратом получают пятнадцатистраничную методичку советских академиков — Алтымышева и Корчубекова "Что мы знаем о мумие?"

По всем вопросам бизнеса редакцию консультирует президент фирмы "Амлев интернейшенл" Илюша Берков (если помнит читатель, ее название золотыми буквами украшает вход в отсек 511-А). Именно ему я обязан тем, что вместе с журналом оказался в одном из самых роскошных зданий Нью-Йорка под одной крышей с воротилами Уолл-стрита. И именно он, преисполненный заботами о журнале, представил меня хозяину нашего отсека 511-А и президенту фирмы "Гилдесман инкорпорейтед" Майклу Гилдесману, уже вскользь упомянутому мной среди моих кредиторов.

По словам Илюши, который выглядит стопроцентным американцем, большего нуля в американском бизнесе, чем я, ему встречать не приходилось. Мы оба с ним гуманитарии —

но в отличие от меня, окончив Колумбийский университет и расставшись с политологией, он и в бизнесе уже успел съесть собаку. С внешним миром президент фирмы "Амлев интернейшенл" общается исключительно по-английски, не придавая огласке совершенно ничтожного факта, что девятилетним ребенком родители вывезли его из Риги в Израиль. Дома родители разговаривали с Илюшей всегда на идиш, и поэтому Илюшин русский отличается от русского Качалова или Аллы Константиновны Тарасовой, но он явно питает к нему необъяснимую слабость и старается разговаривать со мной и с моим замом исключительно пословицами и поговорками, которых знает несметное множество и в самых новейших вариантах.

"За столом никто у нас не лифшиц, Виктор Борисович!" — восклицает он, видя, как почтальон вручает мне очередную рукопись графомана.

Какими делами занята фирма "Амлев интернейшенл", я представляю довольно смутно. Но от моего взгляда не ускользнуло, однако, что, сопровождая меня на встречу к Майклу Гилдесману, Илюша вошел в наше мраморное лобби походкой начинающего воротилы Уолл-стрита.

Мое вселение в эту цитатель капитала совпало с судьбоносным событием в жизни фирмы "Амлев интернейшенл". Именно в этот день была основана ее дочерняя компания "Хадсон секьюрити" — что в переводе на русский означает "Замки Гудзона" и сулит куда быстрее, чем "Амлев интернейшенл", приблизить Илюшу к первому миллиону.

Правда, первые замки Гудзона должны были производиться не на Гудзоне, а на Аярконе, на берегах которого в центре Тель-Авива Илюша и разыскал себе партнеров для дочерней фирмы "Хадсон секьюрити". Ими оказались два русских бизнесмена — Сеня и Изя, которые, еще не сделав ни одного замка, едва не разошлись на почве того, в какой упаковке отправлять их из Тель-Авива в Нью-Йорк.

По-моему, Илюша проклял тот день и час, когда он с ними связался. Но, как всегда, он был полон оптимизма. "Тише едешь, дальше будешь, Виктор Борисович". Однако по секрету он сообщил, что вступил в сепаратные переговоры еще с

одним русским бизнесменом — Пиней из Несционы,главным конкурентом Изи и Сени по части производства замков. И очень скоро пришел на работу с маленькой картонной коробочкой, украшенной звездой Давида.

"Нет такой золотой крепости, которую бы не взяли два еврея, увидев позади третьего", — сообщил Илюша и элегантным движением раскрыл коробку, в которой было уложено нечто стальное и непонятное. По его сияющему лицу я понял, что передо мной долгожданный образец изделий американо-израильской компании "Хадсон секьюрити".

Но если оставить в стороне все эти "бобкес", как их называет Илюша, то во что бы превратился наш журнал, если бы не помощь со стороны президента двух самых крупных компаний нашего отсека. И если вы копнете, читатель, самые глубины моей души, то в них теплится — о Господи, даже страшно произнести вслух! — в них теплится затаенная мечта превратить наш международный журнал в дочернюю компанию фирмы "Хадсон секьюрити" — союз замков и литературы!

Да, чуть не забыл главное. Пока что фирма "Хадсон секьюрити" имеет в соседней комнате примерно столько же места сколько в нашей комнате — "Мумие инкорпорейтед".

Но, а кто же занимает все остальное? Вот и наступило мне время представить главное лицо нашего отсека, равно, как и главное действующее лицо первой сцены моего повествования, президента фирмы "Гилдесман инкорпорейтед" Майкла Гилдесмана.

Как же злобно клевещут на Америку те, кто утверждает, что здесь не в моде русский язык! "Вы знаете цто, — первое, что я услышал от Майкла Гилдесмана, — мозете называть меня Матвеем Абрамовицем". Я понял, что в свои восемьдесят восемь лет Матвей Абрамович запамятовал некоторые буквы русского алфавита. Но это ничуть не повлияло на его колоритную личность. И хотя его походка не наводит на мысль о мощи мирового капитала, по-моему, он единственный из нас, чей облик несет на себе черты воротилы Уолл-стрита.

Чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать, как два раза в неделю он появляется в своем офисе. Никогда в жизни

без сопровождения (как и полагается акуле с Уолл-стрита) и всегда в сопровождении одного и того же лица — высокого черного официанта (нашего единственного безгонорарного негра!) с подносом на элегантно вытянутой руке. Один мерно плывет за другим. Впереди Матвей Абрамович, вслед за ним поднос со множеством тарелочек, наполненных зеленью, за ним безгонорарный негр и завершает шествие старый еврей в ермолке со счетной машинкой в руках — бухгалтер компании "Гилдесман инкорпорейтед". Матвей Абрамович шумно жует салат, бухгалтер считает на счетной машинке. Что он все время считает? Ах, не задавайте мне вопросов, на которые никто в мире, кроме Матвея Абрамовича и его бухгалтера, не сможет ответить.

Великодушно разрешив называть себя Матвеем Абрамовичем, он оглядел меня добрым стариковским взглядом и сказал: "Вы, наверное, узе слысали от моего друга Беркова, какое у меня доброе сердце". И попросил за мой будущий офис 550 долларов. Я сказал: 350. Матвей Абрамович — 450. Я сказал 400. Матвей Абрамович — 420. И попросил первую плату внести сейчас же. А в дальнейшем 1-го числа каждого месяца.

"Знаете, я такой целовек, цто всегда помогаю лудям", — заключил он и стал подозрительно рассматривать мой чек. Затем он спрятал его в карман и сказал, что с этой минуты я, как и Илья Берков, становлюсь его лучшим другом. Если швейцар спросит, куда я иду, я должен послать его к цорту и сказать, что иду к своему большому другу мистеру Гилдесману. "А как же журнал "Время и мы"? — "Посылайте всех к цорту. Вы мой друг — и концено. Так же, как мой друг Илья Берков". — "А как же мой зам и правая рука?" — "Эта та барышня в оцках? — Тоже мой друг. Нет, она лучце ваш друг, секретарша моего большого друга!" — "А молодой человек?" — вспомнил я про Нолика. "Это который сариками торгует? Это тоже мой друг. Цорт возьми, почему я не имею права иметь много друзей?! Вы знаете, сколько я нахозусь в этом билдинге? — Сорок три года. И все знают, что я всю жизнь помогаю лудям".

О, где ты мой старый, добрый приятель Миша Блох! Сидишь небось и треплешься в Доме журналиста, как не

может без меня обойтись Вашингтон. А между тем, какой пропадает материал! Какой материал для рубрики "Их нравы"!

Одна только надежда на читателя, нет, нет, на зрителя, перед которым я вывожу галерею своих героев и который, может быть, уже догадался, что в этой цитадели с мраморным лобби и в помине не числилось ни "Времени и нас", ни "Амлев интернейшенл", ни "Хадсон секьюрити". А расположена здесь компания больших друзей и подруг мистера Гилдесмана, у которого, как известно всему Нью-Йорку, доброе сердце и который в свои восемьдесят восемь лет не перестает помогать лудям.

Между нами не принято говорить о презренном металле. А говорим мы исключительно о дружбе и первого числа каждого месяца передаем друг другу приветы: Нолик мне, я — Матвей Абрамовичу, Илья — ему же. Как хорошо жить в мире, где так бескорыстны и так братски участливы люди!

Когда, например, забыв про первое число, я не являюсь на работу и не приношу нашему хозяину чек, то нет никакого шума, никто не грозит адвокатом. А просто Матвей Абрамович, плывущий впереди подноса, заглядывает в редакцию и, обшарив по сторонам своим добрым стариковским взглядом, спрашивает моего зама: "Скажите, позалуйста, мой друг — господин Виктор — случайно мне не передавал привет?" — "Нет, не передавал", — следует не лишенный тайного сладострастия ответ. "Тогда скажите, что я передаю ему горячий привет". Через неделю та же картина. Тот же безгонорарный негр, поднос с зеленью и то же доброе стариковское лицо: "Здравствуйте! Как дела? Что мой друг — господин Виктор? Все еще не передавал привета?" — "Нет, не передавал!" — "Тогда, будьте любезны, пусть он пришлет свой привет по поцте".

Вот в этот дивный уголок, в это царство добра и справедливости.я и приглашаю своих многочисленных доброжелателей.

Джентльмены! Занавес поднят. Только три ступеньки вперед. Ну, что же вы стоите? Ах да! Я, кажется, понял: вас не устраивает клоунада. Вы хотите, чтобы все было серьезно и все по порядку. Я готов. Я уже начинаю...

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ИЗГНАНИИ

В мире определенно действует закон, согласно которому абсурд заложен в самой природе вещей.

Кестлер первый сказал, что человек с его страстью к самоуничтожению есть ошибка эволюции. Возможно, пойди он дальше, то пришел бы к выводу, что ошибкой эволюции является вся наша цивилизация, которая по мере своего развития все больше превращается в фарс, что комедия, в сущности, не есть жанр театра, а есть жанр жизни и — кто знает — может быть, сама история — это просто театр абсурда, а комедийность есть главная закономерность жизни современного человека. Кестлер был непревзойденный мастер вылущивать комедию из трагедийнейших сторон жизни. Даже избранному народу, страдающему по Израилю и в дни еврейских праздников неизменно поднимающему тост: "В будущем году в Иерусалиме!" — он бросил с усмешкой: "Да перестаньте же валять дурака — или пойдите в любое агентство и купите билет на самолет, или перестаньте бормотать о своей избранности".

Наша планета просто кишит комедийными персонажами, среди которых я вижу и себя и нисколько не стыжусь этого, поскольку нахожусь в компании таких добропорядочных людей, о коих и писать неловко в столь приземленном стиле. Да вот хоть включите телевизор — я уверен, что вам повезет и вслед за кипящим, только что со сковороды, гамбургером — гигантской котлетой в разверзнутой пасти, вы увидите такого милого, такого обаятельного старичка-актера с румянами на щеках и без конца строящего вам глазки. Все аплодируют, все кричат старичку "браво"! И вы тоже благосклонно улыбаетесь. "Это же надо: мог бы уж и внуков нянчить, а он все печется о благе Америки!"

А на другом конце планеты его коллега и почти одногодка — хоть не из актеров, а из партаппарата (все смешалось в доме Облонских) печется о том же и с двумястами семьюдесятью миллионами своих сограждан строит самое справедливое общество на земле. Правда, в отличие от своего предшественника он не вылавливает нерадивых подданных в ба-

нях и не отправляет их голыми, прямо из парных, по месту работы, чтобы не ленились строить самое справедливое общество на земле.

Как объяснил нам Маркс, история развивается вначале как трагедия, а затем как фарс. Похоже, что трагедию он упомянул лишь для красного словца — лично я вижу вокруг себя один только фарс. Так что, ради Бога, не взыщите, читатель, если я позволю себе иногда пошутить, вот так просто — без всякого умысла оскорбить ваш трагедийный настрой. Я не буду злоупотреблять вашим терпением и ломать без конца комедию. Я буду просто скромно идти за жизнью и исследовать предмет за предметом. А предметом номер один, как вы, наверное, догадываетесь, является все происшедшее с нами после того,как мы погрузили себя вместе со своими семьями и пожитками в поезда и самолеты и взяли курс в направлении своей исторической родины.

Для меня это началось в восемь утра 10 января 1973 года, когда в одном из залов Шереметьевского аэропорта происходило то, что называлось в том мире таможенным досмотром.

Настроение мое в то утро, прямо скажем, не было столь философически прекрасным, как сейчас, когда, упершись взглядом в живописный дом своего американского соседа Винограда я предаюсь воспоминаниям. Короче говоря, в это утро произошло худшее, что могло произойти: КГБ меня уличил в самом ужасном, в чем только мог уличить, — за несколько минут до отлета, когда в набитом до отказа пассажирами самолете уже задраивались люки и он готовился взять курс на Вену, — именно в этот момент в моем чемодане была обнаружена антисоветская речь. То есть это была не речь, а нечто куда худшее — мое выступление на будущей пресс-конференции, посвященной созданию международной еврейской газеты, редактором которой я должен был стать. И тут я снимаю с себя всякую ответственность за то, насколько достоверным будет выглядеть весь мой дальнейший рассказ: хотите верьте, хотите нет. Но это могло быть только со мной — с моей маниакальной одержимостью создавать газеты и не менее маниакальной рассеянностью, — чтобы за

пять минут до отлета, соблюдая до сих пор меры предосторожности, до которых не додуматься самому полковнику Абелю, собственноручно вручить КГБ речь, из которой было видно, что мне прямо-таки не терпится заняться антисоветской деятельностью.

Да, я лично вручил, и не без выраженья на лице, — что де вот так просто нас на наживку на поймаешь, — этот обличающий меня документ. Но прежде чем продолжить, я должен открыть нечто, что, может быть, и по сей день остается секретом для израильского правительства.

Поскольку до нас доходили отрывочные слухи, что наша историческая родина несет на себе некие черты провинциальности, то каждый только для вида говорил и писал, что намерен взять и просто воссоединиться с ней. Мы рвались осуществить на этой исторической родине революцию — во всех областях буквально. Стране нужны были новые кадры, новое правительство, новые порядки. Поэтому не будем удивляться, что мы направлялись туда как своего рода правительство в изгнании: ехали не просто, скажем, инженеры и доктора наук, но готовые директора НИИ, руководители КБ, члены Кнессета, главы дипломатических миссий, создатели национального кино и телевидения. Были среди нас даже авторы приборов по опреснению морской воды. И даже корректор журнала "Советиш Геймланд" Изя Циперсон решил плюнуть в физиономию своему шефу Арону Вергелису и отправиться в Израиль, чтобы создать литературный идишистский журнал. В этой гвардии революционеров и преобразователей, естественно, нашлось место и мне, редактору международной сионистской газеты, которую для ее большей эффективности планировалось издавать на трех языках — на иврите, английском и русском.

Впрочем, без иврита я как будущий ее редактор хотел временно обойтись, с русским проблем не было, — задачей задач было за время сидения в отказе изучить английский.

Начал я с того, что подобрал себе зама по английскому изданию — это был некий бывший внештатный гид Интуриста Саша Фут, который переселился в мою квартиру на улице Правды, и мы стали говорить с ним исключительно по-анг-

лийски. Занятие это было довольно нудным — Фут был страшным соней, и по-английски я в основном его только будил, а он на том же английском, как мог, отбивался. И вот, для того чтобы расширить мой английский словарь, мы решили обогатить тематику, и главной темой бесед стала наша будущая сионистская газета. Теперь, как минимум, два раза в день мы выступали по телевидению. Фут был интервьюером, а я давал интервью, естественно, о том, как новая газета будет разоблачать антисемитскую политику советского правительства.

Изо дня в день темы углублялись, мы говорили о штатах будущей газеты, о ставках, о ее корреспондентах: у Фута, когда он окончательно просыпался, разыгрывалась буйная фантазия. Особенно он донимал меня своей будущей ставкой и требовал, чтобы весь текст своих ответов я заучил наизусть. Для этого я переписал их на последних страницах толстой тетради. Первая половина была невинным русско-английским словарем, последние три страницы — моя страстная речь перед западными корреспондентами: "Евреи не могут спокойно спать, пока существует Кремль".

В ночь перед отъездом я произвел генеральную чистку своих чемоданов, выбросил учебник иврита "Элеф-милим", с помощью названий московских универмагов закодировал две записные книжки с адресами будущих вызовов и даже выдрал из общей тетрадки составленный мной и Футом англо-русский словарь.

Чистка и кодировка продолжалась много часов подряд и кончилась где-то к пяти утра. Я валился с ног от усталости, и только этим объясняю, что моя будущая речь насчет того, что, пока существует Кремль, евреи не могут спокойно спать, — так и осталась нетронутой.

О моем состоянии в момент, когда я увидел это произведение в руках проводящего досмотр лейтенанта ГБ, я предоставляю догадаться читателю. Лейтенант долго и с олимпийским спокойствием изучал мою речь, потом знаком руки предложил приостановить досмотр. Появился подполковник, который, куда-то позвонив, вообще не стал читать речь, а, положив ее в ледериновую папочку, скрылся в неизвестном на-

правлении. Он отсутствовал полчаса, а может быть, час – ибо время для меня уже перестало существовать, а существовало лишь расстояние между кучей развороченных чемоданов (на которых сидели, кроме моей жены и дочери, еще и семидесятипятилетний папа и шестидесятипятилетняя мама) и дверью, за которой скрылся с ледериновой папочкой под мышкой подполковник ГБ. Какими словами я в это время называл себя и каким взглядом смотрела на меня жена, я предоставляю опять же догадываться читателю.

Девятилетняя дочь безуспешно пыталась схватить за хвост неизвестно откуда вынырнувшую кошку. Мать, страдавшая астмой, тяжело дышала в инголятор. Спокойней всех вел себя мой папа, который, усевшись на один чемодан и опершись галошами о другой, сладко задремал. Но, к его чести, при появлении подполковника с ледериновой папочкой под мышкой он сразу же проснулся и поинтересовался, не прибыли ли мы еще в город Вену. А когда узнал, что не прибыли, пристал вдруг к подполковнику, не знает ли тот, где можно купить сегодняшнюю "Правду".

Подполковник, по-видимому, уже получивший определенные инструкции, даже не взглянул на папу и приказал лейтенанту продолжить досмотр. Папа хотел задремать снова, но именно это обстоятельство почему-то и переполнило чашу терпения подполковника. Он криво усмехнулся и сказал: "Спать будете на исторической родине". Слова эти для меня были, как свет в окошке, ибо, как бы не разворачивались дальнейшие события, я понял, что меня ждет не Потьма, а Израиль.

Подполковник спокойно и с каким-то чувством государственного достоинства порвал мою историческую речь. Мама воскликнула: "Правильно! Очень правильно, товарищ полковник, я даже могу вам помочь". Подполковник и ее не удостоил внимания, он повернулся ко мне и, чеканя каждую фразу, как завещание для всей моей будущей жизни, произнес: "А вам, гражданин Перельман, я хотел бы посоветовать изменить свое отношение к вопросам выезда!" И уже, не обращая внимания ни на кого из моей семьи, крикнул какой-то полногрудой блондинке в летной форме, выросшей у наших

чемоданов: "Давай, Петрова, можешь принимать" В свою очередь Петрова набросилась на нас: "Вы что же это, граждане, думаете самолет вас одних будет ждать, ишь расселись. Гражданин, гражданин!" — стала она снова теребить заснувшего папу — папа открыл один глаз и спросил меня: "Это что, уже Вена?"

Но теперь даже я не удостоил его ответом, а приподнял с чемодана и взял его под руку. В другую руку взял другой чемодан, а двумя пальцами той же руки подхватил третий. Папа оперся на палку, жена водрузила на себя три тюка. Дочка, поймав наконец кошку, с плачем вынуждена была ее отпустить и, схватив свой портфель, поплелась за нами. Время, как мы добирались до самолета, провалилось в моей памяти. Кажется, мы были единственными гражданами еврейской национальности в его битком набитом салоне, что и обеспечило нам соответствующее отношение экипажа и всех прочих пассажиров, воспитанных в духе дружбы и равенства между народами.

ШИНАУ

Ах, Вена! Вена! Как много в этом звуке для сердца моего слилось... Да, уважаемый читатель, я позволил себе некоторое отступление от текста, ибо текст в те дни мне был вообще ни к чему. А нужна лишь была музыка пушкинского стиха, чтобы выразить нахлынувшие эмоции. Тогдашние — не теперешние. Теперь, постаревши на десять лет, я сижу за машинкой и, упершись взглядом в дом своего американского соседа Винограда, пытаюсь воссоздать поэзию прошлого. Дом этот вносит в мою душу покой и скуку, как маленькие облачка, медленно плывущие над Леонией. Что видел в своей жизни американский еврей Виноград? Каждое утро он стряхивает пылинки со своей новой "Субары", которую я, выезжая из гаража, едва не разбил.

По викендам к нему съезжаются родственники со всего штата Нью-Джерси. Говорят, он дельный бизнесмен и примерный семьянин, и всякий раз, когда я его встречаю с дымящей-

ся в зубах сигарой, то думаю о своей тихой и благополучной старости.

Десять лет отделяют меня от того ослепительно-солнечного дня, а постарел я, словно на век: иллюзии и крушения, превратности эмигрантской судьбы!

А все, в сущности, началось в тот день: "Ах, Вена! Вена!.." Кто знает, может быть, и не надо было менять текста. Все, в конце концов, зависит от слов. Музыка легка и обманчива — тексты остаются на всю жизнь.

...По залитой январским солнцем Вене медленно ползет мини-автобус австрийской службы безопасности. Спереди и сзади вооруженные мотоциклисты на случай непредвиденных террористических актов. Во всем автобусе всего лишь три еврейских семьи, решивших воссоединиться со своим народом в государстве Израиль.

Впрочем, сам акт воссоединения произойдет еще через несколько дней, когда самолет израильской авиакомпании "Эл-Ал" доставит их в тель-авивский аэропорт Луд. А пока что мини-автобус австрийских сил безопасности везет их через всю Вену в древний австрийский замок Шинау, обозначенный в документах Сохнута как транзитный лагерь репатриантов, переправляемых из Советского Союза в Израиль.

Три московских семьи — это, во-первых Эзахил Коршенбойм, полнеющий, седовласый с очень молодым лицом профессор финансов и бухучета Московского плехановского института. Эзахил, или просто Хилл, с которым мы познакомились еще в московском ОВИРе, выглядит стопроцентным европейцем, на нем велюровая шляпа из валютного магазина, австрийский плащ, из-под которого выплескивается чудесное серебристое кашне, в его руках — японский зонтик. Рядом с Хиллом — его вызывающе красивая жена — инженер-экономист Люда. На коленях Люды — их десятилетний сын Рома, а по другую сторону сиденья папа Хилла, в прошлом — ответственный работник Министерства путей сообщения, — тоже в шляпе и тоже в плаще, но уже без хилловского блеска — низенький (так что ноги свисают над полом), определенно чем-то недовольный — из тех пап, что учат вас жить до последнего своего вздоха.

Пусть читатель простит мне эти длинноты, — все это ружья, которые в свое время выстрелят, а пока что пойдем дальше. О моей семье уже кое-что известно из очаровательной сцены в таможне, скажу лишь, что папа по-прежнему не расстается с галошами и что, окончательно проснувшись в Вене, он что-то упорно высматривает в окне.

На заднем сиденье моя однокашница по полиграфическому институту и до последнего времени преподавательница кафедры редактирования и стилистики того же института Красовицкая-Шуруева. В связи с намечавшейся репатриацией на историческую родину редактирование и стилистика ей стали как-то ни к чему, и вместе со своим мужем она все последнее время энергично закупала антиквариат.

Кроме антиквариата и мужа Красовицкая-Шуруева везла сына, дочь и четырех пучеглазых карликов-пикинезов: Гошу, Фросю, Дмитрия и родившуюся перед самым отъездом Софию. "Буду разводить собак, едрена мать! — приговаривает она на всем пути. — А вы, что собираетесь делать?" — обращается она к красавцу Хиллу. "А я — профессор, — отвечает Хилл, — профессор бухучета, — может быть, вы слышали такую специальность?"

Я не видел ее со дня окончания института: пухленькая куколка с широко раскрытыми глазами несколько раздалась в габаритах, что, впрочем, ничуть не уродовало ее, а, напротив, придавало определенный шарм. Как, впрочем, и не выпускаемая изо рта сигарета и чуть хрипловатый басок, коим она иногда позволяла себе не совсем печатно выражаться.

Судя по тону, Хилл не преувеличивает шансы своего профессорского будущего — он едет, потому что его пригласил миллионер дядя. Приглашение свое дядя оговорил пустячным условием — он даст Хиллу все, что тот захочет, но ехать Хилл должен именно в Израиль.

Ну вот, собственно, и весь автобус, пассажиры которого, припав лбами к окнам, молчат и любуются красотами Вены, предвкушая встречу с замком Шинау.

По словам Хилла, здесь когда-то устраивали пиры разорившиеся Габсбурги. Мне об этом ничего не известно, зато

"Литературка", еще в мою бытность специализировавшаяся на ужасах земли обетованной, называла Шинау осиным гнездом Си-ай-эй, обнесенным колючей проволокой. Может быть, читатель помнит из моих прошлых книг, что автором этих материалов был наш ответственный секретарь Гиндельман-Горбунов, которого во всех его венских поездках сопровождал "журналист-гебешник Гудков".

В Доме журналиста, когда мы все спрашивали, ну, как там было в Вене, Гиндельман уже не решался нести своей ахинеи про Си-ай-эй, а, напившись, однажды договорился до того, что за колючей проволокой прячутся девочки из венских бардаков и одна пригласила туда даже его, Гиндельмана, и он бы, может, и пошел, если бы не эта гебешная сука Гудков...

Я тоже глазел на Вену, на ее корчмы и ресторанчики и рисовал в своем воображении замок Шинау, с Габсбургами, с гиндельмановскими девочками... и с какими-то совершенно загадочными и прекрасными евреями, которые станут читателями моей будущей газеты. О, чудо цивилизации! Еще утром меня могли сграбастать и за какое-то невинное интервью заслать куда-нибудь в Потьму, меня могли назвать жидом и сионистом, избить, оставив от меня мокрое место, а теперь я еду в замок Шинау, где Габсбурги устраивали свои ночные кордебалеты с венскими заочницами и где меня ждут читатели моей газеты.

Я даже, может, сам устрою пресс-конференцию, прямо там, в Шинау, хотя, может быть, она и не соответствует плану этого еврейского квазимоды из израильского МИДа или разведки, который встретил меня в венском аэропорту и о котором я хотел бы сказать несколько слов.

Тогда я даже не знал его имени, а образ его и по сей день двоится в моих глазах. Тот, первый, когда он поднялся из-за столика в кафе венского аэропорта и, крепко пожав мне руку, спросил: "Послушайте, Виктор, ну, как там ребята?" и другой, уже известный мне по имени — Нехемия Гидрон, — но не по должности, с должностью его всегда творилась путаница: то ли начальник восточно-европейского отдела минис-

терства иностранных дел, то ли замминистра, то ли начальник русского отдела разведки — никто никогда не знал его должности. Он был Нехемией, и все остальное проистекало от этого: "Нехемия не советует", "Нехемия воздерживается", "Нехемия против". Случалось это обычно тогда, когда я что-то советовал, что-то предлагал, на чем-то настаивал. Да, он был заведующий русскими делами в Израиле, но не из тех, кто выступал на мировых сионистских конгрессах и был членом всемирных правлений и исполкомов. Я уже давно знаю, что те, кто выступают и являются членами, ровным счетом ничего не значат. Если хотите что-то понять в политике, не теряйте зря времени в залах, присядьте лучше за столик к тем, кто неслышным голосом воркует и что-то советует. Хотите знать, почему провалилась алия в Израиль, — выкиньте в помойку сохнутовские протоколы, поезжайте в Галиль, в кибуц , к Нехемии и потолкуйте с ним за чашкой кофе.

О причинах ее провала вы вряд ли узнаете, но хоть будете иметь дело с осведомленным человеком.

Да, я забегаю вперед, потому что в то утро, когда мы сидели в венском аэропорту и я уговаривал папу снять наконец галоши, — так вот, в это утро, примерно через час после прилета, ко мне подошел старый еврей с рукояткой нагана, торчавшей из кармана его брюк и сказал: "С вами хочет поговорить ваш главный, он ждет вас на веранде, в кафе". И когда Нехемия с отцовской улыбкой вышел ко мне навстречу из-за столика, то в это утро, повторяю, я даже не знал, кто это, я только отметил про себя: не очень-то красив!

Надо же, чтобы природа так немилостиво обошлась с этим человеком, он был похож на Квазимоду, но только чуть повыше и полобастее Квазимоды. Но, когда после всех этих сорочкиных, чаковских, леонтиев кузьмичей, ликовенковых, вы встречаете своего родного еврейского Квазимоду, он может показаться вам прекраснее Аполлона.

Нехемия смотрел на меня из-под гигантского лба, придавившего даже брови, таким дружеским, таким понимающим взглядом, что я невольно поймал себя на мысли: а не пришел ли мой звездный час, не заговорить ли наконец о газете? Вот в

этот момент он мне и задал вопрос, который запал мне в самою душу: "Послушайте, Виктор, ну, как там ребята?" Мне даже не надо было думать над ответом: "Они пойдут за Израиль на баррикады!" Он благодарно взглянул на меня, отпил глоток кофе и снова окинул меня внимательным взглядом: "Вы что, простужены? Надо себя беречь". И без всякой связи с предыдущим:

— А почему вы думаете, что нам нужны баррикады?

— Но за евреев надо бороться, — не уступал я. — Советские власти вот так, просто вам отдадут свои лучшие мозги?

— Мозги? А почему обязательно мозги? Нам нужны обыкновенные, хорошие евреи, — не спускал он с меня дружеского взгляда, — вот вы сейчас едете в замок Шинау, думаете там одни профессора?

Он снова отпил глоток кофе и спросил о моих собственных планах и, не дожидаясь ответа, сказал: "Ну, во-первых, принять аспирин, с гриппом нельзя шутить". — "А во-вторых, — неожиданно решился я, — не думаете ли вы, что нам нужна газета, международная еврейская газета на трех языках?" Он молча пил кофе. "Что, не осилим? Да вы знаете, какие там люди остались, — готовые члены Кнессета!" Он энергично кивнул головой и вдруг засмеялся, обнажив два ряда крепких белых зубов: "А что, Виктор, это мысль, обновить состав Кнессета! Старики мы стали, Виктор, старики! Кстати, я хотел дать вам совет, ваше дело прислушаться или нет, но я его дам , — и, заговорщически приблизившись ко мне, словно опасался, что кто-то из окружающих тоже может воспользоваться им, негромко, почти шепотом сказал, —"Виктор! Учите иврит!" Я ничего не понимал: каким-то странным образом мы ушли от газеты, я хотел спросить: "Ну а как же с газетой?" Но вместо этого сказал: "Да, да, я понимаю вас, я очень хорошо понимаю, я уже прошел первую книжку "Элефмилим", ведь третий язык газеты — иврит".

"Вот именно, иврит, иврит и еще раз иврит, помните Ленина?" — улыбнулся он и крепко пожал мне руку.

...К воротам замка мы вынырнули неожиданно, охранники долго проверяли наши визы и особенно долго визу Кра-

совицкой — на визе красовалась куколка институтских лет Затем въехали во двор и стали сгружать чемоданы. Замок представлял собой странного вида деревянную постройку (неизвестно, сколько было в ней этажей), настолько старую и бесформенную, что казалось архитектор специально лишил ее всяких пропорций. К складу, с ключами в руках, подошел какой-то старый еврей и спросил, все ли говорят на идиш. А когда узнал, что нет, не все, позвал другого, помоложе, по имени Хаим, который оглядел всю нашу компанию и, найдя достойным своего внимание одного лишь Хилла, спросил его:

— Вы говорите только по-русску?

— Да, извините, мы предпочли бы именно этот язык.

— Ну тогда сдавайте все в махсан и на цахарайм!

— Простите, что вы сказали?

— Не знаете, что такое цахорайм? — удивился Хаим, — да у нас любой мильцар это знает — пожрать-покушать, вот что это значит, и, почувствовав, что с нами ему придется тяжело, уже почти взмолился: — Товарищи, а может, кто-нибудь сечет на идиш, вот вы, товарищ, обратился он вдруг к папе Хилла — ду бис аид?

— Аид, аид! — ответил папа. — Но давайте все-таки по-русски.

Из замка вышла женщина в узбекском халате и буцах и тотчас приковала к себе наше внимание, даже не столько она, сколько голый ребенок у нее на руках, который во всю мочь горланил и изо всех сил пытался вытащить из-под ее халата грудь. В подол халата вцепились еще трое — все со спущенными штанами и с апельсинами в руках.

Поднявшись по темной лестнице, мы оказались в длинном, с разбитой лампочкой коридоре. Миновав его, мы под предводительством профессора Коршенбойма, который даже не успел снять своей велюровой шляпы, оказались в большой столовой. На столах стояли огромные, испускавшие клубы куриного пара жбаны, из которых обедавшие большими половниками черпали суп, а из других — чуть поменьше — накладывали вермишель и гуляш, заливая все это красно-бурым соусом.

Столовая была набита битком, лиц видно не было, все припали к тарелкам, сверху торчали одни ватники и тюбетейки. Стоял крик. Кричали на языке, которого я никогда в жизни не слышал. От жары и куриного пара нечем было дышать, но, похоже, кроме нас, этого никто не чувствовал, все склонились к тарелкам и быстрыми, ловкими движениями опустошали их.

Первым нарушил молчание Коршенбойм-папа, который едва слышно спросил: "Хиля, ты мне можешь сказать, куда ты меня привез?" На что Хилл так же негромко, но гораздо более язвительно ответил: "Папа, я привез тебя туда же, куда я привез себя!" — "Хиля, но кто эти люди и где здесь вообще евреи?" — "Папа, я это знаю так же, как и ты". — "Но это же хер знает что! — вдруг возмутилась Красовицкая, — какой-то хазарский каганат". — "Что вы сказали, — хамство?" — никак не мог успокоиться Коршенбойм старший. Но к этому времени освободили стол и официантка — почему-то в мужской тюбетейке с выпущенной из-под нее косой до пояса — тряхнула по столу полотенцем, притащила еще один жбан и гуляш, затем, положив перед каждым по апельсину, скрылась на кухне.

"Арагви", — мрачно пошутил Хилл и, сняв наконец велюровую шляпу, стал искать место, куда бы ее пристроить, но так и не найдя, пристроил между колен вместе с японским зонтиком.

В разгар обеда появился маленький веселый, с очень добрым лицом человек, назвавший себя представителем Сохнута Моше и тотчас пожелавший всем приятного аппетита. Затем, энергично потирая рука об руку, попросил никого не волноваться. С койками в замке может возникнуть проблема в связи с массовым наплывом репатриантов из южных республик СССР. "Будем живы — не умрем!"

— Но на чем-то все-таки нам спать надо! — воскликнул Хилл хорошо поставленным лекторским голосом.

— Хиля, что он тебе сказал, что? — не отставал от Хилла папа, по-видимому не отличавшийся хорошим слухом.

— Он говорит, папа, что тебе не на чем будет спать, — тем же лекторским голосом пояснил Хилл.

— О, что вы! — воскликнул Моше. — Койка найдется для каждого. Просто, может, будет не совсем удобно, — улыбнулся, он,чувствуя, что профессор с велюровой шляпой и японским зонтиком может еще и не то сказать. — Зато среди своих! — продолжал Моше, — в тесноте, да не в обиде. Одни евреи... Вы когда-нибудь видели столько евреев?

— Что он сказал? — снова приставил ладонь к уху Коршенбойм старший.

— Он сказал, папа, что здесь одни евреи.

— Блядство! Какое блядство, — возмущенно басила Красовицкая и поочередно целовала Тимофея и Фросю.

— Вы сказали — "бардак"? — не расслышал ее папа Коршенбойм. — Хиля, но ведь мы можем не согласиться в конце концов!

— Папа, мы все можем, — ответил уже увядшим голосом Хилл. — Мы даже можем пожаловаться в главное аптечное управление при Венгорисполкоме.

— Так что, друзья, тронемся! Поищем, где утомленному есть чувству уголок! — сказал Моше из Сохнута. И вся наша компания вышла вслед за ним все в тот же длинный коридор с разбитой лампочкой. Он шел впереди, за ним Хилл, за Хиллом все остальные. Мы заглядывали в комнаты. Они были набиты людьми и мешками. Некоторые спали, открыв рты и громко храпя, — прямо в ватниках и тюбетейках, в неразобранных постелях, на нарах, которые стояли друг над другом по три, как в корабельных каютах. Некоторые чистили прямо на пол дивные красные апельсины. На нас никто не обращал внимания.

Мы, наверное, обошли комнат десять, но на свободные места не было и намека..

— Поднимемся, друзья, этажом выше, — не унывал Моше. — Главное, что кругом свои — братья. Нет, действительно, вы видели когда-нибудь столько евреев?

— Простите, пожалуйста, Моше, — перебил его Хилл, — не скажете ли, в каком из этих апартаментов почивали Габсбурги, — может быть, вы устроите нас туда?

— А вот и комнатка! — воскликнул Моше, сделав вид, что вообще не услышал сказанного Хиллом. Он вошел в за-

куток, на верхней из трех коек кто-то тяжело храпел, две других были пустыми.

— Только через мой труп, — сказала Красовицкая. Фрося залилась лаем, фигура, лежавшая под потолком задвигалась. Моше сказал: "Тс-с-с". А Хилл, устало положив на койку велюровую шляпу и зонтик, вдруг заявил: "Не знаю, кто как, а мы с Людой остаемся здесь".

Дальнейшее устройство пошло быстрее: моих папу и маму уложили напротив, жену с дочерью где-то под лестницей. Последней сдалась Красовицкая, долго не соглашавшаяся на соседство с официанткой в мужской тюбетейке.

Гоша с Тимофеем не умолкая лаяли, но вот и они затихли. Я попросил у Моше место в конторе. Я вез с собой семьдесят две фамилии для вызовов, и к утру всем семидесяти двум счастливчикам вызовы были посланы.

На этом, пожалуй, закончу свой и без того растянувшийся рассказ о замке Шинау, ибо не нужно особой фантазии, чтобы представить, как мы провели в этом очаровательном уголке мира остальные двое суток, пока не сформировался экипаж для пятисотместного "Боинга", летящего из Вены в Тель-Авив.

А что же с моими спутниками? Ну, например, с Красовицкой-Шуруевой? Как ни странно, но страсть к непечатному слову ничуть не повлияла на ее карьеру западной бизнесменши. Она великолепно продает и покупает дома и говорит исключительно по-английски. Правда, при желании выматюгаться максимум, что она может себе позволить, — это "I am very sorry. I am very, very sorry".

И к Хиллу я еще вернусь: читатель, возможно, догадывается, что в поисках средств на свою сионистскую газету я не смогу обойти его мультимиллионера-дядю, поджидавшего его в те дни в Израиле. Но об этом чудесном эпизоде моей жизни опять же речь еще впереди.

С самим же Хиллом, профессором финансов одного из нью-йоркских колледжей, мы не перестаем дружить и часто, как теперь принято говорить, встречаемся домами. А встретившись, слегка выпиваем, ну а выпив, нет-нет, да и вспомним блаженной памяти дни нашего пребывания в Шинау.

Женщины наши ничего путного вспомнить не могут — одни охи да ахи: кто бы мог подумать, что это были евреи? "Как они были одеты, — это же просто ужас!" — темпераментно восклицает в простоте душевной Люда. На что Хилл своим хорошо поставленным лекторским голосом возражает: "А почему ты, Люда, думаешь, что это были именно евреи?"

— Ну а кто же, Хиля, узбеки? По-моему, тебе просто хватит пить!

— И не просто узбеки, а узбеки особого назначения, — не моргнув и глазом, продолжает Хилл. — Ты не видела, а я видел, как мой сосед переодевался. На нем был китель старшего лейтенанта КГБ. Почему ты себе не можешь представить, что КГБ забросил в Шинау отряд специального назначения? Чтобы дискредитировать одних советских евреев в глазах других.

— Ну ты подумай! Знаешь, Хиля, ты пей, да знай же меру! — весело стучит кулаком по столу Люда.

— Нет, я не смеюсь, я совершенно серьезно, — продолжает Хилл. — Вы даже не знаете, что у меня до сих пор хранится тот японский зонтик. Без него меня просто бы не приняли в Шинау. А шляпу мне тоже продал КГБ, чтобы вызвать зависть у одной группы советских евреев по отношению к другой...

ИЗРАИЛЬ

13 января 1973 года, примерно в девять вечера, приземлившись в тель-авивском аэропорту Луд, я совершил алию в Израиль и воссоединился со своим народом.

Строго придерживаясь фактов, необходимо отметить, что я это сделал не только с женой и девятилетней дочкой и не только сопровождаемый престарелыми папой и мамой, но и вместе с пятьюстами обитателями замка Шинау. Теперь это были пассажиры того же самого "Боинга" авиакомпании "Эл-Ал", который всех нас за четыре с половиной часа доставил из Вены в Луд.

Увидев в иллюминаторы огни Тель-Авива, мои национальные братья из южных республик СССР стали плясать на креслах и издавать крики, которые я ни в коем случае не хотел бы

сравнивать с ритуальными возгласами дикарей, но которые, с другой стороны, как-то не увязывались с моими представлениями о встрече с национальной родиной.

Встреча эта мне представлялась почему-то тихо-торжественной, как некое волшебное действо, призванное отделить все прожитое мной в прошлом, все суетливое и неправедное и потому приговоренное к забвению, — все это должно было кануть в Лету тотчас, как откроется моему взору земля обетованная.

Взору моему открылась беспорядочная масса огней, вырвавшихся из тьмы. В ушах гремели восторженные крики моих братьев, а в душе творилось нечто такое, чему я никак не мог найти объяснений. Я совершал, если даже не самый благородный, то уж во всяком случае самый логичный шаг в своей жизни, ибо все написанное и сказанное мной в последние месяцы сводилось к одной, пусть тавтологической, но от этого ничуть не менее разумной мысли: "Я — еврей и потому должен жить со своим еврейским народом". И вот теперь, когда эта прекрасная в своей логической гармонии идея должна была осуществиться, я вдруг задумался над ее смыслом: а что это, собственно, значит — жить со своим народом?

О том, что я прибываю в Израиль, каждый час, ссылаясь на сообщения агентства "Ройтер", передавали западные радиостанции. А фамилия моя неизменно сопровождалась словами как о моем прошлом (редактор "Литературной газеты"), так и моем настоящем ("известный борец за еврейскую эмиграцию"). Мне нравилось именоваться борцом. Во всяком случае куда больше, чем редактором "Литературной газеты", звание которого, пока я летел, мне присвоили корреспонденты "Ройтер".

Я писал одно за другим письма, в которых требовал отпустить народ мой в Израиль. Моя статья "Размышления перед аукционом" появилась даже в "Нью-Йорк Таймсе". Одновременно со мной по каналам Голландского посольства шла моя рукопись о Богом проклятой и покинутой мной России. Я мечтал создать в Израиле новую еврейскую газету и не чувствовал лишь одного: что вместе с этими бес-

конечными письмами и статьями, сделавшими меня "известным борцом за алию", я все более отрываюсь от реальной жизни и начинаю жить в мире текстов. Тексты не могли стать реальностью, но реальность исчезла, а тексты оставались и уже сами начинали казаться реальностью.

И вдруг при виде огней Тель-Авива я почувствовал, что эта происшедшая во мне метаморфоза каким-то фантастическим образом начинает давать обратный ход: тексты переставали чего-то стоить, а реальность меня все меньше прельщала. Во мне что-то решительно бунтовало против нее, как бунтовал я сам когда-то в детстве, когда нянька вдруг прерывала одну из своих сказок, которые я обожал, и требовала, чтобы я расстегивал подвязки и немедленно шел в постель. Эти дурацкие подвязки, замещавшие в моей голове героев нянькиных сказок, возмущали меня более всего...

Впрочем, бросая взгляд в прошлое, взгляд сегодняшний и потому не лишенный цинизма, я, кажется, все упрощаю и валю в одну кучу ("реальность", "родина", "подвязки") и вытаскиваю на свет Божий то, что было скрыто глубоко в подсознании и в чем в ту ночь я никогда не признался бы даже себе. В подсознании, может, я и бунтовал — но мало ли что делается у нас в подсознании, где вместе с задавленным фрейдовским либидо, придавлено, пришито, словно бабочка иглою, наше вечно не смеющее шелохнуться "я".

Так вот, когда из тьмы вырвались огни Тель-Авива, я почувствовал, что во мне зашевелилось нечто такое поэтично-торжественное, чего я и не мог пытаться выразить словами: я воссоединялся с собственным народом, и душа моя не могла не вытянуться в струнку перед торжественностью момента.

Несмотря на пляски и крики вокруг, усталый от полета отец блаженно дремал, мать осененно улыбалась, а на глазах жены я вдруг увидел слезы, и я ничуть не был бы удивлен, если бы и на моих глазах выступили слезы, но глаза мои были абсолютно сухими.

...А действие между тем развивалось с быстротой летящего на бреющем полете "Боинга". Вот-вот он коснется земли, и удар его колес об эту землю станет для меня новой

точкой отсчета. Если и мог быть в моей жизни исторический момент, то вот он: момент приземления в тель-авивском аэропорту Луд.

Я всегда презирал в себе страсть фантазировать, но никогда у меня не хватало сил подавить ее. Фантазия — сколь ни была бы страстной жажда воспарить — это всегда штампы. А жизнь — это всегда рутина. И я не знаю, как их соотнести. В Луде не было ни цветов, ни грома фанфар, ни тихо-торжественных слов приветствия, а была лишь пахнувшая в лицо духота и выплеснутая "Боингом" на летное поле толпа — с чемоданами, мешками, кошелками и Бог знает с чем — растянувшаяся от трапа "Боинга" до входа в небольшое деревянное строение, где шел прием новоприбывших в Израиль. Толпу встречали какие-то суетящиеся на летном поле люди и на ходу что-то выясняли, и пытались навести хоть какой-то порядок в этом вывалившемся из самолета людском балагане. "Товарищи, граждане, евреи из СССР! Не устраивайте толкучки. Это же вам не Советский Союз", — все это слышу я, входя в деревянное здание. Вдоль стен — длинные столы с кипами бумаг, за столами — мужчины и женщины с усталыми и теперь уже совершенно стертыми для меня лицами. Столы разбиты по буквам и уставлены жиденькими, в бутылках, цветочками. У столов толкотня, каждый рвется быть первым. "Да куда же вы давите, граждане, евреи!.." "Товарищ грузин, не хулиганничайте, а то позовем полицию! Ишь, театр устраивает!"

Но все это был еще не театр, а только фойе. В фойе, у столов с жиденькими цветочками, каждому выдается сто лир и каждый подписывает вексель. Что эти сто лир выдаются в долг — о чем написано на иврите — никто, разумеется, не имеет понятия. Подписывают, потому что так полагается, а именно, что с этой минуты имярек должен государству Израиль столько-то за билет, столько-то за багаж, столько-то за его страховку, столько-то за это, столько-то за то...

Признайтесь, уважаемый читатель, интересно вам? Я бы и сам опустил все это и тотчас перенесся бы в Тель Авив, поверьте, у меня есть еще, что вам рассказать про мою новую

родину. Но я просто не вправе опустить этот исторический момент, несмотря на страшный гам, духотищу и балаган в деревянном зале. К тому же и положение у нас с вами совершенно разное. Вы можете взять и закрыть, чертыхнувшись, книгу и выйти вовсе из этого театра, а куда деться мне с женой, с ребенком, со старенькими папой и мамой, совершившими вместе со мной эту одиссею?

Из фойе — единственный выход в театр. А театр — это вовсе и не театр, а дощатая кабинка, где решалась судьба новых жителей Израиля. В кабинке командовал человек с прибалтийским акцентом, лица которого я не видел. "Я ж сказал, что нет Тель-Авива. Подпишешь или нет? Не желаешь Кирьят Шмоне — сиди до утра! Следующий! Хайфа говоришь? Мама себя плохо чувствует? Ну, знаешь, друг, здесь все евреи! Может, все хочут в Хайфу. А вот нет Хайфы, а есть Афула! Не хочешь Афулу — сиди до утра!.."

Я дал интервью корреспонденту "Голоса Израиля" и вошел в театр-кабинку последним. Передо мной сидел рыжий с бычьей шеей лысеющий человек. Я хотел бы, читатель, чтобы вы запомнили эту фамилию (которую, впрочем, я и сам узнал много позже), так вот — Моше Гоц. Вы, конечно, слышали Бен-Гурион, Голда Меир, Моше Шарет, Хаим Вейцман, Даян, Бегин, Сапир... Так вот, все они были никто рядом с рыжим рижским евреем Гоцем, подле которого висела огромная карта Израиля с горящими лампочками — центрами абсорбции, куда направлялись новые олим. Да, читатель, я ввожу это слово именно сейчас, познакомив вас с рыжим Гоцем. "Оле" — происходит от слова "алия". "Алия" — это восхождение наверх, в Израиль, в Иерусалим, это подвиг возвращения и, следовательно, новый оле — это подвижник. По этому поводу за столом с цветочками ему выдано даже специальное удостоверение "Теудат оле" — удостоверение подвижника, вернувшегося в Израиль. Вот это удостоверение я и предъявляю рыжему Гоцу. Второй час ночи. Гоц явно устал и рвется упростить процедуру: "Фамилия? Имя? Имя отца? Год рождения? Образование? Диплом?" — "У меня нет диплома. Отобрали. Вы разве не знаете? Но у меня действи-

тельно высшее образование. Я даже в ''Нью-Йорк Таймсе'' писал против выкупов!''

Судя по скепсису, проснувшемуся на его лице, я чувствую, что Гоц слышал и не такое. Он молча извлекает из ящика бумагу и дает мне подписать, что я, новый оле такой-то и такой-то, ''настоящим удостоверяю, что действительно во время проживания в СССР окончил институт, и прошу Сохнут отправить меня в центр абсорбции для академиков и что в случае, если при проверке соответствующими органами мои показания окажутся ложными, я буду отвечать перед судом по всей строгости закона''. Я подписал этот документ. (Сколько еще на Западе мне придется подписывать бумаг о моей готовности идти за решетку!) Но эта была первой, и потому я запомнил ее, хотя и плохо понимал, что это такое — центр абсорбции академиков, куда попадали только прошедшие через сито рыжего Гоца.

Дальше у нас пошло все проще.

— Куда хотели бы поехать?— спросил он. ''Опять в Тель-Авив?'' — прочитал я в его сардонической улыбке. ''А вот нет Тель-Авива, а есть Афула!''.

— А мне, собственно, все равно, посылайте туда, куда требуют интересы Израиля, — сказал я.

— Интересы кого? — медленно соображал Гоц, оглядывая меня подозрительным взглядом. ''Это еще что за хохом?'', — читал я в его глазах.

— Интересы Израиля, — ответил я.

— Вы кто-журналист? — переспросил меня Гоц, — тогда пошлем в Ашкелон.

— А где это, Ашкелон? — теперь уже спросил я.

— А вот тута, — ткнул Гоц в карту, — морской курорт, пятнадцать минут езды от Тель-Авива.

Еврейский Бог — самый справедливый и грозный Бог на свете. За добро он воздает добром, но не так-то легко прощает зло, нанесенное евреям.

Впрочем, никто не знает, когда раздастся гневное Божие слово. Не знал этого и рыжий Гоц, не знал, что спустя многие годы — уже кончилась алия, и евреи уже давно ехали в Амери-

ку' — придет он на прием к моей жене в поликлинику Неве Шарет — старый толстый еврей, в котором жена вначале не узнает и вовсе всевластного наместника Сохнута в Луде. Она попросит толстяка раздеться и увидит его тело, дряблое, больное тело диабетика, исколотое инсулином и обсыпанное множеством фурункулов. Она откроет карточку больного и прочтет фамилию Гоц и не выдержит, напомнит ему, как он мучил новых граждан страны...

Гоц страшно смутится и скажет, что на свете нет тяжелее работы, чем с новыми олим и лично для него не было страшнее времени, чем то, когда он сидел в Луде, что там-то он и заболел диабетом и вот теперь уходит на пенсию. Кто знает, может, и была своя правда в его, Гоца, словах, — но еврейский Бог не простил ему зла, нанесенного евреям, хотя и отправлял он их в центры абсорбции для "академиков".

Я не знаю, сколько мы тащились до Ашкелона почти в таком же, как в Вене, мини-автобусе — за рулем сидел грузин, не проронивший ни слова и лишь, когда в третьем часу ночи добрались, воскликнувший: "Эй, в автобусе, выгружайсь!"

Итак, шел третий час ночи и сторож, еврей из Марокко, неизвестно куда запропастился — к тому же он не знал ни идиш, ни русского, ни английского и со сна вообще не мог понять, что от него хотят. Потом отвел нас в какой-то утлый из досок домишко, где к утру от холода зуб не попадал на зуб.

Утром кто-то решительно постучал в дверь — это была Красовицкая. Она ежилась в своем каракулевом манто. "Ну как вам историческая родина? Не знаю, как вы, а мы сегодня же отсюда уебываем!" Потом позвали в столовую, мы ели яйца, помидоры и творог.

К полудню погода разгулялась, над морем играло солнце, а по аллеям прогуливались "академики", старые евреи с палочками, а также не очень старые. Крутились под ногами внуки "академиков". Были тут и явные заочницы, стрелявшие по сторонам крашеными еврейскими глазками. Все говорили о своем ("ах, какие яички, какой творог, попробуйте это достать там!") . Заочницы, не переставая стрелять глазками, хвастались друг перед другом туфлями-лодочками, купленными уже на исторической родине. Были среди них две хорошень-

кие продавщицы из Черновицкого торга, которые весело чирикали с нами за столом, была молодящаяся зубная врачиха, которая тут же сообщила, что намыливается в Германию.

Солнце уже шпарило во всю, и у всех было прекрасное настроение, привезли газеты и среди них две русских: "Наша страна" и "Трибуна". Под гигантским заголовком "Трибуны" мелкими пляшущими буквами было написано, что это единственная и беспартийная газета на русском языке, а сверху, над заголовком мощно красовалось: "Известный борец за алию Виктор Перельман в беседе с корреспондентом "Голоса Израиля" сказал: "Евреи не могут спокойно спать, пока существует Кремль".

Тексты явно не хотели оставлять меня...

В тот же день вечером к нам приехал неожиданный гость, представившийся корреспондентом газеты "Едиот Ахронот" Довом Шамиром. Он даже не вошел в наш крошечный коттедж, а тотчас, как появился, решительно заявил, что забирает меня с женой и дочерью к себе. Захваченный вихрем событий, я вдруг почувствовал, что теряю способность сопротивляться — настолько все выглядело фантастическим — и это наше приземление в Израиль, и этот выросший из-под земли Шамир из "Едиота Ахронота", и его нависшая над морем двухэтажная вилла с шумом прибоя, и особенно то, о чем говорил Шамир. А говорил он о своей газете.

"И вот теперь, Виктор, вы будете у нас. Только у нас! Пишите хоть в каждом номере. О чем? Детский вопрос! Да о чем хотите!" Потом вдруг заговорил о другой газете "Маарив" — главном конкуренте "Едиота", которая успела в первый же день схватить Давида Маркиша. "Но мы еще посмотрим, что и как: у них Маркиш, а у нас — редактор "Литературной газеты". Итак, в пятницу первая же статья! О чем? Ах, право, какой же вы чудак! — главное не о чем, а кто!"

Его страстный монолог был прерван телефонным звонком.

"Да, Арончик, да! ("Шеф!" — успел он шепнуть, зажав микрофон ладонью) , да, да, здесь, живой и невредимый. Маркиш? Ну и что, Маркиш? Подумаешь, Маркиш! Вот именно! О-хохо!" — восклицал он что-то совершенно непонятное.

— Вы слышали, что он сказал? Вы даже не представляете, на что они там способны, в "Маариве"!

Дома меня ждало сообщение, что из Тель-Авива трижды звонил какой-то корреспондент (откуда именно не сказал) и просил срочно связаться в любое время дня и ночи.

Рано утром постучали в дверь: на пороге стоял загорелый, в рыжих роговых очках пожилой человек. Его мучила одышка, но, несмотря на нее, он пытался любым способом проникнуть в комнату. "Вы что, из "Маарива"?! — насторожилась жена.

— Да нет же, нет. Совсем наоборот. Я из "Аль Гамишмар", газеты израильских кибуцов. Понимаете, я хотел бы взять интервью. О чем? Ах, не все ли равно! Но только сейчас, умоляю, сейчас. Ждать? Я буду ждать! Сколько угодно! У меня, знаете, мать из Ровно, а отец из Киева — моя фамилия Ландау, Моше Ландау, тут, понимаете, один щекотливый вопрос: там за воротами машина из "Давара", а у меня нет машины, я на автобусе, встал в четыре утра. Так вот, понимаете, "Давар"...

— Не давать ничего в "Давар"! — решительно воскликнула жена.

— Да нет же, нет, очень даже можно дать, но видите ли мы хотели бы...

— Дать первыми! — снова пришла на помощь жена.

— Ну, в общем да! Наша газета так относится к алие! Я встал в четыре утра, жена спрашивает, куда ты, мишуга? Так что я ей скажу? Конечно, я для нее мишуга!..

БЕЙТ-БРОДЕЦКИЙ

Задуманная нами революция явно затягивалась. Будущих членов Кнессета, министров, реформаторов, опреснителей морской воды рыжий Гоц беспардонно отсылал в Кирьят Шмоне, Афулу, Кирьят Гат, Цфат.

Вы, читатель, может быть, и не слышали про эти места. Не слышали про них и будущие вершители судеб еврейского государства, пока их, ни о чем не подозревавших и мирно при-

землившихся со своими семьями в Луде, не катапультировал в эти медвежьи углы уже упомянутый мной Гоц. Но там, вместо того чтобы учить иврит, они принимались хлопотать о немедленном переводе в Тель-Авив, Иерусалим или Хайфу. Это было не так-то просто. Попавшие в компьютер, их имена уже числились за определенными центрами абсорбции, пусть и не имевшими отношения ни к их профессии, ни к их будущему месту работы, не говоря уже о их мечтах и стремлениях. Ни то, ни другое, ни третье не принималось во внимание, а учитывалась некая высшая и недоступная нашему пониманию цель, согласно которой удаление из центра страны лиц, прибывших из Советского Союза с разного рода маниакальными идеями (например, опреснения морской воды или создания новых НИИ), возводилась в степень государственной задачи.

Гнев изливался на Гоца, наместника Сохнута в Луде, но однажды, выпив и разоткровенничавшись со своими рижскими дружками, он им признался, что он только стрелочник и пешка и что ребята на него зря обижаются. И наутро запулил очередную группу реформаторов в Галиль, на границу с Ливаном.

Все в жизни повторяется. Эдак лет 35 назад, еще при жизни Сталина, проводилась в Московском Юридическом институте кампания по распределению молодых специалистов: распределяли здесь, как понимает читатель, не реформаторов и не опреснителей морской воды, а обычных московских евреев, с пятым пунктом в паспорте. Если еврей, то получай Томск, Актюбинск или Иркутск. И вот та же картина теперь: только теперь не просто евреи, а еще и отказники, еще и реформаторы.

Видно евреи всегда останутся евреями, особенно если они рвутся делать революцию и быть большими евреями, чем сама Голда Меир. Доживи до наших дней Вольтер, он наверняка бы воскликнул: "Если бы не было пятого пункта, его надо было выдумать!"

А в Луд все прибывали и прибывали — казалось, над страной нависла опасность нашествия русских, в планах которых было вначале овладение центрами абсорбции в Тель-Авиве и

Иерусалиме, а затем уже, согласно Ленину, почтой, телеграфом и телефоном.

Впрочем, все эти гипотезы мне приходят в голову только сейчас, а тогда я, как и все прочие, бросился за помощью к нашему доброму гению Нехемии Гидрону. Я вспоминал его вырвавшийся из самой глубины души вопрос ("Скажите, Виктор, ну, как там ребята?") и звонил ему снова и снова, но добрый гений почему-то никогда не брал трубки. Однажды я сказал его секретарше, что я — это не я, и только тогда услышал его такой родной рокочущий басок: "Это кто? Вы, Виктор? Где вы пропали? Здравствуйте, Виктор! Как дела, как делишки? Жена, дочка, все в порядке?" Я стал ему объяснять, что неведомо как оказался в Ашкелоне и что мне как журналисту там нечего делать. "Виктор, вы правы на все сто процентов!" — ответил Нехемия. "И Раневский и Маневич — инженеры. Что им делать в Кирьят Шмоне?" — перешел я в наступление. "Сдаюсь! — рокотал на другом конце провода Нехемия. — Но, Виктор, дорогой, мы же не министерство абсорбции и не Сохнут, мы даже не министерство иностранных дел, мы просто олимовский отдел при МИДе..."

Кого он мне напомнил в этот момент? Кого?

"Да поймите ж, Виктор Борисович, мы даже не комиссия, а только подкомиссия и ничего не решаем!" Я вспомнил: конечно же, он! Леонтий Кузьмич, начальник еврейского отдела московского КГБ! И, уже положив трубку, рассмеялся собственной мысли: Леонтий Кузьмич и Нехемия — кого только рядом не увидишь в этом театре абсурда, в этом прекрасном и слегка тронувшемся мире!

С Нехемией, читатель, мы еще встретимся. А пока вернемся в Тель-Авив, куда, спустя две недели, я все-таки вырвался из Ашкелона с женой и д ерью, папой и мамой и куда всеми правдами и неправдами съезжались с периферии нахлынувшие в страну реформаторы из СССР.

Съезжались все в северный район Тель-Авива — Рамат-Авив, в гостиницу для новоприбывших Бейт-Бродецкий, набитую до отказа не помышлявшими ни о какой революции американскими евреями, евреями из Аргентины, Бразилии

и прочих стран мира, ну и, конечно, некоторыми выходцами из Советского Союза. (Теми, что не имели за душой ни одной реформаторской идеи, но имели нечто другое, куда более важное, и что не раз выручало их еще там, на доисторической родине.)

О, Бейт-Бродецкий! Кого здесь только не было в ту счастливейшую пору эмиграции! Какие только языки и наречия не слышны были в его гудящем, как пчелиный улей, лобби! Каких только не было лиц! Каких только разрезов глаз! Каких только оттенков кожи! И какую надо было иметь фантазию, чтобы поверить, что все это были евреи!

И как опустел теперь запавший навеки в мою душу Бейт-Бродецкий!

Будучи в Израиле, я забрел туда волей случая: полупустое мрачное лобби, пустые коридоры, пустые номера, и только место то же самое, лучшее место в Тель-Авиве.

По левую сторону, как выйдете, — парк с эвкалиптами, со скамеечками, со старичками и влюбленными на скамеечках, по правую — ступени, а как спуститесь, киоск с газетами со всего мира, а затем улица Бродецкого, а по другую ее сторону, как раз напротив — торговый центр, весь из маленьких экзотических магазинов и лавочек — где мне взять краски, чтобы их описать? Одни только их витрины: бутик, сыры, колбасы, овощи, электроника... Речь польская, идиш, русская, румынская.

Все вас знают и про вас знают и готовы вам услужить на любом из знакомых вам языков. Полу-Европа, полу-Левант, полу-Россия, — кто не живал здесь, тому не понять, что это такое. Это — Израиль, а что такое Израиль, я не берусь судить. Послушайте тех, кто уехал оттуда, они вам расскажут и какое это местечко, и какое захолустье, и как трудно в нем жить европейцу — и все это правда. Послушайте израильтян — что скажут они? Эрец Исраель! да Эрец Исраель! О, Эрец Исраель! Какой он ни есть, а наш... И мне нечего к этому добавить. Вы хотите знать правду про Израиль, но хотите только одну правду, единственную, высшую. Вы хотите приговора, но уверены ли вы, что пришло уже время его выносить?

Итак, из сосланных на периферию реформаторов я явля-

юсь в Бейт-Бродецкий одним из первых — опять же в мини-автобусе и опять с тем же грузином за рулем, что вез нас в Ашкелон. У входа меня встречает мой старый знакомый еще по встречам у синагоги, бывший сотрудник "Голубого огонька" Марат Шатров. Он уехал на два месяца раньше меня и теперь уже выглядит настоящим саброй — не в туфлях, а в сандалиях, не в костюме (из валютного магазина), а в шортах, в одной батистовой и на волосатой его груди распахнутой рубахе.

Кто сказал, что мы эмиграция посредственностей, без собственного лица и собственных судеб? Я говорю не о диссидентах и подписантах (и уж, конечно, не о реформаторах!), а о молчаливом большинстве и начинаю с Марата Шатрова, имя которого не гремело в самиздате и который уехал в Израиль в одном-единственном костюме из валютного магазина и с одной-единственной иконой Николая Угодника.

За неделю до отъезда он пригласил меня к себе на важный разговор и сказал, что везет в Израиль атомную бомбу. Достал из подкладки костюма несколько мелко исписанных листков и, взяв с меня слово, что я умру вместе с прочитанным, вручил мне его для ознакомления. Бомбой оказалось открытое письмо сотрудника "Голубого огонька" Марата Шатрова Председателю Центрального комитета радио и телевидения гражданину Лапину. Большая его часть была посвящена расправе, учиненной партийным черносотенцем Лапиным над журналистом Шатровым за его скромное желание уехать на историческую родину и воссоединиться со своим народом.

Автор не стеснялся в выражениях и в конце письма называл гражданина Лапина жидоедом и лизоблюдом, которого он глубоко презирает. Слава Богу, ничто его не связывает с погромщиком Лапиным — по приезде на историческую Родину он начинает новую жизнь, у него будет новый язык, язык его предков, на котором он всю жизнь мечтал писать и говорить.

Как только я закончил чтение, он препроводил бомбу туда, откуда она появилась, и тихо проговорил: "Я им, бле, покажу, кто такой Марат Шатров".

Увидев меня вылезающего из кабинки, он бросился меня обнимать, затем обнял мою жену и дочь, затем папу и маму и тотчас перешел к делу, то есть к освещению своей жизни в Израиле. Начал, естественно, с бомбы, которую понес в "Маарив" (в "Маариве" сидел кретин Диссенчик, ничего не смыслящий в журналистике), затем в "Едиот Ахронот" (в "Едиоте" сидел еще больший кретин, который вообще не знал ни слова по-русски!), затем в "Джерузалем Пост" (где материал просто затеряли).

"Местечко и есть местечко, — язвительно улыбнулся Шатров, — но бомба взорвалась, и знаешь, где? В газете "Трибуна"! На первой полосе! Они у меня, бле, попляшут, плохо знаете, господа офицеры, Марата Шатрова!"

В письме из Израиля он сообщил, что делает потрясный бизнес на Николае Угоднике. Какой именно бизнес, в письме объяснять было долго, но сейчас, вытащив из шкафа (единственная мебель в номере Шатрова) бутылку "Московской", он стал излагать все по порядку. Так вот, Угодника продал за стольник одному фарцовщику из Кишинева. На стольник, то есть сто долларов купил у барыги с Кузнецкого десять альбомов "Фрески Ферапонтова монастыря". Фрески толкнул старому спекулянту из Питера Склярскому, открывшему в Тель-Авиве букинистическую лавку. Склярский, заплатив по одиннадцать долларов за штуку, сказал, что "Фрески" — это товар. После чего Шатров послал своему другу скрипачу Неме Стрельнику телеграмму: "Фрески Ферапонтова монастыря" вези девятнадцать, обнимаю Марат". Но когда они вместе с Немой приволокли на такси два пуда "Фресок" Склярскому, тот ударил их обухом по голове: "С "Фресками" в Париже затор, так что эти он взять не может. Марат взревел и угрожающе вознес над головой Склярского четвертьпудовый фолиант: "А кто мне сказал, что это товар? Вы еще не знаете Марата Шатрова! Но вы очень скоро узнаете его!"

Склярский с перепугу вызвал полицию, устроившую тут же на месте допрос. Марат тыкал пальцем то в свою волосатую грудь, то в Склярского, то в маленького перепуганного

Нему Стрельника, то в никому не нужную гору "Фресок". Кончилось тем, что вызвали такси и всю эту гору отволокли в Бейт-Бродецкий, где за бутылку "Московской" Марат уговорил завхоза Авраама спрятать "Фрески" до лучших времен в подвал. Зато Роза, жена Стрельника, который вложил во "Фрески" все наличные доллары, устроила ему такой скандал, что тот временно решил переселиться к Марату в Бродецкий.

Уже выпив, Марат сказал, что на иврите пусть говорит этот сука Лапин, а он обойдется русским и уже даже нашел одну журналистскую фирму. "А какую, чтобы не сглазить, не скажу, — улыбнулся пьяной улыбкой Марат, — а иврит, бле, скажу тебе, язычище!"

Марат был красавцем: богатырского сложения брюнет с синими, васильковыми глазами. Евреем он был только наполовину, а на другую половину — болгарином, так что была у него, кроме Израиля, еще одна историческая родина, про которую он, как воинствующий антикоммунист, обычно не упоминал. Но самым прекрасным в Шатрове была, как, наверное, уже понял читатель, его смуглая волосатая грудь. В Израиле он не застегивал рубахи, и грудь его была вечно нараспашку, что придавало его облику особое богатырское обаяние.

Единственное, что доставляло ему нестерпимые муки, — был язык его предков — иврит. У Шатрова выявился недуг особого свойства, он физически не мог высидеть на уроках иврита более получаса. Садился обычно рядом с женой, которая, по доброте душевной, давала все ему списывать, но это ему быстро надоедало, он начинал вертеться, полязгивать зубами, почесываться, потом складывал тетрадки и исчезал. Назавтра все повторялось снова, пока однажды Шатров не постучал к нам в номер и не сказал: "Все, господа офицеры, язык моих предков не для меня, переманили с потрохами". — "Кто же?" — не выдержал я. — "Вот кто!" — сказал Шатров и гордо извлек из кармана газетный листок — это была все та же газета "Трибуна", которая наутро после моего приезда напечатала мое заявление "Голосу Израиля", а за неделю до этого подняла руку на самого Лапина, поместив откры-

тое письмо к нему бывшего сотрудника "Голубого огонька" Марата Шатрова.

Но оставим Шатрова в газете "Трибуна", к которой уже через неделю у него возникла претензия – редактор "Трибуны" Даниель Амарильо сказал, что из-за финансовых трудностей редакции Шатров на этот раз получит чек в половинном размере. Но оставим и это: и к Шатрову, и к Амарильо мы еще вернемся. А пока окинем еще раз взором Бейт-Бродецкий тех незабываемых дней.

Кто были его обитатели? Кто возьмется их описать? И хоть примерно очертить их круг, тем более их характеры, тем более борение страстей? Я вам, читатель, предоставляю судить, что происходило в их горячечных душах в те первые дни их жизни на своей исторической родине.

...Вот выходим мы из Бейт-Бродецкого с художником Барским, про которого говорят, что он был сыном академика Барского, некогда забальзамировавшего Владимира Ильича Ленина, о чем, кстати, сам Лева Барский меньше всего любил распространяться.

Я был на проводах Барского, где-то на окраине Москвы, на Мосфильмовской, когда выходил он из дома в окружении двух бесподобных куколок, своих бывших жен, – Вертинской-младшей и младшей Максаковой, обе не скрывали слез, когда в белом парижском пальто садился он в белый "Мерседес", на котором его ближайший друг, молодой московский актер Глашан прямо с Мосфильмовской увез его в аэропорт Шереметьево. Ах, как правы были советские газеты: сколько судеб честных советских людей поломал Израиль!

Об одном только Льве-Феликсе Барском я бы мог написать роман. О нем, о его прелестных женах и его неразлучном друге Красном, о котором, среди прочего, было известно, что он был единственным на всю Москву владельцем собственного парохода. Так вот, даже их Израиль умудрился злодейски разлучить. Красный тотчас получил разрешение, а Барский – по понятным читателю причинам – тотчас угодил в отказ. В отказе, точнее, в разгаре борьбы за выезд мы с ним

и познакомились. Он был прирожденным бойцом, готовым испепелить каждого из нас, если в чем-то не встречал согласия. В нем сидел дух противоречия, и он всегда был "против". "Барский, — хорошая страна Израиль?" — "А что в ней хорошего?" — "Барский, пойдем бастовать на телеграф!" — "Иди, я не идиот". Но все-таки в тюрьму на две недели он угодил и после этого решил пойти в ОВИР на таран (советская власть еще не знала, с кем имеет дело!). Он одел самый лучший свой костюм и отправился на прием к замначальника ОВИРа, к майору Золотухину. Он вошел к нему в кабинет и закрыл за собой дверь. Содержание их разговора так и осталось похороненным в стенах ОВИРА, но согласно непроверенным источникам, Барский не скандалил и не угрожал, как некоторые. Нет! Он мирно сел перед Золотухиным и тихо и проникновенно сказал: "Я знаю, почему вы не даете мне разрешения!" — "Почему же? — интересно знать". — "Вы боитесь, что я разглашу секретные данные об одном небезызвестном нам с вами объекте". В кабинете наступила мертвая тишина. "Надеюсь, вы, товарищ майор, догадываетесь, кого я имею в виду, и не заставите меня называть это имя вслух".

— Нет! Нет! Нет! — вскочил с кресла ставший белым как бумага Золотухин. Он сказал, что подумает и доложит начальству и еще что-то совершенно странное.

Никто из нас не мог и ума приложить, какая связь была между намеком Барского и полученным им через неделю разрешением на выезд.

...Ну так вот, выходим мы из Бродецкого с художником Барским. На нем европейского покроя исключительно изящный бархатный пиджак, купленный по дороге в Израиль в Париже, на Елисейских полях. Ко мне он всегда обращается своим прокуренным и простуженным голосом с одним и тем же: "Пойдем, Перельман, напротив, посидим, кофейку выпьем". К Израилю отношение у Барского двойственное. Иногда (как правило, по утрам): "Ох хорошо! Ох тепло! Солнышко светит!" А иногда (чаще по вечерам): "Ну и идиот, нашел куда приехать и, главное, — уже был в Париже, и вот, пожалуйста, прибыл, мудак, на родину предков".

Мы сидим напротив в кафе, болтаем о том, о сем, и никто из нас не предвидит его романтической судьбы, как встретит он однажды на лестнице Бродецкого американку, манекенщицу Керри (чем-то неуловимо напоминающую обеих сразу — и юную Вертинскую и юную Максакову) и как бросит она ради Левы фотографа Джо, и как поселятся они в Рамат-Гане, и как Керри будет плакать на груди у моей жены и жаловаться, что Лева не хочет работать. Ни в одной фирме. "Да, не хочу!" — громогласно подтверждает из соседней комнаты Барский. "А что же ты, Лева, хочешь?" — будет заливаться слезами Керри. "Что хочу? Картинки рисовать хочу!" — решительно заявит Лева. В конце концов Керри напишет о своей горькой судьбе в газету "Джерузалем Пост", где — как ни странно — к ее женским страданиям проявят куда больше внимания, чем к сионистским обвинениям Шатрова в адрес жидоеда Лапина.

Керри исчезнет, а Лева поселится в холостяцкой сохнутовской квартире на улице Анны Франк, где будет у него одна-единственная раскладушка, окруженная горами окурков, подрамниками, холстами, красками. Пора мне заканчивать про своего друга Барского, и я бы уже перешел к другим обитателям Бродецкого, если бы не угораздило меня стать его гарантом в сохнутовском банке "Идут", и потому время от времени меня вызывали в суд. И тогда я ехал на улицу Анны Франк и барабанил изо всех сил в двери Барского — разбудить Барского до двенадцати дня было делом абсолютно безнадежным, но я все-таки добуживался, и отправлялись мы вместе к нашему единственному на весь Сохнут ангелу-хранителю Аленбойгену и плакались ему в жилетку. Аленбойген звонил в банк "Идут", и дело из суда изымали под честное слово Барского уплатить до последнего агорота.

Барский был рыцарем и человеком слова, но он начисто утрачивал эти благородные качества, как только заходила речь о долгах Сохнуту. И дело снова шло в суд, и снова я ехал на улицу Анны Франк, и снова мы шли к Аленбойгену, пока все это не надоело Барскому и не уехал он в Нью-Йорк и не поселился в Сохо. Что он делает? Готовится к выставке и гуляет со своими любимыми двумя собаками и наслаждается жизнью в Сохо, впрочем, кто его знает, что он делает, если

мы с ним почти не видимся, а лишь перезваниваемся: "Здравствуй, Лева!" — "Здравствуй, Витя!" — "Что происходит?" — "А ничего не происходит". — "Как собачки?" — "Собачки хорошо". Вот какой содержательный разговор в нашей содержательной нью-йоркской жизни!

Вы, конечно, читатель, думаете, что, прикоснувшись к интимной жизни Барского и Керри, вы уже заглянули в самые глубины эмигрантских душ. Боюсь, что до самых глубин мы не доберемся никогда. Тем более в большинстве своем обитатели Бродецкого были вполне добропорядочные люди — такие, как писатель Изя Йонас с женой Фридой и двенадцатилетней тогда дочерью (позже судьба-индейка собьет с пути и Изю), как сестры Баазовы, дочери знаменитого грузинского раввина Баазова, как семья американских евреев Бобисов, решивших попытать счастья в Израиле...

Заранее предвижу ваш упрек, что пропускаю я добродетели и их носителей мимо внимания (пусть себе ходят в ульпан, учат иврит, морочат голову сохнутовским чиновникам) и задерживаюсь на всякого рода странных лицах, которых иной добропорядочный автор не удостоил бы внимания. Но, поверьте, я это делаю не из желания оригинальничать, а из желания следовать правде, ибо эти лица и нарушали весь плавный ход эмиграции и вообще плавный ход жизни. А главное, они отравляли существование тем бескорыстным идеалистам, которые решили отдать себя без остатка делу еврейской эмиграции. Об этих идеалистах у нас опять-таки речь еще впереди, а пока — о горячечных душах Бейт-Бродецкого, без которых вся его жизнь, с его ульпанами, субботними разноцветными свечами, с экзотическими молящимися раввинами, — вся эта жизнь оказалась бы попросту посаженной на бессолевую диету.

Начну с того, что душной июльской ночью в Бейт-Бродецкий ворвался наряд полиции и сразу же поднялся в номер к знаменитой пианистке Софе Лазебниковой. И тотчас выяснилось, что Лазебникова в этом номере уже давно не жила, а проживает здесь некий стареющий блондин с чисто славянской наружностью, по имени Коля Рогожников. Его поведение и послужило поводом для прихода полиции в этот интел-

лигентнейший из отелей Тель-Авива. Как выяснилось, из номера Рогожников почти никогда не выходил. Единственно, с кем он поддерживал контакт, был уже упомянутый Марат Шатров. И кроме него, никто не знал романтического прошлого Рогожникова, что был он танцором Краснознаменного ансамбля песни и пляски имени Александрова и по какой-то малопонятной причине был вывезен пианисткой Лазебниковой на ее историческую родину, где и оказался предоставлен сам себе. Ну а дальше вы, читатель, и сами, верно, догадываетесь, каким способом утолял свою истомленную душу бывший танцор Краснознаменного ансамбля песни и пляски Коля Рогожников, оказавшись на исторической родине своей жены Софы Лазебниковой

Но и в этом администрация Бейт-Бродецкого, ни тем более тель-авивская полиция не увидели бы ничего предосудительного, не окажись он на тель-авивском Плац-Пигале, улице Аяркон, и не захвати он оттуда в Бейт-Бродецкий девушку. Но и это еще не было самым страшным (Аяркон для того и существует, чтобы брали оттуда девушек).

Самое страшное произошло в предрассветный час, когда к Бейт-Бродецкому подкатил старый гигантский "Бюик" и из него вылезли странного вида евреи и пытались по канату взобраться в номер к Лазебниковой. Все тут было окутано мраком, за исключением того, что в предрассветный час танцору ансамбля имени Александрова оказалось нечем уплатить честно отработавшей свое девушке. И последней не оставалось ничего другого, как вызвать на помощь своих товарищей с того же тель-авивского Плац-Пигаля – улицы Аяркон.

Скажите, что бы сделали с танцором Рогожниковым в любом цивилизованном государстве? – Об СССР я не говорю – ну, скажем, в Нью-Йорке: если бы это произошло даже в каком-нибудь третьестепенном Грейстон-отеле? Наверное, его, как минимум, оштрафовали бы или выселили бы из гостиницы, а то бы и депортировали как не имеющего никаких документов.

В Бейт-Бродецком Рогожникова вызвали на беседу к доктор-Клингер. И далее я не могу просто продолжать, не ска-

зав хоть несколько слов о доктор-Клингер. Выше я упомянул о добровольцах-идеалистах, так вот, в Бейт-Бродецком они были представлены доктор-Клингер.

При описании ее я заранее отказываюсь от реалистических приемов, к коим я то и дело прибегал на предыдущих страницах. Сказать, например, про доктор-Клингер, что была она блондинка низенького роста, в очках, делающих ее похожей на классную даму, — значит, ничего не сказать. Ибо к тому же она была полковником в отставке Британской армии и ходила такой властной походкой, что можно было принять ее и за генерала в отставке. Особенно, когда утром подъезжала в своем "Пежо" к Бродецкому и, сопровождаемая своим бессловесным мужем, направлялась в кабинет к его директору — добряку и симпатяге Мотке.

Если Мотке был администратором, хозяйственником Бейт-Бродецкого, то доктор-Клингер была его идеологом и комиссаром. И если к этому добавить, что всю свою комиссарскую деятельность она осуществляла исключительно на волонтерских началах и, следовательно, не боялась никого на свете, то можно представить, в сколь нешуточном положении оказывался любой, за кого принималась доктор-Клингер, к тому же еще и говорившая по-русски.

Ко мне как к журналисту и активисту алии она сразу же преисполнилась доверия, не заметив, как я превратился в ее постоянного консультанта. Впрочем, повторяю, из множества проблем, занимавших обитателей Бродецкого, доктор-Клингер интересовало только то, что было связано с их идеологией и нравственностью.

Одним из первых, кто попал в поле ее зрения, был Марат Шатров. Оказавшись в "Трибуне", он обрушил всю силу своего темперамента против правящей Рабочей партии, членом которой (или, может быть, она ей явно сочувствовала) была доктор-Клингер.

В "Трибуне", как некогда в нашей многотиражке "За отличный рейс", всегда ощущался дефицит с материалами, и Марат, ее единственный литсотрудник и политический обозреватель, мог себе позволить не особенно стесняться в выражениях.

— Господин Пэрэльман, — встречала меня по утрам доктор-Клингер, — вы мне можете объяснить, что представляет собой этот Шатров? Он вообще еврей? Вы читали, как он ужасно выражается в этой своей газетенке? Как вам нравится его вчерашняя статья ''Рука руку моет?'' Объясните мне, что это значит — ''рука руку моет''? Это так говорят в теперешней России? Я первый раз слышу! А вы читали его статью ''Партийный жучок''? Это он так пишет о Бен-Меире — одном из первых людей партии. У всех у него ''рыло в пушку'', все какие-то бандиты и жулики. Его послушать — так неизвестно, как мы выиграли три войны. Вы, кстати, не знаете, где он раньше служил? Говорят, на телевидении. Можно себе представить, что это за телевидение, если там работают такие, как Шатров!

Но особенно доктор-Клингер была возмущена скандалом с Рогожниковым, который не заплатил проститутке с улицы Аяркон. ''Нет, как вам все это нравится, господин Пэрэльман?! Мало у нас в Бейт-Бродецком своих цоресов, нам еще не хватало проституток с Аяркона. Это же надо додуматься — привести среди ночи в отель для новых олим! Между нами говоря, только гой себе мог это позволить. Вы, кстати, не знаете, кто он был там, этот Рогожников? Говорят какой-то артист, танцор — я очень знаю, чем они там все занимались...''

Впрочем, после личной беседы с Рогожниковым доктор-Клингер несколько смягчилась и даже пошла хлопотать к Мотке, чтобы его не выселяли.

— Вы знаете, господин Пэрэльман, он у меня был сегодня, этот ваш танцор. Он оказывается пьет водку! Говорят, они выпивают с этим Шатровым. Вы что-нибудь слышали об этом? Я его спросила: ''Как же это все получилось у вас, господин Рогожников, с этими женщинами легкого поведения?'' А он: ''бе-е, ме-е, сам не знаю''. Тогда я ему сказала: ''Знаете что, господин Рогожников, мы с вами не в детском саду — так это, кажется, у вас называется — или будем говорить откровенно или не будем говорить вообще. Так вы знаете, что он мне рассказал? Что он вообще не хотел никуда

уезжать! Но оказывается, у него от первой жены трое детей, и она его так преследовала с алиментами, что он решил жениться на этой Лазебниковой и уехать в Израиль. Ну, как вам это нравится? У нас мало своих цоресов! Я его спросила: "А что вы, господин Рогожников, собираетесь в Израиле делать?" И что же он мне ответил? Вы не знаете, что он мне ответил. Он сказал, что хочет создать национальный израильский балет! Нет, как вам нравится этот хохом! Я сказала: "Послушайте, господин Рогожников, но ведь на это нужны средства". Так он мне отвечает: "А Сохнут на что, доктор Клингер?!" Вы знаете, что я решила? Позвонить Нехемии: пусть они что-нибудь с ним решают... Кстати, господин Пэрэльман, а что вы знаете об этой Лазебниковой? Она действительно живет с этим артистом? Ну давайте рассуждать логично: если у тебя есть жена, так зачем тебе эти бабы с Аяркона? Но, с другой стороны, зачем этот аморальный алкоголик нужен Лазебниковой? У меня просто от всего этого идет голова кругом. Я вам скажу откровенно, у нас еще не было такой алии. Когда мы приехали, так были какие-то идеалы. А какие идеалы у этого танцора? Так он еще хочет нам с вами создавать балет. Представляете, что это будет за балет..."

В этом месте я хотел бы прервать страстный монолог доктор-Клингер о черной неблагодарности, которую пожинают от своей паствы добровольцы-идеалисты. Особенно доставалось тем, которые — опять же по совершенно доброй воле — подобно доктор-Клингер — взвалил на себя тяжелую ношу быть душеприказчиками нашей алии.

Бедная, наивная доктор-Клингер, — хоть и служившая в некие романтические времена полковником Британской армии — что она могла знать о происходящем в горячечных душах новых олим из СССР! Вот это ее незнание, ее наивность и романтичность устремлений и были оплачены черной неблагодарностью некоторых новожителей Бейт-Бродецкого.

Она переживала о заблудшей душе бывшего танцора ансамбля песни и пляски Рогожникова, попытавшегося так некрасиво надуть девушку с улицы Аяркон, ей не давало покоя

поведение бывшего сотрудника "Голубого огонька" Марата Шатрова, называвшего в газете "Трибуна" ее товарищей по партии жучками и хануриками, но главная — и я бы сказал самая нехорошая — бацилла притаилась не в них. И не в Льве-Феликсе Барском, разрушевшем любовь добропорядочного бруклинского еврея, фотографа Джо, и не в виолончелисте Марке Заславском, о котором я также считаю необходимым упомянуть, поскольку доктор-Клингер угробила невообразимое количество энергии, чтобы найти ему, одинокому холостяку, брошенному антисемиткой женой, работу в Тель-авивском университете, а он возьми — и слиняй в Швейцарию, где сразу же женился и опять же на гойке ("нет, ничему не учит жизнь ваших советских евреев, господин Пэрэльман!" — сокрушалась при этом известии доктор-Клингер).

Но, повторяю, не от Барского и не от Заславского получила доктор-Клингер удар, после которого она — бывший полковник Британской армии — слегла на несколько дней, а от нового оле из Одессы, бывшего чемпиона по вольной борьбе УССР Петра Мосолова, эпопею которого, взявшись за описание нашей эмигрантской одиссеи, я просто не вправе опустить.

Среди всех постояльцев Бродецкого, точнее, среди всех посидельцев расположенного возле его крыльца скверика, это была, может быть, самая тучная и самая трагическая фигура. С утра до вечера он забивал на скамеечке козла с такими же, как он, постояльцами, отчаявшимися постигнуть язык предков и потому не ходившими в ульпан. И однажды заговорил со мной и Барским, когда мы спускались с крыльца Бродецкого отпить в кафетерии Рабиновича, напротив, по чашечке кофе.

Он тоже спускался с крыльца в это знойное тель-авивское утро. Было в нем, наверное, килограммов сто веса. Возраст неопределенный, лет пятидесяти, может, пятидесяти пяти, лицо красное — то ли алкоголика, то ли сердечника, — и вот, поравнявшись с нами, он, язвительно улыбаясь, спросил: "Ну, как мужики, родина предков?" Барский, тотчас уловив язвительность, ответил: "А что — прекрасно! Солнышко! Хоро-

шо!" — "Да, солнышко, ядрена вошь, — улыбнулся странной улыбкой толстяк, — а то у меня там не было солнышка. Вы откуда сами-то будете? Из Москвы? Ну, может, у вас в Москве и хреновато было, а что скажите мне, старому пердуну, не хватало? Вам, думаю, и не снилась такая жизнь, какая у меня была в Одессе. Перед каждым матчем лично зампредисполкома Скобликов Иван Иванович звонил: "Петь, а Петь, может, тебе чего нужно, ты только скажи, Петь, все достанем..." А Петя под старость выдал им такого куража с корицей — на историческую родину отвалил. Иван Иванович лично перед отъездом вызывал — я уж никто был, тренер в школе, а все равно — сколько вместе выпито, сколько баб совместно катапультировано! Вот он и говорит: "Петь, а Петь, ну какой ты сионист, взгляни на себя в зеркало!" А я, старый мудак, свое: "Хочу воссоединиться со своей засранной тетей в Тель-Авиве". Во, мужики, в какие дела влопался! Вы спортом-то увлекаетесь? Оно и видать, нет. А то бы слышали про Петра Мосолова — десять кубков взял. Вообще-то по паспорту я не Петр, а Пинхас, Пиня, и фамилия моя настоящая — Мессингисер, но про это все уже забыли — Мосолов и Мосолов! Баба моя по блядскому делу пошла. Моложе она меня на пятнадцать лет. Но вот, как застал я ее на катапульте, взяла меня такая заноза, ну, думаю, курва, разойдутся наши пути-дорожки. Пра-льно мама говорила: "Не женись, Пиня, на шиксе, пожалеешь". В общем, что вам, мужики, говорить, сами все понимаете. А тут еще давление двести семьдесят на сто двадцать — от этого солнышка..."

С этого монолога и началось наше знакомство. Ну, а что Пиня говорил доктор-Клингер, этого никто не знал. Известно только, что что-то в ней дрогнуло, растаяло, когда она узнала про судьбу чемпиона по вольной борьбе Мосолова-Мессингисера. Однажды, встретив меня, она, совершенно расстроенная, сказала: "Вы слышали, господин Пэрэльман, какое несчастье с нашим боксером: инфаркт! Увезли вчера ночью в больницу Хадаса. Хорошо, хоть есть кому ухаживать... — улыбнулась она заговорщической улыбкой. — Вы, надеюсь, слышали об этом романе?" И тут же доктор-Клингер мне по-

ведала о том, что в миг стало достоянием общественности Бродецкого. Сразу же, как у Пини случился инфаркт, в него до беспамятства влюбилась пятидесятилетняя Шушанна, регистраторша Бейт-Бродецкого, прибывшая сюда всего за месяц перед ним из Рио-де-Жанейро.

Неизвестно, отвечал ли ей Пиня той же страстью (внешне она была полной ему противоположностью: тощей, рыжеволосой жердью); загадкой было и то, как они общались (она не знала ни русского, ни украинского, а о Пинином знании языков мы можем только догадываться), — но при этом обилии неизвестных доктор-Клингер была точно осведомлена, что Шушанна все ночи не отходила от Пини и даже попросила у Мотке два дня за свой счет.

Правда, теперь уже ретроспективно, выяснилось, что Шатров, напротив которого поселился Пиня и с которым они иногда пропускали по шкалику, дважды видел вышмыгивавшую из его номера в одной сорочке Шушанну и что она кому-то под совершеннейшим секретом поведала, что знаменитый русский борец из Одессы успел ей сделать предложение. И сказал, что он хоть сейчас отдаст ей руку и сердце, если она отвалит с ним назад в Рио-де-Жанейро.

В эти слухи доктор-Клингер не верила, она лишь знала, что приложит все силы для того, чтобы пристроить нового оле из Одессы Мессингисера куда-нибудь физруком в кибуц: "Не думайте, господин Пэрэльман, что там так уж его ждут. Подумаешь, чемпион! Когда он был чемпионом! А сейчас старый больной еврей, да еще с гипертонией. Но я все это объяснила Нехемии, что, если б он был молодой, как этот дебошир Шатров, так я бы не стукнула и палец о палец. Но старый больной еврей с гипертонией и инфарктом — да мы просто обязаны ему помочь! Вы думаете я очень верю в этот его роман с Шушанной? Да у нее нет ни кола, ни двора, а то, ждите, — так бы она и приехала из Рио-де-Жанейро! Но в конце концов, если мы найдем ему работу, так это их дело. Как вы думаете, господин Пэрэльман, что,мы должны вмешиваться в их личную жизнь?"

Бедная, наивная идеалистка доктор-Клингер! Откуда было ей знать, что еще до злополучного своего инфаркта Пиня

просиживал ночами в своем номере и строчил длинные простыни, которые отправлял с ближайшей почты в СССР заказными с уведомлением о вручении. Знай доктор-Клингер о вероломном содержании этих простыней, у нее бы не оставалось сомнений, как ей поступить. Но, как это бывает в жизни, доктор-Клингер обо всем узнала последней, точнее, предпоследней. Последняя была Шушанна, которой стало известно обо всем уже после исчезновения любимого из Бейт-Бродецкого. Исчезновения — и куда? Какой позор свалился на ее еврейскую голову!

Первыми же обо всем узнали мы с женой, когда однажды, выходя из Бейт-Бродецкого, встретили исхудавшего после инфаркта и на десять лет помолодевшего от разрывавшей его радости Пини.

"Какая у меня, мужики, весть, какая весть!" — причитал он, даже не обратив внимания, что мужик среди нас с женой был только один. "Что, работу нашли! — воскликнула жена. — Где, в каком кибуце?" — "Работу? — странно усмехнулся Пиня, — нужна мне эта ихняя работа, на ихнем сраном солнышке..." И, набрав в легкие побольше воздуха, он сообщил, что решением Президиума Верховного совета ему разрешено вернуться в СССР. "Не хотите, резиновую лодочку, по дешевке отдам? Там пятьсот рублей стоила, по блату в Союзспортинвентаре сделана. Ох, какая лодочка, какая лодочка!" — окончательно впал в эйфорию Пиня и, взяв с нас слово никому ничего не рассказывать, зашагал куда-то прочь. Мы с женой отправились в другую сторону, придя к обоюдному семейному выводу, что как бы ни была прекрасна Пинина лодочка, в данной ситуации нам лучше с ней не связываться.

Испарился он дня через два, не попрощавшись с любимой из Рио-де-Жанейро, за что персонал Бродецкого осуждал его даже больше, чем за отъезд в СССР. Все смотрели на превратившуюся в тень Шушанну с сочувствием и жалостью. Доктор-Клингер наутро после его исчезнования не вышла на работу, а появилась в Бейт-Бродецком дня через три, еще более суровая, жесткая и по-полковничьи подтянутая.

О Пине она в разговоре со мной даже не упомянула, а лишь вскользь, когда появился в Бейт-Бродецком бывший корректор "Советиш Геймланд" Изя Циперсон, заметила: "Господин Пэрэльман, вы лично знаете этого Циперсона? Я вполне допускаю, что он может оказаться агентом КГБ. Надеюсь как журналист вы понимаете, что я имею в виду. Кстати говоря, Шушанна хотела принять целый пакет валиума. Вы что-то слышали об этом? Ах, кто бы мог подумать, кто бы мог подумать!" Больше доктор-Клингер к этой теме не возвращалась. Она просто навсегда выбросила Пиню из своего сердца.

РУВЕН ВЕРИТАС И ДРУГИЕ

Да, я уже предвижу глухое недовольство читателя: ну а где же все-таки сам Израиль? И каков он? И как там жил автор? И как живут сто с лишним тысяч эмигрантов?

Эта книжка не об Израиле, а обо мне: как в один прекрасный день я решил перебраться из СССР в еврейское государство и как основал в городе Тель-Авиве русский журнал "Время и мы", и как, прожив здесь без малого восемь лет, уехал вместе с журналом в Соединенные Штаты, и как купил себе под Нью-Йорком дом и, оборудовав в этом доме маленький кабинет, день за днем пишу эту книгу. Но, задумав это сделать, тотчас же столкнулся с трудностью: какую избрать точку отсчета и какое понимание мира признать истинным — тогдашнее ли, 73-го года, сопутствовавшее моему приезду в Израиль, или нынешнее, с каким я живу сейчас. По здравому смыслу — более верно то, что приходит с возрастом. Но это было бы неоспоримо, если бы жизнь развивалась в согласии с законами логики.

А если она лишь театр абсурда, и мы с вами, читатель, лишь актеры в этом театре, то разве я не вправе строить сюжет по законам своего абсурдного видения? А потому не будем удивляться ни Шатрову, ни доктор-Клингер, ни Пине Мессингисеру (возможно, продолжающему преспокойно

жить в Одессе), ни тем из многих персонажей, которые еще будут появляться на сцене. Не пытайтесь понять, хороши ли они, плохи ли, умны ли, благородны ли, логичны ли, а главное — достойны ли места, которое им уделено в книге. Сейчас я вам открою, может быть, самый большой, хотя, конечно, не самый приятный секрет: я только говорю, что пишу о себе (потому что так положено говорить: де лирический герой и прочее), на самом же деле я пишу о нас с вами, читатель, да, да, я и вы — в общей упряжке — без шор, без прикрас, без романтики, без главной идеи, а с одной лишь целью — показать, как мы будем выглядеть, проявив максимум откровенности в своем диалоге с самими собой.

В 73-ем году я считал себя еврейским активистом — я голодал на телеграфе и рвался в Израиль, чтобы вместе с такими же, как я, перестраивать страну. В 83-ем — я этому улыбаюсь, как улыбаются взрослые люди при воспоминании о своих детских забавах.

Я взошел на высшую ступень и живу в стране высшей цивилизации и выпускаю популярнейший на Западе русский журнал. Но отчего же так тянет меня в это мое давно покинутое детство. Именно по этой причине я делаю сейчас отступление и, погрузив свои монатки в пятисотместный "Боинг" израильской фирмы "Эл-Ал", совершенно натурально, со скоростью восемьсот миль в час, лечу назад в 1973 год. И снова, как когда-то, вырываются из тьмы огни Тель-Авива, и снова рисую я первые минуты встречи и рвутся из души полувнятные, восторженные слова...

Но все произошло так буднично, что даже малейшее отклонение от натуральных событий прозвучало бы не иначе, как фальшивая нота. Ну как, например, если бы на веселой пьянке в бронницком колхозе "Борец" аккордеонист вдруг после буйного гопачка стал бы ни с того ни с сего нежно наигрывать Шопена.

Все происходило так, как будто я никогда не покидал своей исторической родины. Возле паспортного контроля меня заставили заполнять специальную бумажку для проверки моего армейского прошлого. Затем я ждал минут сорок своих

двух вышвырнутых откуда-то из подземелья чемоданов. Потом произошла заминка, в которой, впрочем, скорей виноват мой облик, нежели порядки в аэропорту Луд.

Заминка произошла на таможне — мой облик вызывает у всех таможенников мира жгучее желание обшарить мои чемоданы. И этот приезд из Америки не стал исключением.

Я храбро пошел на зеленую черту и тотчас услышал на иврите: "Адони!" — что в точном переводе означает "мой господин" и что с незапамятных времен утратило свой первоначальный изысканно-вежливый смысл. Я оглянулся и увидел подзывающего меня и подозрительно рассматривающего с ног до головы длинного, тощего, молодого еще таможенника. Решив провести таможенную экзекуцию с толком, с чувством, с расстановкой, он предложил мне для начала раскрыть "дипломат" (для бриллиантов баул не нужен!). Я раскрыл, и он впился в его содержимое ястребиным взглядом. Но тотчас этот ястребиный взгляд потух и в нем проснулось с трудом скрываемое разочарование. Разочарование тут же сменилось благодушным удивлением: кого только не носит на трансатлантических рейсах! Короче, его ястребиный взор уткнулся не в бриллианты, а в стопу журналов "Время и мы". На его лице продолжало сохраняться выражение охотника, который целился в тетерева, а угодил в воробья и теперь не знает что делать — то ли злиться, то ли потешаться над собственной неудачей.

"Это на каком же языке?" — стал он рассматривать один из номеров. Узнав, что на русском, страшно обрадовался и немедленно сообщил, что его отец с Украины. Я уж было хотел ему по этому случаю один номер презентовать, но в ответ услышал: "Да нет же, умер он, умер...". Я приготовился было раскрыть баул, но он засмеялся и сделал знак рукой: не надо! Мол, и без того видно, что за контрабандист. Но и расставаться явно не спешил. И стал вдруг расспрашивать, что это за журнал и что в нем пишут, и где печатают, а когда все выяснил, задал вопрос уже совершенно из другой оперы: "Это кто ж тебе ручку на чемодане оторвал?" — "Да ладно!" — пытался отмахнуться я, довольный, что, слава Богу, нако-

нец окажусь на улице. "Нет, не ладно, пускай чинят. Ты на какой компании приехал? На "Эл-Ал?" Ну, вот слушай, иди вон в тот зал, разыщи там Ицика, рыжий такой. Покажи ему ручку и скажи, что ты от Шлемы".

Около Ицика толпились пострадавшие вроде меня. По каждому случаю составлялся длинный протокол, ждать нужно было минимум час, и я решил плюнуть. Но когда возвращался назад, Шлема снова окликнул меня: "Эй, адони с книжками! Ну как, устроился?" Я ответил: "Да, полный порядок". Но он, видимо, не верил мне, решил удостовериться и, увидев все ту же сломанную ручку, помог мне выкатить чемодан на улицу.

Вот так встретил меня Израиль после двухлетнего отсутствия. Судите сами — хорошо или плохо, с желанием или без.

Наутро я взял у товарища машину и отправился в путешествие по Тель-Авиву и, естественно, первое место, где я появился, был Бейт-Соколов.

Что такое Бейт-Соколов? Бейт-Соколов — это израильский Дом журналиста. Здесь самое знаменитое в Тель-Авиве кафе, но это еще не главное. На Дизенгоф и Бен-Иегуда есть кафе и получше. Бейт-Соколов — это место встреч министров, газетчиков, бизнесменов, генералов, чиновников, влюбленных, любовников... В Бейт-Соколов состоялись моя первая встреча и первое знакомство с человеком из легенды Рувеном Веритасом.

Читатель, естественно, спросит, кто же такой Рувен Веритас. Рувен Веритас — в прошлом боец Литовской дивизии, а ныне майор израильской армии, но это ровным счетом не имеет никакого отношения к делу.

Впрочем, есть у него специальная должность — уполномоченный по делам печати израильских вооруженных сил. А это уже прямо относится к тому, что Рувен Веритас — завсегдатай Дома журналиста. И вот тут-то мы и подходим к главному.

Во всяком случае, если бы я был режиссером спектакля об эмиграции в Израиль и размещал бы главных действующих лиц, то посреди сцены я бы поставил щит и написал на нем:

"Бейт-Соколов". А рядом усадил бы толстяка, похожего одновременно на Гаргантюа, китайского мандарина и еврея из Литвы. Этот толстяк и есть Рувен Веритас. Он же Рува, он же Рувке, он же Рувен, он же Рувкеле, он же просто Веритас.

В те дни, когда в Израиль нагрянули будущие члены Кнессета, реформаторы, опреснители морской воды, у которых чесались руки от жажды действия и которых разогнали в разные концы страны, — он был единственным человеком, исполненным желания им помочь.

Министр абсорбции Натан Пелед сидел в Иерусалиме. До него было далеко. Председатель Сохнута Альмоги сидел на той же улице Каплан, что и Бейт-Соколов. Но до него было еще дальше — он просто никого не принимал.

Рувен Веритас принимал всех прямо в кафе Дома журналиста. И всякому входящему воздавал должное. Нет, не воздавал! Каждого приехавшего оттуда он возносил до небес. Это были не просто журналисты, писатели, актеры, редакторы, а знаменитые журналисты, знаменитые писатели, знаменитые актеры, знаменитые редакторы...

Чем занимался Рувен Веритас? С самого утра он усаживался с газетой за столик в кафе и, заказав себе что-нибудь закусить, принимал знаменитостей из СССР. Рядовые к нему не приходили. Рядовых он не замечал. Впрочем, в те дни знаменитых было так много, что казалось, незнаменитые вообще не приезжали в Израиль...

Вот входит в Дом журналиста режиссер Спильный — лицо Веритаса расплывается, сияет: "Вы знакомы?" — "Познакомьтесь. Хочу вам представить. Знаменитый советский режиссер Спильный". Затем появляется московский переводчик Купершток. "Познакомьтесь, да познакомьтесь же скорее — знаменитый русский поэт Купершток". — "Не Купершток, а Кленов", — поправляет его тот, уловив некую несообразность между своей фамилией Купершток и определением "знаменитый русский поэт".

Однажды я вошел в кафе Бейт-Соколов, за столом Веритаса сидел уже знакомый мне по Москве корректор журнала "Советиш Геймланд" Изя Циперсон. Он уписывал за обе ще-

ки борщ (кажется, именно в это утро доктор-Клингер устроила мне допрос и заявила, что она не удивится, если Изя Циперсон окажется агентом КГБ). Но, как я уже сказал, ничего не знающий об этом Изя Циперсон уписывал за обе щеки борщ и развивал какие-то идеи перед Веритасом. "Вы не знакомы?" — стал поочередно обращаться то ко мне, то к нему Веритас. "Это Виктор Перельман, бывший ответственный редактор "Литературной газеты", знаменитый советский журналист — а это — главный корректор "Советиш Геймланд" — знаменитый московский корректор".

Из всех знаменитостей он считал наиболее заслуживающими внимания нашу троицу — меня, Барского и бывшего московского фотокорреспондента Льва Гринберга. Он звонил по нашим делам во всякие ведомства, выбивая для нас ссуды, но всюду тянули резину и обязательно объявлялся деятель, на котором все замыкалось и которого Веритас смачно называл "шмок". Шмоком был министр абсорбции Пелед. Шмок — начальник тель-авивского округа этого министерства Арончик Паран. Шмок — правая рука Арончика и начальник жилищного отдела Зицер. Но главным шмоком был не Пелед, не Арончик Паран, не Зицер, а прославленный герой алии Гриша Майзлин, с которым я познакомился почти сразу же после встречи с самим Рувеном Веритасом. Он в развалочку вошел в кафе Бейт-Соколов, походкой ответственного работника, сел к нам за стол и тотчас стал рассказывать Веритасу, как Голда дала прикурить Бегину на последнем съезде партии. "Ты знаешь, Рувка, я просто не ожидал, что старуха так разойдется! А ты ожидал? Ну скажи, ожидал?" Рувену явно не хотелось продолжать эту партийную дискуссию. "Ожидал — не ожидал! Ты видел, Виктор, этого политического деятеля?" — "А что, Рува, ты знаешь, что сказал мне вчера Бен-Меир? Он прямо сказал: "Гриша, тебе место в исполкоме Гистадрута обеспечено". Затем Гриша взглянул на меня опять же взглядом ответственного работника: "Кстати, Виктор, не сегодня-завтра тебе придется определяться. Я надеюсь, ты не забыл еще этого: "Кто не с нами, тот против нас!" — "Он с нами, с нами, Гриша, не волнуйся!" — прервал его

Веритас, и, когда Гриша отправился к соседнему столу, коротко бросил ему вслед — шмок. "Ты знаешь его историю — какой здесь был фестиваль? Какой фестиваль! Едет Гриша Майзлин — герой Советского Союза. Сама Голда встречала. Речь ему на иврите написали. А потом выяснилось, что он такой же герой, как я".

Гриша Майзлин появляется на сцене против всякой моей воли. Его время еще впереди, и мы еще узнаем о нем много любопытного и даже, как высек он слезы счастья из глаз твердокаменной Голды Меир, но что поделаешь, если он для Веритаса просто шмок. И вообще, по словам Рувена, в Израиле, куда ни ткнешь пальцем, на каждом шагу шмок. Они везде, кроме армии, особенно много их на ниве абсорбции. Единственно кто был в порядке, это семидесятидвухлетний кибуцник и социалист, заместитель министра абсорбции Шлема Розе. К нему-то всякий раз и обращался Веритас, чтобы помог он нагрянувшим из СССР знаменитостям.

Шлеме Розе Веритас звонил по десять раз на день. И тот по десять раз на день обещал помочь. Но на его пути всегда оказывался очередной шмок, и дело не сдвигалось, и Веритас звонил снова, и снова повторялся вчерашний разговор.

"Шлема, ты помнишь, я вчера тебе звонил насчет ссуды знаменитому актеру Паничу?" То, что произносилось на другом конце провода, мы не слышали, но, похоже, что знаменитый актер Панич не запал в голову Шлемы с такой же силой, как в голову Веритасу... "Нет, Шлема, то был Калик — знаменитый советский режиссер, а это — Панич, знаменитый советский актер. Пожалуйста, Шлема... Что? Нехемия не хочет? Передай ему, что он — шмок. Так, я завтра тебе позвоню. Большое спасибо".

Если можно себе представить теневой кабинет при министерстве абсорбции, то его как раз и возглавлял Рувен Веритас. От всех теневых кабинетов мира от отличался тем, что хотя и находился в тени, но не имел никакой абсолютно власти, кроме права названивать Шлеме Розе и требовать от него помощи еврейским знаменитостям из СССР.

По субботам Веритас появлялся у меня в гостях в Бейт-Бродецком. Почему-то всегда без своей жены Рути, но всегда

нагруженный яствами: фисташками, бананами, шоколадом. Жена покупала по такому случаю целую сумку куриных крылышек. Из чемодана извлекалась очередная бутылка столичной. За столом собирался весь цвет Бродецкого во главе с Барским, и начинался пир. Мы много ели и пили, в разгар пира Веритас становился еще круглее и добродушнее и, выпив, тотчас затягивал революционные песни. Он знал их несметное множество еще со времен службы в Литовской дивизии, где славился своим басом и всю войну был ротным запевалой.

Впрочем, не находя у нас поддержки, он быстро умолкал и, опустив голову, начинал тихо посапывать: "Ну вот, Рувен уже спит, пора домой", — следовало заявление Левы Гринберга. "Я сплю?! — оживлялся Веритас, — кто тебе сказал, что я сплю? Это только кажется, что я сплю". Он и в самом деле не спал, а лишь сидел, закрыв глаза, и в подтверждение того, что бодрствует, тотчас затягивал: "Орленок, орленок, мой верный товарищ..." Но пир уже явно выдыхался. Гринберг решительно вставал, а оживший Веритас вдруг начинал всех убеждать, что еще рано: "Куда ты спешишь, Лева, тебе что — завтра на работу? Посидим, выпьем... "Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!" Он оживлялся именно тогда, когда все поднимались. Затем он усаживался в мою или Левину машину и уже не смолкал до самого дома: "Дан приказ ему на Запад, ей в другую сторону, уходили комсомольцы на гражданскую войну..."

Однажды Веритас привез с собой в Бродецкий самого Шлему Розе, который оказался пресимпатичным старичком с большой седой шевелюрой и тяжело передвигающимися ногами. К его приезду наш номер был набит до отказа — пришли дочери Михоэлса — Тала и Нина — и его внучка Виктоша, и писатель Изя Йонас, и Шатров... На председательском месте, подобно старенькому китайскому божку, восседал Шлема Розе и, накладывая себе всякой снеди, не прекращал пить за успехи новой алии. По правую руку от него сидел писатель Изя Йонас, автор опубликованной в "Юности"

и широко нашумевшей в России повести. А по левую — Лева Барский. Он говорил все обратное тому, что пытался утверждать Йонас, и всячески защищал Шлему Розе от его нападок.

Впрочем, Шлема не только ел и пил, он еще извлекал из своего бокового кармана записную бумажную книжечку и что-то в ней помечал. Делал он это обычно тогда, когда его о чем-то просили. Он записывал нужную фамилию или дату в эту свою книжечку и тотчас препровождал ее обратно в карман. Поскольку у него их было много, он забывал, в какой именно он ее клал, и каждый раз, желая что-то записать, искал ее снова. В такие минуты к нему на помощь приходил Рувен. "Что ты ищешь, Шлема, что? — спрашивал он, — записную книжку? Так ты же ее только что держал. По-моему, ты положил ее в брюки. Ты брюки проверил?" После чего Шлема лез в брюки и без труда находил книжку, которую опять засовывал неизвестно куда.

Первой взялась за замминистра Тала Михоэлс, которая без всяких обиняков стала у него допытываться на идише: "Послушайте, Шлема, можно я задам вопрос? Только прошу не обижаться. Мы сегодня выпили, и я по-простому. А вопрос у меня такой: почему ваши подчиненные все время врут новым олимам? Зицер врет, Шварцман врет — все врут! "

Шлема начал беспомощно озираться, явно не ожидая такого напора. Он снова записал что-то в свой кондуит. Затем снова припал к уху Веритаса и тот перевел: "Господин Розе сказал, что мы пришли сюда не ругаться, а искать пути для сотрудничества и потому он предлагает тост за присутствующих здесь новых олим из Советского Союза". — "Пра-ль-но!" — гаркнул из самого дальнего угла Шатров, а Шлема, придвинув к себе тарелку с фаршированой рыбой, вскинул стопку, которая, пока он ее вскидывал, наполовину разлилась, но вторую половину он все-таки допил, а допив, сказал, что он не хочет больше сегодня заниматься делами, а хочет праздновать и веселиться с такими хорошими людьми, которые оказались в этой комнате. Он хотел положить себе в тарелку еще кусок рыбы, но ему явно не везло. По дороге рыба сва-

лилась у него с вилки, и на помощь к нему пришла Тала — она собственноручно положила гостю другой кусок. И он уж было совершенно умиротворенно принялся за него, но неожиданно в разговор вмешался Изя Йонас. Он заявил, что хочет обсудить с господином Розе вопрос, связанный с развитием культуры в Израиле. Шлема попытался отшутиться: по этим вопросам надо обращаться к министру культуры Игалу Алону, а его сфера — это абсорбция новых олим. Но от Изи оказалось не так-то просто отделаться. Он сказал, что его как раз и интересует не культура вообще, а культура в сфере абсорбции, а уж раз речь зашла о культуре вообще, то ее-то как раз государству Израиль и не хватает.

— Ишь ты! — неожиданно ожил сидящий по другую сторону от Шлемы Барский. — Приехал учить Израиль культуре! Да развивай ты эту свою культуру, сколько хочешь — кто тебе мешает!

На это Йонас ответил, что развивать культуру — это функция каждого цивилизованного государства, и если Израиль считает себя таковым, то он не может остаться в стороне.

— Да если хочешь знать, Йонас, тебе это государство вообще ничем не обязано. Холодильник получил? — Получил. Корыто дали? — Дали. Вот и скажи спасибо, а то культуры ему не хватает.

— Знаешь что, адони Барский, — я разговариваю в конце концов с господином Розе, — вдруг потерял терпение Йонас, — и хотел бы услышать от него ответ.

— А он, может, не хочет отвечать на твои глупости, — уже завелся Барский.

— Почему же это глупости?!

— А потому что глупости! Ты при капитализме живешь, понял! Есть деньги — живи. Нет — ложись и подыхай, — рассмеялся вдруг Барский.

— Иврит учите! — крикнул из своего угла Шатров.

— Во, правильно, — поддержал его Барский, — а то культуры ему не хватает.

— Лехайм! — уже с трудом поднял руку Шлема Розе и что-то шепнул Веритасу, который сразу же перевел:

— Господин замминистра хочет сказать тост.

Шлема медленно поднялся и заговорил, а Рувен продолжал переводить: "Господин Розе сказал, что он прежде всего протестует против того, чтобы его называли господином и просит называть его товарищем, поскольку он принадлежит к левосоциалистической рабочей партии МАПАМ. Ему также было бы приятно, чтобы и все присутствующие называли друг друга товарищами, и он думает, что это не составит им большого труда, поскольку все они выросли в стране социализма, и, хотя он, Шлема Розе, против такого социализма, но он как кибуцник никак не против слова "товарищ", а наоборот, считает, что все, кто здесь собрался, и есть настоящие товарищи".

— Ну уж это дудочки, — снова отозвался Шатров. — Гусь свинье не товарищ!

— Что он сказал? — спросил Розе у Рувена вдруг на идише.

Что он сказал! Тебе, Шлема, это очень важно знать! Шмок! — сверкнул Веритас в сторону Шатрова. И Шлема, добродушно улыбаясь, снова попросил его переводить. "Товарищ Розе хотел бы воспользоваться случаем, чтобы пригласить всех присутствующих на вечер в клуб партии МАПАМ "Цафта". На повестке дня — будущее израильского социализма, а затем концерт израильских артистов".

— Браво! — закричал Шатров. — Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Что он сказал? — снова почему-то на идише обратился Розе к Веритасу.

— Он сказал: пролетарии всех стран, соединяйтесь! — засмеялся Веритас. — Послушай, Виктор, откуда этот шмок? — Обратился ко мне Рувен и, не дождавшись ответа, выкрикнул: — Друзья, я предлагаю тост за нашего дорогого гостя, товарища Шлему Розе!

— Лехайм! — воскликнул Розе и, пошатываясь опустился на стул.

— "Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут, — затянул Веритас, — в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще битвы жестокие ждут..."

— Вот, Йонас, а ты говоришь — культура, — снова ожил Барский, — деньги есть — живи, денег нет — не пизди. А ты, Веритас, уже готов, спишь!

— Кто это тебе сказал? — разлепил веки Веритас и вдруг во весь голос затянул: — Выходила на берег Катюша...

— Во-во! Он нам будет говорить! — засмеялся Барский. — Вы лучше скажите, а кто этого товарища повезет домой?

Только теперь мы заметили, что Шлема тихо посапывает на своем месте...

...И вот, перепрыгнув в другую эпоху, я снова в Бейт-Соколове. Вхожу все с той же улицы Каплан. Десять ступеней вверх. Небольшое лобби. Еще одно. И, наконец, кафе, за стойкой которого так же, как десять лет назад, и такой же тонкий, как русская березка, официант Менаше. Кафе пусто, несмотря на обеденный час. Ни одного знакомого, и лишь единственный Веритас на своем месте. Как он изменился! Нет, не просто похудел или сдал. Это было совсем другое. Что именно, мне трудно объяснить, но китайского мандарина с веселыми еврейскими глазами больше не существовало. Человек, обычно сидевший на его месте справа за вторым столиком от стойки, был как две капли воды похож на него. Но это не был он.

— А, Виктор, как дела? — сказал Рувен тоном не то чтобы равнодушным, а таким, каким говорят люди, когда надо как-то заполнить молчание.

— Спасибо, Рува, а как ты? — воскликнул я обрадованный нашей встречей.

— Как жена, как дочка? — посасывал он сигарету.

— Спасибо. Как Рути? — спросил я, почувствовав, что мой тон меняется.

— Ты хочешь что-нибудь выпить? Кофе? Соду? — спрашивает он, видя, что я стою в нерешительности.

— Пожалуй, — отвечаю я и присаживаюсь единственно ради приличия, как это делают люди, чтобы избежать возникшей неловкости...

Я вспоминаю, как однажды мы с ним были в Иерусалиме. Это было еще в ту, прошлую эпоху, когда он меня любил и

был похож на китайского мандарина с еврейскими глазами. Мы были, значит, в Иерусалиме, и он повез меня в Бейт-Агрон — в иерусалимский Дом журналиста. И когда мы спускались по лестнице, он вдруг шепнул мне: "Смотри! — Бегин. Сейчас полезет целоваться. Комедиант!"

Действительно, навстречу нам поднимался по лестнице тогдашний глава оппозиции Бегин. Я-то узнал его сразу, но удивительно, что и он вроде бы узнал меня (то ли по фотографиям в газетах, то ли ему сказали сопровождающие). "Господин Пэрэльман! — воскликнул он на чистом русском языке, — приветствую вас с приездом на историческую родину!" Он хотел было обнять меня, но, не встретив ответного желания, сказал: "Желаю большого успеха!" и стал подниматься наверх, а мы с Веритасом спускались вниз.

— Ты веришь хоть одному его слову? — спросил Веритас и, не услышав ответа, продолжал: — Это же актер, и вся партия у них такая. Скажите — он желает большого успеха! Очень они думают об алие. Ах, ах, — отказники! Ах, ах! — Демагогия! Ему просто голоса нужны. Вот что ему нужно!"

А другой раз мы были на свадьбе у его друга. Веритас, как всегда, был душой общества и, конечно же, много пел.

"По долинам и по взгорьям!.." Свадьбу справляли в саду, и кто-то, кажется, Лева Гринберг, спросил: "А что, Авраам (так звали его друга) — член нашей партии?" — "Член! Член!" — засмеялся Веритас. И вдруг, став серьезным, добавил: "Смеетесь? Смейтесь, смейтесь. Вы еще не знаете этой партии, какая у нее сила. — И уже совсем серьезно и не к моменту торжественно воскликнул: — Эта партия — единственная за алию!"

Кто же теперь за алию? И где сама алия? И моя революционная молодость? Я не заметил, как Бейт-Соколов стал наполняться посетителями. Начался невообразимый гам. Над столиками висели клубы дыма. И всюду неизвестные мне лица — министры, члены Кнессета, влюбленные, любовники... А между ними танцует с подносом стройный, как русская березка, официант Менаше.

— Рувке! — кричит он над самым нашим ухом. — Третий раз тебя зову! Ты рыбу-фиш заказывал?

Рувке согласно машет рукой, и рыба-фиш, украшенная так, как только мог украшать Менаше, ниспускается к нам на стол. А Рувен аппетитно причмокивает и размахивает вилочкой, и к нему подсаживается девочка-солдатка, и они весело о чем-то своем смеются...

А мне как будто бы пора. В другую эпоху. В 83-й год. В страну самой высокой цивилизации, где не будет Бейт-Соколова с Рувкой Веритасом — китайского мандарина с еврейскими глазами, и не будет этого вселенского балагана, где каждый второй или "шмок", или гений, или член Кнессета, а иногда и то, и другое, и третье. А будет высшая цивилизация, где с экрана моего телевизора выползает гигантский гамбургер в разверзнутой пасти и с того же экрана очаровательный старичок-актер строит мне глазки и говорит о благе Америки. А из окна кабинета я увижу дом моего соседа Винограда, к которому по викендам со всего штата Нью-Джерси съезжаются его еврейские родственники и который каждое утро сдувает пылинки со своей новенькой "Субары".

СНОВА НЬЮ-ЙОРК

Всякий раз, когда я возвращаюсь из Израиля в Нью-Йорк, мне кажется, что в мое отсутствие перевернулся мир. Но переступив порог редакции, я тотчас устанавливаю, что никаких судьбоносных изменений не произошло. Так было и на этот раз. Встретившая меня солнечной улыбкой моя правая рука и зам не замедлила сообщить, что Гилдесман уже три раза передавал мне привет. А накануне — не без волнения в голосе — даже поинтересовался, не случилось ли чего-нибудь в Израиле с его другом господином Виктором.

Не переставали обрывать телефон многочисленные клиенты фирмы "Мумие инкорпорейтед". За день до моего приезда президент фирмы Нолик Вольман явился в редакцию в сопровождении некой нервической особы, и оба часа два кряду жгли какие-то странные ароматические палочки. Священнодействие кончилось тем, что особа на глазах у моего зама вручила Нолику семьдесят долларов чистоганом.

На своем письменном столе я обнаружил две толстых рукописи и гору неразобранных писем. Обе рукописи, по причинам, о которых читатель узнает ниже, у меня почти не отняли времени.

Первая оказалась папкой стихов, присланной некой неизвестной мне поэтессой из Сан-Франциско. Поверх стихов лежала ее фотография, посланная, по-видимому, не без задней мысли повлиять на редактора. Поэтесса полулежала на тахте, распустив длинные до пояса волосы и очаровательно улыбалась.

К стихам была приложена автобиографическая справка, которая явно должна была свидетельствовать о нетривиальном характере и мышлении автора. Поэтесса сообщала, что родилась на берегах Невы и первую потребность к самовыражению испытала еще в школе, что нрава она независимого, с мужчинами сдержанна, волосы светло-каштановые, рост 178 см. В редакцию посылает не все, а только лучшее: "Поэму желания" на 120 страниц и "Венок сонетов", который очень хотят напечатать в Европе в парижском журнале "Эхо".

Первые же строки "Поэмы желания" не оставляли сомнения, что это была одна из рукописей, которые "авторам не возвращаются и по поводу которых редакция в переписку не вступает". Но в редакционном уведомлении, сделанном на этот счет, ничего не говорилось о праве автора явиться лично, чем и воспользовалась поэтесса.

Примерно через два-три месяца она позвонила и сообщила, что на неделю приехала в Нью-Йорк и, естественно, очень хотела бы заглянуть в редакцию. У нее был мужской хрипловатый голос — как у многих начинающих поэтесс, и не было ни малейшего сходства с фотографией полулежавшей на диване красотки, полученной вместе с рукописью. Но особенно меня поразил ее рост. Она почти на голову была выше меня. Перед такими женщинами я почему-то всегда испытываю вину, будто уж сам не мог подрасти, чтобы не создавать неловкого положения.

К чести поэтессы она никакой неловкости не испытывала. Повесила на вешалку свой красный длинный балахон. Закури-

ла и стала упорно допытывать, что на меня произвело большее впечатление — "Поэма желания" или "Венок сонетов".

Утром из нью-йоркской телефонной компании пришло сообщение, что за неуплату у нас выключают телефон. И я сказал, что я бы на ее месте поработал над "Венком сонетов".

— Ничего себе! А на "Поэму желания" — поставить крест?! — воскликнула поэтесса.

— Поработайте и над "Поэмой желания".

Я не сводил глаз с письма телефонной компании и проклинал себя за то, что предоставил отгул своей правой руке и заму, у которой непревзойденный талант поднимать настроение авторов, получивших в редакции назад рукописи. После разговора с ней автор обычно уходил окрыленный и иногда даже подписывался на журнал "Время и мы".

Поэтесса почувствовала, что у меня нет достаточного представления о ее творчестве. Она извлекла из сумочки еще пачку стихов и кокетливо пробасила: "Я уверена, что это только начало нашей дружбы и вы возьмете шефство над моим творческим ростом".

С поэтессой мы еще встретимся, и вы узнаете о ее нраве много интересного и неожиданного. А пока я обращаюсь к следующей рукописи, которая ждала меня на столе. Открыв папку и увидев вложенные в нее 250 австрийских шиллингов, я сразу понял, кто ее автор.

Австрийские шиллинги для оплаты ответов высылал только один наш корреспондент, чье первое произведение я получил лет двадцать пять назад, когда работал в журнале "Советские профсоюзы". Это были "Заметки новатора", которые прислал ударник харьковского тракторного завода Николай Борисов. Я хотел от его шедевра отбиться, но он обратился к председателю ВЦСПС Виктору Васильевичу Гришину, и из канцелярии Гришина пришла резолюция: "С каких это пор в нашем профсоюзном журнале не может напечататься рабочий человек?"

Перейдя из "Советских профсоюзов" в "Литературную газету" я, разумеется, забыл о существовании Николая Борисова и столкнулся с ним, точнее, с одним из его произведений уже в Израиле, будучи редактором журнала "Время и мы".

Однажды, просматривая утреннюю почту я обнаружил в ней нечто такое, до чего не могла бы додуматься никакая фантазия. Да, это был он, наш бронебойный автор Николай Борисов: "Дорогой Виктор Борисович! Наконец-то я вас разыскал. Пишу вам из Вены..."

Нет, джентльмены, я не случайно назвал эту вещь "Театром абсурда". Ибо скажите, положа руку на сердце, в каком еще театре вы могли бы увидеть, что прославленный ударник, на которого равнялись восемьсот тысяч читателей "Советских профсоюзов", в прошлом окажется — кем бы вы думали? — троцкистом! чья настоящая фамилия никакой не Борисов, а Наум Лифшиц. Борисовым же он стал после отсидки, дабы ударным трудом искупить прошлое. Но его троцкистская натура, видимо, не могла не сказаться — при первой возможности наш рабкор эмигрировал. И из Вены вместо скромных "Записок новатора" прислал килограмма на два "Записок бывшего троцкиста".

Далее началось примерно то же самое, что в Москве. Правда, на этот раз с обратным результатом. Из редакции в Вену последовал отказ. Из Вены в редакцию — новый вариант. Из редакции в Вену — новый отказ. Но пробиться в журнал без помощи профсоюзной общественности нашему автору так и не удалось.

— Да что же это такое, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку! — возмутился он в конце концов.

По наивности я думал, что это его последнее письмо — я плохо знал неукротимый дух этого человека.

Как ни в чем не бывало он писал мне теперь в Нью-Йорк: "Дорогой Виктор Борисович! Ах, как я рад, что мне снова удалось вас разыскать! Я даже не знал, что вы переехали в Америку, о чем мне любезно сообщили товарищи из "Русской мысли".

Далее он писал, что лишь на Западе понял, что литературой нельзя заниматься между прочим. И только сейчас, выйдя на пенсию, сможет наконец всецело отдать себя делу всей своей

жизни — воспоминаниям бывшего троцкиста. И как старого товарища он меня просит ознакомиться с новым вариантом, который хочет напечатать только в журнале "Время и мы". "Вы же знаете, как я люблю ваш журнал, просто сердце болит, когда видишь, что люди не хотят подписываться".

После двенадцатичасового перелета из Израиля в Америку я не имел понятия, что написать нашему старому рабкору, в котором ключом бьет энергия и который так много лет связан с журналом.

И вдруг меня осенила идея — предложить ему стать уполномоченным по подписке на "Время и мы". Неясно было только, что делать с четвертым вариантом "Записок бывшего троцкиста".

— Вы что же не хотите это даже прочесть? — воскликнула моя правая рука и зам. — Ах, какое неуважение к труду автора!

Спорить не было сил. И тут возникла еще одна гениальная идея — поручить моему заму вступить с новым уполномоченным в личную переписку и совместными силами дотянуть "Записки бывшего троцкиста".

— Но это уже слишком! — возразила она. — Что у меня другой работы нет?

— Нет, не слишком, — теперь уже стоял на своем я. — В конце-концов это, действительно, безобразие, чтобы на Западе негде было напечататься рабочему человеку!

На этом с рукописями было закончено. И я перешел к письмам читателей. Природа не терпит однообразия, но это, по-видимому, не относится к читательским письмам. И хотя среди монблана неоплаченных счетов они составляли лишь единицы, мог ли я представить, что первое же среди них, пришедшее к нам на Пятую авеню из штата Огайо, будет посвящено — кому бы вы думали? — нет, не Троцкому, слава Богу, не ему! но лицу к нему чрезвычайно близкому — Владимиру Ильичу Ленину.

"Дорогая, многоуважаемая редакция! Я совершенно не согласен с утверждениями некоторых эмигрантских авторов, будто Ленин приехал из Германии в Россию в незапломби-

рованном вагоне. Я считаю, что это вопрос политический, ибо так мы можем договориться и до того, что он и денег не получал от Германии, как утверждают некоторые либеральные носороги на Западе. Я искренне надеюсь и очень прошу опубликовать мое письмо. Тем более в прошлом я был боевиком-эсером (сейчас мне 83 года) и лично знал Якова Блюмкина, зверски расстрелянного в подвалах ЧК. С искренним уважением, Соломон Сыркин, пенсионер. Кливленд, штат Огайо".

Других писем я не вижу — одни счета и платежки, — нет, простите, вот еще одно из Бруклина. Природа действительно не любит однообразия. На этот раз письмо было не о вождях мирового пролетариата, а совсем наоборот: о представителях эмиграции, погрязших в алкоголизме и целыми вечерами просиживающих в ресторанах на Брайтоне. И о том, что в своей статье "Пир победителей" я "правильно ставлю перед общественностью вопрос о том, что деньги в жизни — еще не все: доллары долларами, а что же дальше?"

Со всеми этими долларами и троцкистами я чуть не забыл главное: за время моего отсутствия родились два новых журнала — "Стрелец" и "Петух".

"Стрелец" — для элиты, "Петух" — для масс. Элита, как всегда, проявляла сдержанность. "Петух" уверенно завоевывал читателей и через русские магазины "Интернейшенл фуд" проник в самое сердце делового Нью-Йорка — на Брайтон Бич, чего никак не удается журналу "Время и мы".

Да, дорогие читатели, я понимаю, как вам осточертели все эти запломбированные вагоны и бывшие троцкисты вкупе с левыми носорогами и эмигрантской общественностью. Признайтесь же, надоело? Вам хочется чего-то личного, интимного и, может быть, простите, даже чуть-чуть сексуального. Я знаю, что вам хочется именно этого и прошу вас не отчаиваться. Мы ведь находимся в центре Нью-Йорка, в трех минутах от Сорок второй стрит, где, уверяю вас, есть абсолютно все, в том числе и то, по чему, согласно Фрейду, слегка затосковала ваша вырвавшаяся на свободу душа.

Впрочем, зачем нам Сорок вторая? Я не заметил еще одного письма, которое завалилось под стол и в котором есть

как раз то, чего вы с нетерпением ждете (разумеется, не в лоб, а иносказательно, Фрейд Фрейдом, а кто же из наших читателей в открытую полезет с сексом). Но самое занятное, нечто интимное и даже, можно сказать, сексуальное, приключилось в тот вечер со мной самим.

Признайтесь, что в вашей голове уже сложился мой образ — этакого оторванного от жизни фанатика, не нашедшего для себя в Нью-Йорке лучшего занятия, чем выпускать русский литературный журнал, на который без применения оружия все труднее подписать нормального человека.

Но не будем опережать событий и вернемся к уже упомянутому мной письму.

Оно касалось опять же моей статьи "Пир победителей". Но какой пожар мне удалось разжечь в груди его автора!

"Дорогой, уважаемый Виктор! Наконец-то вами сказано то, чего давно уже ждет эмиграция. Наконец-то нашелся человек, который так хорошо меня понял. Кстати, уважаемый Виктор, простите за некоторую нескромность, но я бы хотела узнать, не тот ли вы Витя Перельман, с которым мы когда-то вместе ходили в школу. Может быть, вы помните такую маленькую девочку со светлыми косичками? Да, нет же, что я пишу! Конечно, вы забыли! Но знаете, когда все кругом только и кричат: "доллары! доллары!" — так хочется чего-то большого и настоящего. Если сочтете возможным, черкните по нижеуказанному адресу. А лучше выбросьте в корзинку это письмо и забудьте все, что в нем написано."

Я не помнил никакой девочки с косичками. Но и письма я не выбросил. Некое шестое чувство подсказывало мне, что моя корреспондентка созрела для того, чтобы подписаться на журнал. Однако на сей раз шестое чувство вероломно обмануло меня.

Я написал ей, что совсем не исключаю того, что мы учились в школе и даже стал ее расспрашивать, помнит ли она нашу директрису Марию Тимофеевну. И лишь затем очень тактично поинтересовался, не хотела бы она получать журнал "Время и мы" с большей периодичностью, чтобы чаще читать статьи, подобные "Пиру победителей". Я был нежен, тонок и

вероломен. Закончив письмо, я вложил в конверт подписной талон, получателю которого предлагалось выслать в редакцию чек на 43 доллара. Вот тут-то и последовала отповедь!

Моя корреспондентка проклинала тот день и час, когда позволила себе отправить вырвавшееся из глубины души письмо. Она писала писателю, инженеру человеческих душ, а я просто посмеялся над ее чувством. "Где же вы настоящий — когда отстаиваете чистоту человеческих порывов или когда требуете 43 доллара от одинокой женщины?!"

Впрочем, эта отповедь придет позже, может быть, месяц или два спустя, а пока что, разобравшись с письмами, я погружаюсь в счета, которые всякий раз портят мне настроение. За окном хлещет дождь, над Нью-Йорком спускается вечер. Судя по всему, воротилы Уолл-Стрита уже давно покинули свои офисы.

За дверью раздается стук щетки — это наша негритянка-уборщица, или, как мы ее зовем, "Черная радость". У нее уникальная способность — появляться со своим ужасным стуком именно тогда, когда у меня преотвратное настроение (точно так же, как в той старой жизни, появлялись в моем почтовом ящике повестки в военкомат).

"Черная радость" — исполинского роста она всегда в одном и том же неопределенного цвета халате и такого же неопределенного цвета косынке. В ее облике — нечто среднее между гигантской Статуей свободы (если последнюю окрасили бы в черный цвет) и столь же гигантской скульптурой Паши Ангелиной, установленной в довоенное время у входа в ВСНХ.

Никто из нас не видел, чтобы "Черная радость" когда-нибудь улыбнулась или выразила недовольство или сказала хоть слово, ну, например, "How are you doing?" Она появляется молча, с такой же исполинской, как она сама, щеткой в руках — кажется, она давно уже плюнула на нашу вечно заваленную бумагами редакцию, и главное для нее даже не убрать, а поразмахивать определенное количество раз щеткой и с тем же мертвым, каменным лицом удалиться прочь.

Бросив безразличный взгляд на скрывшуюся за дверью "Черную радость", я снимаю с вешалки старое, еще из Изра-

ля кожаное пальто, беру зонтик и, похоже, последним в здании выхожу на улицу.

"Черная радость" мне окончательно испортила настроение, и в том, что произошло, я поначалу обвинял именно ее. Но, когда в автобусе по дороге в Леонию проанализировал все на трезвую голову, то понял, что "Черная радость" тут не при чем.

С трудом защищаясь зонтом от дождя и ветра, я словно затерявшийся в океане дредноут медленно продирался вперед — навстречу своему сексуальному приключению. Мысли были подстать погоде. Все надо было начинать сначала — ни денег, ни материалов на следующий номер. Лило как из ведра. Сорок вторая ходила ходуном. Под грохот джаза, который несся из каждой дыры, горланили на своем чудовищном английском зазывалы.

Поравнявшись с зеркальной витриной, я краем глаза покосился на свою фигуру. Ничего более нелепого нельзя было представить: купленный еще утром за доллар зонт от дождя и ветра превратился в клочья, которые развевались над моей головой. Прямо на меня, опять же, как потерявший управление корабль, шел шепчущий себе под нос какую-то ахинею гигантский негр. И, решив уступить ему дорогу, я оказался перед стеклянной дверью. За дверью стояла та, что едва не увлекла меня в пучину секса. Когда я вошел, она подала мне замерзшую ладонь и сказала, что ее зовут Сюзи. И если у меня сейчас нет времени, то она предлагает мне записать телефон.

Я решительно отказался. Я сказал: "No, no. I am very sorry. I am very busy" и выскочил из подъезда.

Джентльмены, на вашем лице недоумение? О, кажется я знаю, что вас не устраивает! Чем такой секс, так лучше уж гилдесмановские приветы и запломбированные вагоны.

Считайте, что я вам ничего не рассказывал и крошка Сюзи зазвала меня исключительно для того, чтобы вручить телефон Клуба нью-йоркских феминисток. А я со своим английским ничего не понял и воскликнул: "No, no. I am very sorry. I am very busy".

Все последующие дни феминистка Сюзи не выходила у меня из головы. Впрочем, занимала меня даже не она, а некая повторяемость ситуаций. Дело в том, что нечто подобное со мной уже однажды произошло лет десять назад в Италии. И хотя это случилось при совершенно иных обстоятельствах, я произнес те же английские слова.

К журналу "Время и мы" это имело еще меньшее отношение, чем запломбированные вагоны и гилдесмановские приветы. Но я все же этой истории коснусь. Чтобы не обвинили меня будущие критики в пристрастности или еще того хуже — в приукрашивании собственной персоны. Де, как только абсурд касается других, я тотчас поднимаю занавес, а как самого себя — сразу же антракт. Нет, нет, наш театр демократичен. Включите прожекторы. Поднимите занавес. Время снова возвращаться в семьдесят третий год. Что поделаешь, если раскачивается без конца во мне этот маятник с амплитудой в десятилетие — вперед-назад, вперед-назад...

Итак, я уже сказал, что это произошло в Италии, я послан был туда ведомством Нехемии Гидрона вскоре после своего приезда в Израиль. И точно так же, как в этот раз, я брел по Сорок второй, я оказался на виа Фраттини (или где-то около нее в Риме), но тогда я был еще молод и только что вырвавшись из России, жил в мире текстов, считая себя обязанным следовать разуму и логике. Не то что теперь, когда я уже знаю им истинную цену.

Логика — это всегда гармония. А чего стоит гармония в мире, где я живу? И можно ли тут хоть что-то понять разумом? Кому вообще подвластны перипетии жизни?

Читатель помнит реакцию Нехемии Гидрона, когда я поведал ему о своей мечте. Я хотел создать единственную в мире русско-еврейскую газету, а он в ответ, припав к моему уху, шепотом посвятил меня в святая святых: "Виктор, учите иврит". Он хотел, чтобы я следовал логике жизни. И я готов был к этому. Но в моем подсознании все бунтовало против нее.

Вот вы, дорогой читатель, представьте, что вы такой же еврей, как я, с такой же еврейской фамилией и такой же, как у

меня, русско-еврейской судьбой. Нет, вы не инженер, не врач, не кандидат и даже не снабженец, вы такой же еврей-журналист, как я, с нашей вечной манией что-то выдумывать, творить, что-то вечно редактировать и выпускать. И с единственным правом делать то, что в "Литературной газете" делал я.

Я жил в мире, где глупость возведена в ранг государственной мудрости, и моя миссия состояла в том, чтобы придавать ей более или менее респектабельный вид. Вот откуда и родилась эта жар-птица — мечта о единственной в мире русско-еврейской газете, маниакальная идея, вне которой не понять моей жизни.

Надо было проиграть сначала и до конца пьесу, чтобы постигнуть эту, в сущности, детскую мысль: жизнь — есть никакое не развитие от низшего к высшему (как в нас вбивали со школьной скамьи), а лишь простая смена абсурдов, обладающих уникальной способностью водить вас за нос. Гегелевская триада требует поправки. Абсурд — все: и тезис и антитезис, и рождающийся на их базе синтез. Одна иллюзия сменяет другую, и на их основе рождается новая, но опять же только иллюзия. Итак, вы поняли: единственная в мире русско-еврейская газета. И если вам еще непонятно, как я оказался в Риме, то почему я отправился на улицу Гимел, 7, в ведомство Нехемии Гидрона, для вас уже не составляет загадки.

Даже в облике этого учреждения было что-то страшно знакомое. Как и полагалось, внизу стояла вооруженная охрана, но не российский Иван в шинели и кирзовых сапогах, а такой маленький пузатый еврей, по имени Шмулик, в брезентовой курточке и с подвешенной сзади кобурой.

Узнав мое имя, Шмулик кому-то позвонил, кто-то ответил, что Нехемии нет, а есть его зам — Шницер, и он меня ждет у себя.

В отличие от Нехемии, Шницер оказался седовласым, лет под шестьдесят Аполлоном, который на протяжении всего нашего разговора и не заикнулся об иврите, а все больше говорил о том, какая это чудная идея — создать международную еврейскую газету на двух языках. "А потом и на третьем! " — подбрасывал я дров в огонь. "Очень интересно!" —

воскликнул Шницер. "И освещать алию во всем мире!" — продолжал я. "Ну это же превосходно! — отвечал он. — Есть, правда, маленькая загвоздка — с деньгами. Но это мы утрясем! Сегодня вторник, позвоните мне в четверг!"

Чтобы двинуть сюжет, сразу же скажу, что Шницера в четверг не оказалось, а принимал меня его зам — Зельцер, который не заикнулся ни о иврите, ни о еврейской газете, а ни с того, ни с сего сказал: "Знаете, мы хотим вас послать в Италию". — "Бороться за советских евреев!" — понимающе воскликнул я и через неделю положил на стол Зельцеру папку с текстом моего будущего доклада перед евреями Рима.

"Простите, Виктор, что это такое?" — "Как что? Доклад". — "Простите, какой доклад?" Он окинул меня взглядом, каким обычно смотрят на человека, чье поведение не согласуется с общепринятыми нормами. Удивление вскоре сменилось пониманием. А понимание почему-то сочувствием и еще даже чем-то более теплым и дружеским.

"Послушайте, Виктор, — уже совершенно по-товарищески сказал Зельцер, — я не думаю, что все это нужно так официально: — темы, доклады. Сколько вы просидели в отказе? Год? Больше? Поезжайте, отдохните. Бедному еврею иногда тоже не мешает развлечься!"

Я было упомянул о Шницере и о газете. "Какая газета! Езжайте отдыхать! Вас встретит там наш человек — Марио и снимет для вас гостиницу. А сейчас — будем готовить для вас иностранный паспорт. Вы, наверное слышали, — у нас правило — по возвращении паспорт сдается".

Он вызвал какого-то толстяка Авраама, который сказал, что дает мне адрес, чтобы я срочно сфотографировался и опять же, чтобы я по приезде не забыл сдать паспорт.

"А почему? — вошел я вдруг в веселый азарт, — это ведь мой паспорт!"

Авраам окинул меня подозрительным взглядом, словно хотел спросить: "Да тот ли ты, вообще, за кого себя выдаешь?" Но вместо этого сказал: "В общем так, ты идиш знаешь? Так вот: дрейниш копф! Хочешь — сдавай, хочешь —

держи. Но если ты хороший еврей, крутить не будешь. Приехал: "Шолом, Авраам" – "Шолом, Виктор!" Паспорт на стол и будь здоров!"

Встретивший меня на аэродроме Марио по-братски обнял меня и сказал, что я могу быть совершенно спокоен: итальянский народ не бросит на произвол судьбы советских евреев.

То, куда привез меня Марио, отелем можно было назвать лишь при большой фантазии, но еще большую фантазию надо было иметь, чтобы закуток, куда меня поселили, назвать номером.

Просыпался я чуть свет, когда за окном (точнее, за тем, что в этом "номере" называлось окном) начинали горланить демонстранты. Кто-то вечно чего-то требовал, гудели машины, свистела полиция. "Когда же они работают, эти макаронщики?" – ворочался я на своем вечно испускавшем пух и перья ложе, и не в силах заснуть, поднимался и первым делом проверял, на месте ли мой иностранный паспорт.

На третий день Марио сказал, что на викенд он уезжает к теще в Неаполь и не буду ли я возражать, если на пару вечеров он предоставит меня самому себе. На днях меня разыщет очень славный малый из еврейской общины, по имени Арриго, и устроит такое, что будут трубить все итальянские газеты. Я еще не знаю итальянцев. Это только кажется, что они легкомысленны. А на самом деле – ой-ей-ей, да они Брежневу глаза выцарапают за каждого отказника.

В понедельник Марио позвонил из Неаполя и сказал, что заболела теща и он задерживается. Кстати не заходил ли Арриго? Ах, если бы я знал, что это за парень! Ненавидит штампы! И у него есть для меня несколько вариантов: митинг в ресторане и даже бал в пользу советских евреев. А если еще выступит известный борец за алию Виктор Перельман...

В этом месте нас прервали, и он так и не договорил, что будет, если я лично выступлю на митинге.

Опережая события, я должен сказать, что никакого митинга так и не состоялось. Что же касается славного малого по имени Арриго, то, чтобы не лишать вас нескольких веселых минут, я скажу о нем ниже – ничуть, кстати, не отступив от последовательности событий.

И так день за днем я ожидал с ним встречи, пытаясь угадать, где же мне придется выступить на митинге — в ресторане или на балу? И даже выучил наизусть свою речь (главная мысль которой состояла в том, что пока существует Кремль, евреи не могут спокойно спать). Я ждал встречи с Арриго, пока на одной из маленьких улочек, возле моего отеля, не произошло нечто подобное тому, что случилось десять лет спустя на Сорок второй.

Но не будем задерживаться. Итак, джентльмены, перед вами Рим. В отличие от урагана, бушевавшего на Сорок второй, на его улицах май. По сцене веселыми стайками порхают очаровательные, в коротеньких юбках ласточки. Но я не замечаю ни Рима, ни мая, ни порхающих по тротуарам ласточек — до них ли известному борцу за алию и для этого ли я приехал в Рим?

Я почти уверен, что не кто-нибудь, а именно тексты меня и попутали. В Бейт-Бродецком — после того как я вернулся в Израиль, еще долго потешались надо мной, и каждый раз в разгар застолья поднимался Шатров и произносил: " А сейчас мы заслушаем доклад господина Перельмана о том, как он пытался поставить римских блядей на службу мировому сионизму".

По-моему, это была виа Фраттина или какая-то другая улица возле самого моего отеля, где по вечерам порхало особенно много ласточек, как я теперь понимаю, с целями, не имеющими ничего общего с еврейским национальным возрождением. Тут и произошел казус, который еще долго приводил в веселое настроение моих соседей по Бродецкому.

Не спрашивайте, как и почему он произошел (все что мог, я вам уже объяснил). Но я действительно уверовал, что подозрительная личность в широкой клетчатой кепке, которая в одиннадцать вечера выросла из-под земли возле моего отеля и есть легендарный и столь долгожданный мной Арриго. Личность оказалась евреем, что я тотчас же понял по его акценту: "Или вы хотите что-нибудь интересное?" Конечно же это был он, Арриго, и потому я сразу же перешел к делу: да, я знаю, что он парень не промах, ненавидит штампы и лично знаком со многими журналистами. К тому же, у него есть варианты...

В чем-в чем, а в выдержке ему нельзя было отказать, хотя при упоминании журналистов в его лице проснулось что-то испуганное. Зато при слове "варианты" оно сразу же оживилось и он сказал: "Да я имею несколько очень неплохих вариантов". — "Вот и отлично! — воскликнул я. — Скажите только где и когда?" — "Да хоть сейчас, мы все к вашим услугам!" Он тихо свистнул и перед моим ошалелым взором выпорхнула стайка ласточек, мгновенно обступивших меня со всех сторон. (С этими ласточками Шатров меня буквально извел — чтобы я описал ему каждую, но как только я пытался это сделать, он тотчас прерывал меня: "Ну, бле, даешь! Неужели тебе мало заниматься сионизмом на своей исторической родине?!")

Впрочем, после появления птичек особенно, когда одна из них повисла у меня на руке, я все понял и тут же подумал: "Этого еще мне не хватало!" И решительным жестом отцепив ласточку, отрезал: "I am very sorry. I am very busy".

Конец эпизода был таким, что я даже не рискнул рассказать о нем своим друзьям в Бродецком. Я решительно, огромными шажищами шел к отелю, а Арриго, мелко семеня, бежал за мною и на ходу, путая все языки мира, говорил, что если у меня есть "абисэлэ гелд", то у него есть и другие варианты. "Но, но, — отвечал я", — и, ударив по левому карману, почувствовал, как у меня сжалось сердце. Паспорт! Украли! Провокация! КГБ!

Из гордого сиониста я превратился в самое несчастное существо на свете. Мне казалось, что прошла целая вечность, пока я по темной, пахнущей кошками лестнице не вскарабкался в свой "люкс" и на всякий случай не приподнял подушку. О Боже! Под ней преспокойно лежал мой иностранный паспорт. Я снова был самым счастливым человеком на свете.

СВОБОДНЫЙ МИР

Если в этом мире возможно вознесение к небесам, то именно это и произошло со мной по приезде в Германию на радиостанцию "Свободный мир". Я снова превратился в признан-

ного борца за свободу советских евреев и к тому же бывшего редактора "Литературной газеты", бросившего вызов всемогущему Александру Борисовичу Чаковскому. Несмотря на превратности судьбы, тексты не хотели оставлять меня.

Впрочем, все мои титулы в административном отделе вылились в одну первостепенной важности строку, именовавшую меня "консультантом радиостанции "Свободный мир".

Мне был предоставлен трехкомнатный номер в одной из лучших немецких гостиниц "Арабелла", где четыре раза на день на моей постели взбивались подушки. Мне платили сто долларов в день за одно-единственное — что я такой известный и уважаемый борец удостоил радиостанцию "Свободный мир" своим личным посещением.

Даже обращение ко мне было совершенно особое и неземное. Никто не говорил: так, мол, и так, мы хотим у вас взять интервью — а изысканно вежливо спрашивали: "Не будете ли вы, Виктор Борисович, возражать, если мы эдак минут двадцать эксплуатнем вас в студии". Никто не говорил — "не составишь ли компанию пообедать?" — а извиняющимся голосом сообщали: "Виктор Борисович, вы уж не взыщите, но сегодня мне выпала честь пригласить вас посидеть в "Арабеллу".

На торжественном обеде в честь моего появления много пили. Вначале за свободу советских евреев, потом за мой приезд, потом еще за что-то. Первым захмелел начальник русской службы Дик Рейзин. "Ну и что вы думаете о ситуации "там"?" Я сказал, что "там" скоро не останется ни одного еврея.

Он воскликнул: "Браво!" и добавил, что обожает русскую водку, особенно под селедочку и соленые огурчики и что "там" он служил вторым советником посольства, пока его не вытурили. Но вообще-то он Россию и русских людей страшно любит. "Ох, как люблю, — блаженно закатил он глаза и сказал, что у него ко мне товарищеская просьба — проконсультировать русский отдел, как лучше вещать на Россию, — а то ведь мы просто, как дети. Мы любим петь и смеяться, как дети! Говорим, а что говорим — сами не знаем".

Наиболее въедливым оказался мой сосед справа, представившийся как профессор Мичиганского университета Иван Петрович Латышев — главный консультант радиостанции по вопросам русского языка.

Назавтра, когда я явился на станцию, он зазвал меня к себе в кабинет и, усадив в глубокое кожаное кресло, начал:

— Виктор Борисович, как коллега коллеге разрешите мне вас эксплуатнуть первым, без всяких там цирлих-манирлих. Вот вы профессиональный журналист,скажите — хорошим языком наша станция вещает или не очень? Когда меня об этом спросило начальство, я, знаете, человек прямой, русский — прямо им врубил: "При всем уважении к вам, джентльмены, язык ваш — не очень". Так знаете, что они мне ответили? — "А почему, собственно, не очень?" — Ну, что я им, Виктор Борисович, мог сказать? — Спросите мине что-нибудь полегче. Я — один, а они вещают двадцать четыре часа в сутки. Тогда они пристали — а, знаете, когда американцы пристают — не отвяжешься, так вот, пристали, какую лучше заставку делать: "Говорит радио "Свободный мир" или "В эфире — "Свободный мир"? Азохон вэй, очень важный вопрос! Я им говорю: "Ох, будьте вы неладны, какая вам разница". Но у них в Вашингтоне один умник нашелся — привязался к слову "эфир", мол для русских оно непонятно. Подите им объясните. В общем, Виктор Борисович, хотите — не хотите, а я должен вас эксплуатнуть. Берите вот этот десяток папочек, а дней через пяток мы за них засядем..."

Не успел я выйти от Латышева, как ко мне подлетел энергичный жилистый молодой человек в очках и, представившись Мишей Граббе, сказал, что у него есть ко мне дельце.

— Что, хотите эксплуатнуть?

— Не эксплуатнуть, а как следует поэксплуатировать и пригласить для этого в десятую студию.

В студии Миша долго усаживал меня, устанавливал микрофон, весело потирая руки, приговаривал: "Располагайтесь, располагайтесь, Виктор Борисович, нам будет о чем поговорить!"

Наконец было все готово, и Миша сообщил радиослушателям, что у микрофона корреспондент радио "Свободный

мир" Михаил Гребнев и что сегодня в студии очень интересный гость, о котором радиослушатели, конечно, слышали и с которым ему, Михаилу Гребневу, представилась честь побеседовать.

— Ну а теперь, Виктор Борисович, давайте помаленьку переходить к делу, — сказал он снова весело потирая руки. — Все мы знаем, что незадолго перед отъездом вас как бывшего редактора "Литературки" постигли определенные неприятности: увольнение с работы и прочее. Может быть, именно с них мы и начнем нашу беседу, которая, как мы все чувствуем, обещает быть очень интересной...

Вот так началось мое первое интервью на радио "Свободный мир", в ходе которого Миша Граббе намотал одиннадцать катушек, и мой голос еще года полтора звучал на Россию.

— А пока, Виктор Борисович, большое спасибо, — долго жал мне руку Миша Граббе, — честное слово, приятно иметь дело с человеком, которому есть, что сказать.

Потом меня вызывали в студию другие сотрудники и почти каждого интересовал вопрос — сколько лет я пробыл в партии и что за люди работают в "Литгазете" — много ли евреев и коммунистов и правда ли, что Чаковский тоже еврей? Особенно домогался всего этого высокий в ярко расшитой гуцулке украинец, которого все звали Львом Евсеевичем, а у микрофона он представлялся как Лев Евсеев.

Лев Евсеич все пытался выяснить, — а будут ли когда-нибудь выпускать из России украинцев. Или только одних евреев, а на самостийную Украину всем наплевать. "Ну это, последнее, мы, конечно, вырежем, — сказал он, заканчивая интервью. — Но, знаете, просто сэрдце болит!"

В станционном здании было три этажа. Наиболее изысканной жизнью жил самый высокий — третий, где размещался кабинет директора станции с картой СССР во всю стену. На столах здесь стояли бутылки "Скотча" и соды, говорили только по-английски и обращались друг к другу исключительно по именам: Джим, Боб, Джо, Кейч, Дик...

На втором этаже все было уже по-другому: "государственным" языком был русский. И еще украинский. На подокон-

никах и столах стояли бутылки из-под водки и пива. Все называли друг друга культурно, по имени-отчеству. Впрочем, иногда и нецензурно, особенно, когда горели новости и не было дикторов.

Докой по этой части был тощий,чахоточного вида диктор — вылитый Трофим Денисович Лысенко.

Закончив со мной интервью, Лев Евсеевич попросил меня перейти в другую студию, где нас и поджидал "Лысенко".

— Иди-ка ты, знаешь куда, Лев Евсеич, — в жопу! Вчера я тебя ждал час. Сегодня час.

В конце-концов он нас все-таки записал, но предупредил, что зто в последний раз.

— Тут вам не КПСС, чтоб бардак разводить! — бросил он вслед не то мне, не то Льву Евсеевичу.

Наверху располагалась "кантина" — ресторан радиостанции, где рядовые сотрудники проводили большую часть своего времени, а некоторые целый день, пока не вызовут в студию. Государственным языком был исключительно русский, а главными персонажами — две официантки: Валюша и Катюша, которые были отъявленными матерщинницами и меньше всего церемонились с посетителями кантины.

В кантину я забрел в поисках пива, уже когда кончился рабочий день, и тотчас увидел компанию моих изысканно вежливых интервьюеров,со страстью забивающих козла. Играли на деньги. Козла забивали за столом, уставленным целой батареей пивных бутылок.

Я появился в разгар бурной дискуссии, явно не имевшей отношения к судьбам России. Увидев меня, они едва кивнули и снова ринулись в бой, пока к ним не подошла Катюша и раздраженно не сказала:

— Вы что же думаете, я до утра здесь буду с вами мудохаться?

— Усе, Катюшенька, усе, моя ласточка, — поднялся первым мой интервьюер Лев Евсеич и, шатаясь, двинулся по направлению к выходу. За ним встали из-за стола и остальные.

— Вот мудозвоны, — провожала их до двери Катюша, смахивая по дороге крошки со столов.

Приближался последний день моего пребывания на радиостанции, и Миша Граббе от имени администрации попросил меня ответить на вопросы сотрудников. Открывая встречу, он по обыкновению, весело потирал руки.

— Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы последний раз попросим разрешения у нашего дорогого гостя, Виктора Борисовича, эксплуатнуть его. Надеюсь, что наша встреча, как и все встречи с Виктором Борисовичем, пройдет в хорошей душевной обстановке. У кого какие вопросы, дорогие друзья, прошу! Прошу вас, Лев Евсеич, — повернулся он к моему постоянному интервьюеру в украинской гуцулке.

— У меня к нашему гостю только один вопрос: почему он так поздно поумнел? Что он раньше не видел, с какой гнидой имеет дело — КПСС? А то ведь так много умников найдется — от каждой матки по соске.

— Лев Евсеич, Лев Евсеич! — прижал к груди руки Граббе. — У вас вопрос или выступление? Если вопрос — то, пожалуйста!

— Вопрос. Именно вопрос! Раскаивается ли товарищ, что так долго просидел в этой вонючей партии?

— Позволю себе ответить за нашего гостя, — сурово насупил брови Миша Граббе, — своими делами Виктор Борисович недвусмысленно и ясно доказал, как он относится к КПСС и кремлевскому руководству.

— Кому ясно — кому нет, — буркнул Лев Евсеич.

— У меня вопрос. — На этот раз спрашивал двойник Лысенко. — Почему надо подымать такой шум именно вокруг евреев? Вот, как сам господин Перельман считает? А что — крымские татары хуже? А украинцы? А латыши? Я человек русский, прямой — и что бы там про Власова ни болтали, а у него такого бардака не было: чтобы одних спасать, а других топить...

— Господа, господа! Помилуйте, — снова поднялся Миша Граббе. — Какая тут связь — Власов и наш уважаемый гость из Израиля?

— Ну а раз связи нет, чего зря языком молоть! — огрызнулся Лысенко и едва слышно бросил соседу, — евреев, Гоша, не тронь. Ни-ни.

— Больше вопросов нет, господа? — оглядел окрыленным взглядом присутствующих Миша Граббе, явно желая все закруглить и досадуя, что никак не получалось.

— Позвольте задать Виктору Борисовичу вопрос, — поднялся в самом дальнем углу на галерке лысоватый с маленьким боязливым лицом старичок. — Я, господа, как вы знаете, на пенсии. Времени у меня хоть отбавляй. Так что я хочу сказать? Прочитал я, Виктор Борисович, отрывки из вашей книги "Покинутая Россия". Написано хорошо, правдиво. Но в одном месте споткнулся, и такое меня разобрало любопытство, что сил нет. Может, конечно, неудобно спрашивать, но я все же спрошу. Вы там в одном месте про свою мамашу пишете и указываете ее фамилию — Захарова. Так вот, мой вопрос такой: мамаша-то у вас русская была?

— Господа, — решительно поднялся Миша. — Вопрос не по существу. Если хотите, Петр Николаевич, задайте его гостю после встречи. А пока что разрешите от имени коллектива станции его поблагодарить. Спасибо, Виктор Борисович! Большое спасибо! За помощь и сотрудничество. Но а если что не так, то, как говорят в русском народе, не поминайте лихом. — И Миша трижды по-русски меня поцеловал.

МОЙ ИНОСТРАННЫЙ ПАСПОРТ

Я с удовольствием возвращался в Израиль. В аэропорту меня никто не встретил, так что пришлось брать такси, из окна которого я с интересом разглядывал все происходящее вокруг.

В Бейт-Бродецком ничего не изменилось. Жена по-прежнему ходила в ульпан и учила иврит, дочка — в школу. По вечерам теперь к нам почти никто не заглядывал.

Я допрашивал жену, кто мне звонил. Шамир из "Едиота"? Ландау из "Аль Гамишмар"? Нет, никто!

Барский — единственный, кто забрел к нам в этот вечер на огонек. Сидел и измывался:

— Что, сионисты! Забыли про вас все! Ну кому вы все нужны? Кому? Революцию приехали устраивать?... А Нехемия? Гениальный человек! Хотите революцию? — Пожалуйста, — в Америку... Или вот как тебя — в Италию... Реформаторы! Иврит учите, ебена мать!

Наутро Нехемия лично принимал меня на улице Гимел. Шмулик ему позвонил, и он тотчас ответил: "Пожалуйста, пусть заходит".

Он встал из-за стола и крепко пожал мне руку. — Давайте, Виктор, рассказывайте.

Пока я говорил, его то и дело вызывала междугородная.

— Кто? Вашингтон? Слушаю. Да, да. Это я, Нехемия. Шолом! Джексон? Ну и что Джексон? Пусть действует. А вам зачем тут шум? Неужели нельзя сделать все это с головой?

Он положил трубку, но тут же позвонил Лондон.

— Да, да. Это я, Нехемия. Не отпускают? Отпустят! А вы думаете, если мы им выбьем стекло, то они наложат в штаны? Слушай, Ицик, ты же умный еврей, я просто не узнаю тебя!

Он положил трубку и посмотрел на меня из-под своего гигантского мудрого лба. Потом вдруг улыбнулся и сказал:

— Ну вот что, Виктор, хватит о делах. Главное — что развеялись. Обратили внимание, какие девочки в Италии? Ах, какие девочки!

Я почувствовал, что разговор близится к концу и спросил:

— Нехемия, а как насчет газеты?

— Газета? Какая газета? — На гигантский лоб Нехемии набежали складки.

— Как какая? Еврейская. На двух языках. Помните, мы еще в Вене говорили.

— Честно говоря — нет, — смотрел на меня светлыми, дружескими глазами Нехемия и, неожиданно бросив взгляд на часы, сказал: — Знаете, Виктор, меня там люди ждут. У вас есть что-нибудь еще?

Я снова замялся:

— Понимаете, Нехемия, я взял из аэропорта такси...

— Такси оплатим, — продолжал он дружески смотреть на меня. — Кстати, как у вас с документами? В порядке?

Я не понял, о чем он. В комнату, словно угадав, о чем у нас разговор, вошел мой старый знакомый Авраам.

— Приехал? И паспорт с собой? — пожирал он меня вопрошающим взглядом.

Я торжественно выложил на стол ему паспорт. А он — не менее торжественно — вручил мне семьдесят лир за такси от аэропорта до дома.

— А паспорт мы возьмем и вот сюда запрем, — приговаривал он в рифму.

Прошло года два. Мы уезжали с женой во Францию и начали оформлять документы. И вот здесь-то я подхожу к концу саги об иностранном паспорте, которая как-то сама собой сменила сагу о любви (то есть, конечно, не о любви — какая там еще любовь!) Помните, читатель, с чего я начал? С Пятой авеню, с письма "моей подруги детства", с Сюзи, с римских каникул, а чем кончаю? Вот в жизни всегда так. По крайней мере со мной. Разгонишься, воспаришь, а под конец грохнешься оземь. И ничего вроде и не было. Кстати, не было даже иностранного паспорта. И никогда я его не получал. И ни в какую Италию не ездил. Не верите? Позвонил я своему старому знакомому Аврааму на улицу Гимел:

— Кто-кто говорит? Перельман? — никак не мог понять он. — А по какому вопросу? Хотите за границу ехать? — Езжайте. Паспорт? Какой паспорт? Мы, знаете, паспортов не держим! Паспорта в министерстве внутренних дел.

ДЯДЯ СОЛ

Как, по-вашему, читатель, о чем я думал, когда выходил от Нехемии Гидрона? Вы совершенно правы, мысли мои не блистали ни глубиной, ни оригинальностью. Тексты окончательно развеялись и, оказавшись перед лицом прозы жизни, я размышлял о том, чем мне теперь заняться на исторической родине.

Узнай о моих мыслях "Литературка" или "Известия", они бы не преминули вытащить на свет божий свой любимый "вы-

жатый лимон" — де, выжали из меня все без остатка и бросили на произвол судьбы.

Погруженный в эти мрачные раздумья, я вышел из автобуса в Рамат-Авиве и чуть не столкнулся лоб в лоб с моим венским знакомым преподавателем бухучета Эзахилом Коршенбоймом.

Из рассказа Хилла я понял, что профессора советского бухучета на нашей исторической родине нужны примерно так же, как и члены Кнессета и опреснители морской воды.

— Знаешь, Виктор, — басил над моим ухом Хилл голосом, каким он еще недавно читал лекции, — если бы не дядя Сол, мы бы просто протянули ноги.

Ах как много значит в нашей жизни случай и как мало цель и преднамеренность! Не упомяни Хилл в этот момент своего миллионера-дядю, у меня бы не родилась идея к нему пойти. А не пойди я к дяде Солу, я бы и по сей день таскался по разным мультимиллионерам в надежде раздобыть деньги на международную еврейскую газету. Дядя Сол был единственный, который чуть-чуть их не дал. Он почти их уже дал. И я почти стал редактором. Но поскольку в конце-концов все сорвалось, я до конца своих дней запомнил дядю Сола и даже благодарен ему.

Это был дядя моей мечты. Дядя из сказки. Дядя, подобных которому я не видел за десять лет моей эмиграции. Он и сейчас сидит передо мной, словно на сцене, — в отеле "Плаза", в маленьком креслице, восьмидесятилетний ангелок с венчиком седых волос на красном черепке. И не спуская с меня прозрачно-голубых глаз, тихо повторяет: "Да, я помогу вам, я обязательно вам помогу".

А может быть, во всем была виновата сидевшая рядом с ним тетя — третья жена дяди Сола и поэтому не доводившаяся Хиллу никем.

Да, он был миллионером из сказки, он снял своему племяннику Хиллу за пятьсот долларов в месяц квартиру в Рамат-Авиве и купил за десять тысяч долларов машину "Фиат", он обожал Израиль и был сионистом. Да что там сионистом! — дядя Сол был еще и писателем. Как торжественно сообщил

мне Хилл, он перевел с русского на иврит "Евгения Онегина". В этом месте я не выдержал и воскликнул:

— Сам перевел?!

Хилл посмотрел на меня, как на идиота:

— Для тебя это очень важно — сидел ли дядя со словарем Шапиро лично, или это сделал какой-то там Рабинович?

— Послушай, Хиля, так ведь это наш человек! — воскликнул я.

И чтобы не томить читателя, скажу: не прошло и недели, как с ледериновыми папочками под мышками мы с Хиллом бодро шагали по приморской улице Аяркон в направлении отеля "Плаза". В папочках лежал отпечатанный в восьми экземплярах бюджет международной еврейской газеты "Шолом". В отеле "Плаза", куда привела улица Аяркон, нас ждал дядя Сол и его жена тетя Бетя.

По дороге, чтобы уже все было ясно, мы поделили функции: я — главный редактор, Хилл — как бывший профессор бухучета — главный менеджер.

Решили, что, как редактор, докладывать буду я. И пока мы поднимались, Хилл давал мне последние наставления.

— Не забудь упомянуть, что ты сочувствуешь Рабочей партии и лично Голде Меир. Дядя влюблен в Голду! Да, о сионизме, побольше о сионизме! Дядя сионист. Газета исключительно сионистская, и с предателями, которые едут в Америку, нам не по пути, — басил над моим ухом Хилл хорошо поставленным лекторским голосом.

Дядя Сол был божьим одуванчиком. Тетя Бетя казалась рядом с ним великаншей. Они ждали нас в ресторане отеля, заказав каждому по легкому диетическому завтраку — яичко всмятку и сдобная булочка с кофе.

Откушав, вся компания отправилась для делового разговора в номер. Дядя — хотя и ноги его не доставали до пола — величественно расселся в кресле. Великанша тетя пристроилась рядом, на стуле. Я расположился напротив и, раскрыв ледериновую папочку, хотел было переходить к делу. Но Хилл опередил меня и, словно с кафедры, начал:

— Дядя, если вы помните, я рассказывал о своем друге, журналисте и сионисте Викторе Перельмане.

Дядя Сол окинул меня внимательным взглядом своих чистых голубых глаз и почтительно мотнул головой. Да, он, конечно же, слышал об этом журналисте. В отличие от дяди, тетя продолжала изучающе меня рассматривать, желая, по-моему, в моем лице прочесть — что это за птица пожаловала ни с того ни с сего к дяде.

— Так вот, дядя, — продолжал Хилл, — у господина Перельмана есть идея создать в Израиле международную сионистскую газету на трех языках.

Дядя снова с почтением мотнул головой. А тетя еще глубже вперилась в меня своими маленькими хищными глазками.

— Теперь я предоставляю слово самому господину Перельману, чтобы он лично изложил вам свою идею.

Я построил свою речь строго по плану, утвержденному нами во время шествия по улице Аяркон, то есть начал с того, что в этой стране существует только одна партия и один великий человек — это Голда Меир. Распространению идей Голды и ее партии и будет служить наша сионистская газета. Бегина и Херут не подпустим и на версту.

Дядя еще раз глубокомысленно мотнул головой. В глазах его зажглось что-то живое, и он сказал:

— Да, я, кажется, помогу вам!

Я видел, как встрепенулось лицо Хилла и он повернулся к дяде Солу:

— Простите, дядя, если я вас на секундочку прерву и задам вопрос будущему редактору. Скажите, господин редактор, а вот если бы мы захотели перевести "Евгения Онегина" с русского на иврит, мы смогли бы это напечатать?"

— Разумеется! — воскликнул я. — Но найдем ли мы такого специалиста?

Если мне не изменяет память, — загудел своим лекторским басом Хилл, — сам дядя мог бы тут нам оказать помощь!

— Да, я помогу вам, — сказал дядя. — Но вы мне не сообщили, сколько это стоит.

— Что "это", дядя? — насторожился Хилл.

— Ну это, как вы это называете — ньюспейпер.

Я почувствовал, как у меня застучало сердце. Никогда еще я не был так близок к заветной цели. Но сколько? Сколько

ему сказать? Нужно, как минимум, пол-миллиона долларов. Но разве я смогу выговорить эти пол-миллиона?

— Для начала мы могли бы обойтись сотней тысяч долларов, — не очень уверенно произнес я.

Дядя внимательно посмотрел на меня, затем на тетю. Тетя посмотрела на дядю. Потом оба посмотрели на Хилла. Хилл бросил взгляд на меня. Тетя снова метнула взор на дядю. И он чуть тише, но все же решительно произнес:

— Да, я помогу вам!

"Все. Пронесло", — облегченно подумал я. И вдруг услышал:

— Я помогу вам м о р а л ь н о!

Не было сомнения — это произнес дядя и, испугавшись, что мы недопоняли его, спросил:

— Вы же знаете такое французское слово "морале"?

— Да, дядя, он знает это прекрасное французское слово, — печально подтвердил Хилл. — Это значит, что когда мы будем делать нашу сионистскую газету, вы нам будете говорить хорошие слова.

— Верно! — просияла вдруг тетя, лицо которой утратило настороженно-старушечье выражение. — Я тоже чувствую, что вы оба очень хорошие люди. И ты знаешь, Сол, я рада, что такие прекрасные люди едут в Израиль.

А дядя молча кивал головой и очаровательно улыбался. Напряжение спало. Моральная поддержка, то есть то, чего нам больше всего не хватало, нам обеспечена.

— Спасибо, дядя, — первым поднялся Хилл и надел свою велюровую шляпу. — Большое спасибо.

ПОД ЗНОЙНЫМ СОЛНЦЕМ ТЕЛЬ-АВИВА

После моральной поддержки дяди Сола моя мечта о сионистской газете на двух языках несколько поблекла. Как поблекли мечты и других реформаторов, которых в Луде раскидал по разным концам страны Гоц и которых рассылал по

заграницам Нехемия Гидрон. Эта его страсть посылать нахлынувших из России реформаторов за пределы Израиля еще долго оставалась самым загадочным феноменом алии.

Так или иначе, наша революция выдыхалась. Никто уже не собирался брать почту и телеграф. За отсутствием потребителей была положена под сукно блистательная идея опреснения морской воды. Молчали вернувшиеся из-за границы будущие члены Кнессета. Один только Изя Йонас еще долго шумел о том, что новым олим необходима культура и развивать ее — прямой долг замминистра абсорбции Шлемы Розе.

Даже самые неистовые из реформаторов были только люди. К тому же они имели жен, куда более рассудительных, чем их мужья. Жены пилили их в одном-единственном направлении, не имевшем ничего общего с преобразованием Израиля, а именно — хватит заниматься большой политикой, — пора наконец устраиваться. То есть получать квартиры, искать работу и, естественно, покупать не облагаемые налогом электротовары. Для этого нужны были ссуды, которые выдавал сохнутовский банк "Идуд" на улице Аленби. Но при условии, если у вас были гаранты. Последних находили тут же, у входа в банк, где только и было слышно: "Гаранта ищу, гаранта! Товарищ, не станете гарантом? Вы — у меня. Я — у вас!"

Но это были лишь ягодки, вы еще только входили в джунгли абсорбции, в гуще которых, на улице Каплан, возвышалось величественное здание Сохнута.

Чтобы было только здорово государство Израиль, но в наше доброе старое время без этого учреждения нельзя было и шагу сделать в упомянутых выше джунглях. Без него и еще без министерства абсорбции.

Дорогой читатель! Вы ведь тоже эмигрант, неважно где, — в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, — эмигрант везде эмигрант! Вы-то понимаете, о чем я говорю. Вот и представьте, каково было нам, первым, — романтикам и реформаторам — униженно обивать пороги канцелярий. И, обливаясь ручьями пота, таскаться по знойному Тель-Авиву из министерства абсорбции в Сохнут, из Сохнута в банк "Идут", из банка

"Идут" снова в министерство абсорбции. О земля обетованная! Знойное солнце Тель-Авива...

Сколько интересных задач на сообразительность нам приходилось решать в те дни и как жалко, что вместе со мной не эмигрировал в Израиль мой знаменитый однофамилец Я. И. Перельман! И тогда, вслед за "Занимательной физикой" и "Занимательной математикой", пройдя под знойным солнцем Тель-Авива через Сохнут и подобные ему учреждения, он создал бы самый фундаментальный труд своей жизни — "Занимательную абсорбцию". О, это была бы книга книг!И ни к чему оказался бы "Справочник нового оле". И не пришлось бы нам так часто повторять о балагане в абсорбции.

Впрочем, я и сейчас умоляю вас не спешить с выводами. Отнеситесь к проблеме объективно. Я, например, даже слово "балаган" употребляю с большой осторожностью. Какой еще балаган? — когда сама Голда плакала, встречая новых олим и говорила, что это самый счастливый день в ее жизни.

Это было именно так. Голда приехала в аэропорт Луд. Вокруг все было украшено цветами. Это была не просто первая партия новых репатриантов. В Израиль после двухнедельного заточения в психушке прибывал знаменитый герой алии (и, как говорили, герой Советского Союза!) майор Гриша Майзлин.

В газетах называли эту встречу исторической. И если я хочу привести некоторые подробности, то вовсе не для того, чтобы подрезать ее участникам крылья. К тому же информация моя получена не из официальных источников,а от одного рижского еврея, Гришиного земляка. Он не пожелал открывать своего имени, но заявил, что он-то как раз и был мозговым центром этой встречи. А так как Голда в извилинах этого рижского еврея не нуждалась, то вся его мозговая энергия была направлена на помощь Грише Майзлину.

Короче, за сутки до его прилета этого еврея (когда-то кончившего рижскую гимназию) вызвали куда следует и попросили подготовить для героя речь, с которой он обратится к правительству Израиля и лично к Голде Меир.

Была тут, правда, некоторая заковыка. Герой должен был говорить на иврите. А так как в учреждении, куда вызвали еврея, не было уверенности, что Гриша владеет языком предков, то было решено написать для него ивритскую речь русскими буквами. Что этот еврей и сделал, но позже, по его собственным словам, чуть не получил инфаркт...

Аэропорт был украшен бело-голубыми флагами. Появление героя было встречено исполнением "Атиквы". И вначале Гриша, читая как подлинно государственный деятель по бумажке, что называется, превзошел самого себя.

От имени трех миллионов советских евреев он потребовал отпустить его народ домой. И все было бы в порядке, если бы организаторы встречи не задались целью порадовать Голду не только фактом приезда такого замечательного героя, но и его родившейся прямо в аэропорту правильной партийной ориентацией. Так вот, еврею, которого на всякий случай поставили рядом с Гришей, вдруг показалось, что именно в этом месте, когда зашла речь о партии, Гриша запнулся. И здесь-то у него сжалось сердце. Но он просто плохо знал Гришу и его ораторский талант, который с такой силой развился в Израиле. Пауза перед концом речи у Гриши была ораторским приемом, цель которого состояла в том, чтобы вызвать особое волнение слушателей.

И он достиг этой цели. Поблагодарив от имени трех миллионов советских евреев правительство Израиля и Рабочую партию, он на мгновение смолк... И воскликнул: "Да здравствует Рабочая партия! Организатор всех наших побед! Ура, товарищи! Эрец Исраелю!"

Говорят, что именно в этот момент в глазах у старой доброй Голды взблеснули слезы, а слушавший все это по радио Рувка Веритас сквозь зубы процедил: "Шмок!".

Наутро портреты героя появились во всех ведущих газетах Израиля. Журналисты спрашивали, намерен ли он выставить свою кандидатуру в Кнессет. На что Гриша, подумав, отвечал: "Посмотрим. Жизнь покажет".

Забегая вперед, скажу — Гриша и по сей день не является членом Кнессета, что свидетельствует о неблагодарности партии.

А что сделал Гриша для партии, — это уж я знаю лучше, чем кто-нибудь. Да если хотите, он меня самого чуть не вовлек в партию! В прошлых главах уже шла речь о нашей с Гришей встрече в Доме журналиста и даже упоминалось, как он мне бросил: "Кто не с нами, тот против нас". Но все это было позже, так сказать продолжение атаки. А началась она в первый же день, как только я появился в Бейт-Соколов. Гриша подсел ко мне и, подозвав официанта Менаше, заказал нам по рыбе-фиш и стакану содовой.

— Виктор, я должен с тобой серьезно поговорить. Очень серьезно, — начал он. — Я даже думаю, что разговор не для такого места, как это. Может быть, встретимся завтра, в партии?

В партии я встречаться отказался, и вечером Гриша пожаловал ко мне в Бейт-Бродецкий. В комнате, где была жена и дочь, он также говорить не стал, а предложил выйти в лобби.

Мы сели в кресла напротив друг друга, и он, сурово насупив брови, сказал, что очень много слышал о моей борьбе за алию и что люди, подобные мне, нужны партии как воздух. Если надо открыть газету, — партия откроет газету. Партия Бен-Гуриона не постоит ни за чем!

— В общем, определяться надо, Виктор, определяться. Ты, я вижу, хочешь подумать — подумай. Но знай, что с нами все, а с ревизионистами никто!

Он закурил и, словно что-то вспоминая, спросил, слышал ли я, что ему предлагают баллотироваться в Кнессет. Но для этого ему нужно срочно написать книгу "Мой путь в Рабочую партию". Материалов у него сколько угодно. Так вот, не соглашусь ли я стать его соавтором. Он будет выдавать мысли, а я буду оформлять их литературно. Башли пополам.

Я поинтересовался, на сколько страниц будет книга и тут же по лицу его понял, что этот вопрос поставил его в тупик. Он сказал, что все в наших руках. Но во всяком случае, не меньше страниц семнадцати-восемнадцати...

К чему я все это говорю? Во-первых, потому что на моей исторической родине меня никто и не думал бросать на про-

изволь судьбы (и потому решительно протестую против сравнения меня с выжатым лимоном). А во-вторых, чтобы подтвердить, что партия и лично Голда Меир всегда были за алию и в любой момент были готовы выслушать суровую правду об отдельных трудностях абсорбции.

Известен лишь один случай, когда самообладание изменило Голде и она с присущим ей остроумием парировала нападки одного новоприбывшего писателя. Он уже давно был известен своими перехлестами, которые, может быть, и были уместны там, в Москве, где он справедливо назвал антисемитами ряд ведущих членов Союза писателей. Но со столь же гневными обвинениями он стал выступать и в Израиле. Он объявил бездушными чиновниками не только руководителей министерства абсорбции, но чуть ли не весь кабинет, возглавляемый Голдой, а по непроверенным данным, даже саму Голду.

Рассказывали, что именно в этот момент железная Голда потеряла самообладание и на своем сочном идише воскликнула: "Знаете что, уважаемый! Или вам не нравится, как я руковожу страной? Так давайте поменяемся местами. Я пойду на ваше, а вы на мое!" И каким же надо было быть нескромным человеком и какому бедламу царить на этом собрании, чтобы он, тряхнув своей буйной шевелюрой, воскликнул, что он согласен. Да, именно так и сказал: "Согласен!" А Голда, уже успокоившись, криво усмехнулась и мотнула в его сторону головой: "Вы слышите, — он согласен, этот хохом!"

Другой раз нечто подобное произошло в кабинете Игаля Алона — тогдашнего министра культуры, который решил собрать у себя приехавших из России писателей и деятелей кино.

В это утро Веритас чуть свет поднял меня по телефону: "Виктор! Ты хочешь быть сегодня у министра культуры? По-моему он готов решить все наболевшие вопросы. Игаль Алон — это серьезный человек!"

К Алону шли целым шествием — Панич, Спильный, Йонас, Шлема Берелович. Не помню, кто был еще, но возглавлял

шествие другой московский писатель и сценарист. И произнес он перед Алоном на идише такую речь, по сравнению с которой (по словам тех, кто понимал идиш) меркла даже речь Цицерона против Катилины в сенате.

Прежде всего он воскликнул: "Зачем вы нас звали, если у вас нет работы? Зачем, зачем и еще раз зачем?!". Он тряс пальцем перед лицом министра на таком близком расстоянии, что, похоже, министр был более озабочен тем, как уберечь свой нос, нежели вдумываться в то, что выдавал ему на идише этот странный оле из Москвы, вообразивший себя Цицероном.

Чем далее он говорил, тем сильнее распалялся. В конце, когда речь зашла уже о его личных мытарствах, он тряс перед носом Алона двумя кулаками и повторял, что его, Алона, министерству никуда не уйти от ответственности перед историей за провал культурной эмиграции из СССР. И с трудом переведя дыхание, он тяжело опустился на стул.

В кабинете Алона стояла дикая духота, и, стирая со лба пот, министр не спеша заговорил на иврите. Переводил некий еще совсем молодой активист партии Боря Залманович, который представился заведующим русским отделом и который еще появится на сцене и, может быть, вызовет у нас не меньший интерес, чем сам министр культуры.

Алон сказал, что он и его товарищи по партии ждали эту алию из России десятки лет и что теперь страна переживает небывалый праздник, хотя еще и имеются отдельные трудности с абсорбцией работников культуры.

— Азохон вей, отдельные! — воскликнул на идише Цицерон.

Залманович поднялся со стула, по-видимому, чтобы успокоить страсти, а министр, сохраняя спокойствие, сказал, что он лично готов отдать все, что у него есть, для того чтобы помочь собравшимся. И в подтверждение прижал руку к сердцу. Но его возможности ограничены, и это должны понять товарищи, собравшиеся на этот душевный творческий разговор.

— Да нам жить надо, картины ставить! — снова кто-то перебил Алона.

Залманович, склонившись над его ухом, перевел. А министр, улыбнувшись отцовской улыбкой, сказал:

— Будем жить и будем ставить картины.

— А как все-таки насчет денег, адон министр?

Презренный металл явно поверг Алона в уныние, и он попросил перевести, что вопрос о деньгах зависит от министра финансов Пинхаса Сапира, но он обещает рассказать Сапиру об этом интересном совещании. Министр финансов такой же друг алии, как и он, сказал Алон и что-то шепнул мгновенно пригнувшемуся к нему Залмановичу. Тот с солнечной улыбкой сообшил, что время министра истекло, и он просит всех присутствующих извинить его. Игаль Алон поднялся и вышел.

Залманович, собрав со стола бумаги, направился вслед за ним и приветственно махнул всем нам рукой. Этот жест вызвал у Цицерона (который все еще не мог успокоиться) новый взрыв негодования, и он негромко покрыл обоих сразу — и Алона и Залмановича — четырехэтажных матом. Чем в свою очередь заставил Залмановича задержаться у двери:

— Друзья! Попрошу не выражаться, это же все-таки не мы с вами, а министр.

— Знаешь что, Залманович! Поцелуй-ка ты меня...

— Почему это я вас? Поцелуйте вы меня.

В лице Залмановича не дрогнул ни один мускул.

— Ну и пошел на хер!

— Почему это я, идите вы, — спокойно завершил Залманович и скрылся за дверью.

На следующий день в газете Рабочей партии "Давар" появилась следующая заметка: "Министр культуры Игаль Алон принял в своем тель-авивском офисе — в здании "Колбо Шолом" — группу новых олим — деятелей кино из СССР. Встреча прошла в исключительно дружеской, сердечной атмосфере. Новые олим поделились с министром своими творческими планами, а министр рассказал, какие меры намечаются для того, чтобы абсорбировать деятелей культуры из СССР. В заключение он пожелал присутствующим больших творческих успехов".

Из тех, кто был на совещании у Алона, самую головокружительную карьеру сделал его переводчик и активист Рабо-

чей партии Боря Залманович. Хотя для этого ему пришлось несколько раз изменить свою партийную ориентацию.

После того как Рабочая партия "Авода" проиграла на выборах, Боря переметнулся к Бегину — на ту же должность зава русским отделом. Затем стал эмиссаром по русским делам у Флатто Шарона и, по слухам, даже ездил в Советский Союз спасать группу московских отказников. После этого его следы на несколько лет исчезли и про Борю начали говорить такое, что лучше не повторять вслух. Но все это оказалось чушью, и совсем недавно он вынырнул снова — и где бы вы думали? — в Сохо, у Барского! Как выяснилось, русскими делами он больше не занимается, а занимается развивающимися народами Азии и Африки. И в настоящее время является официальным представителем южно-африканской республики Бонвада в Израиле (или наоборот, представителем Израиля в республике Бонвада). Вот так, дорогой читатель! А вы говорите — культурная абсорбция. Я вас поцелую — вы меня поцелуете! "Юноше, обдумывающему житье, решающему делать жизнь с кого", — вот что бы я на вашем месте вспомнил, познакомившись с карьерой Бори Залмановича.

Всем нам, собравшимся в тот вечер у Барского, он раздал свои визитные карточки и сказал, что республике Бонвада срочно требуются четыре министра. Двое из них могут быть евреями.

ЧТО НУЖНО БЕДНОМУ ЕВРЕЮ?

На другой день после совещания у Алона позвонил Веритас (он мне теперь звонил каждый день), но на этот раз был страшно возбужден — и сказал, что меня хотят видеть в очень серьезной ивритской газете.

— В какой? — поинтересовался я.

— Не все ли равно в какой, — уклонился от ответа Веритас. — Если я говорю — серьезная сионистская газета — ты можешь мне поверить.

Он сказал, что в Бейт-Соколов меня ждет Пончик и что он меня и отведет.

Пончик был маленький, круглый, с огромным животом. Лет двадцать назад он каким-то фантастическим образом перемахнул из Киева через Польшу в Израиль, служил на "Голосе Израиля" и весь день проводил в Доме журналиста. Именно здесь мы и встретились. Пончик дружелюбно сунул мне свою круглую, пухлую лапу, и мы поехали на автобусе в газету, где меня срочно хотели видеть.

— Послушай, Пончик, — спросил я его пока мы ехали, — ты не знаешь, что это за газета?

— Ай, оставь! Какая тебе разница! Что нужно бедному еврею? Кусочек хлеба и вагончик масла. За вагончик не ручаюсь, а на хлеб намажешь.

Мы приехали на улицу Бен-Авигдор, поднялись на второй этаж и оказались в редакции газеты Объединенной рабочей партии МАПАМ — "Аль Гамишмар", что означало — "На боевом посту". Название газеты было написано большими красными буквами.

Пончик ввел меня в небольшой зал заседаний, где я был встречен дружными аплодисментами. Каждый по очереди пожал мне руку. Потом из-за стола поднялся редактор и сказал, что товарищи хотели бы попросить меня сделать сообщение о положении советских евреев.

Когда я кончил говорить, ко мне подошел мой старый знакомый Моше Ландау, который чуть свет приезжал в Ашкелон взять у меня интервью.

— Ах как я рад, что вы, товарищ Перельман, будете среди нас!

А через несколько минут меня пригласил редактор и, как мне показалось, несколько взволнованным голосом сообщил, что в партии есть мнение абсорбировать меня как израильского журналиста.

В Бродецком первым же, конечно, узнал обо всем Марат Шатров. Он тихонько постучал к нам в дверь и, оглядев меня с ног до головы, нарочито трагическим голосом спросил:

— Скажи мне, Витя, это правда? — И как всегда, не дождавшись ответа, воскликнул: — Да ты, бле, охерел, ей-ей,

охерел. Это же красная шобла! У них же портрет Сталина висел! Давай иди уж сразу к товарищу Вильнеру!

Я не стал отвечать и вышел в коридор. По коридору шла доктор-Клингер и, увидев меня, тотчас остановилась.

— Господин Пэрэльман! Что случилось? На вас же лица нет. Что произошло?

Я сказал, что меня приглашают в "Аль Гамишмар", и я просто не знаю, что делать.

— Что делать? Это вы меня спрашиваете, господин Пэрэльман? Идти работать. Вот что делать!

Я позвонил Веритасу. Он, как и утром, был взволнован, и сообщил, что ему только что звонил Шлема Розе. Шлема сказал, что у них в министерстве есть мнение абсорбировать меня как израильского журналиста.

— Будешь писать на иврите. Полноценный израильский журналист. О-хо-хо! Ты слышал об Эфраиме Кишоне?

— Послушай, Рува! У них Сталин висел.

— Виктор, оставь ты эти бегинские штучки! Какой Сталин?! Кто тебе сказал эти глупости? Это настоящая сионистская газета.

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИЛ

В июне 1974-го, после полуторагодового сидения в Бейт-Бродецком, мы наконец переехали в постоянную квартиру, в один из северных районов Тель-Авива. Квартира наша была в четырехэтажном доме. По одну сторону от нас проходило шоссе Тель-Авив— Герцлия, а по другую располагался один из самых живописных районов города Хадар Йосеф. Живописен он был не своей природой и архитектурой, которые собой вообще ничего не представляли, а своими жителями. Это был район маленьких и бесконечно разнообразных бизнесов.

Здесь каждый абсолютно все знал о каждом, и никого ничем нельзя было удивить. Ну тем, например, что Шлема, у которого покупали фрукты-овощи, почти никогда не стоял у прилавка, а чаще всего, развалившись, лежал у входа, прямо на земле или на ступеньках, почесывая голое пузо и показы-

вая своим видом, что весь его бизнес не стоит того, чтобы проявлять малейшее беспокойство.

Самым деятельным среди всех был одноногий Попрыгун, или Попрыгунчик, — он вообще не закрывал своей лавки, торговал до поздней ночи, прыгая вдоль прилавка на одной ноге.

Почему-то больше всего сюда ходили автобусные шофера, чесали языки, играли до позднего часа в лото. Что они при этом пили и чем закусывали — для меня всегда оставалось загадкой. Но что-то Попрыгун им подносил, и что-то они ему платили, и как-то это "Арагви" существовало, где по вечерам так ужасно горланили, но никогда не видели полиции.

В наших домах, расположенных по улице Минц, все было по-другому. Мы были знаком цивилизации.

Кто же обитал в Хадар Йосефе? Скажите лучше — кого здесь не было!

Моя мама родилась в Витебске, задолго до Октябрьской революции. Шлема приехал из Марокко и, наверное, вообще не слышал о Великом Октябре. Попрыгун родился в Польше, а его жена, которая могла часами сидеть и наблюдать, как он скачет на одной ноге, кажется, еврейка из Киева.

Наша семья из Москвы, а соседи под нами — Дымшицы — из Вильнюса. А под ними — Котловичи — из Румынии.

Я бы мог продолжить этот перечень, но и так видно, какие разные люди собрались в Хадар Йосефе. Не люди, а мечта. Мечта покойного Бен-Гуриона превратить Израиль в гигантский котел и переплавить в нем все десять миллионов галутских евреев.

Ко времени нашего переезда страна пережила войну Судного дня. За день до войны я сделал предсказание, после которого я уже никогда в жизни не возьмусь делать прогнозы.

Мы сидели на лавочке у входа в Бродецкий — я, Барский и Лева Гринберг — и болтали о всякой всячине. Был чудный вечер, и вдруг — я сам не знаю как — у меня вырвалось сногсшибательное открытие:

— Вот говорят все: "Израиль, Израиль!" А Израиль самое тихое место на земле!

Стоял октябрь. Пели птицы. Цвели дивные розы. На дру-

гой день, в два часа дня, началась самая жестокая из всех израильских войн.

Не успела прозвучать первая тревога, как сложили монатки новые олим из Америки, приехавшие из чисто сионистских побуждений.

Олим из СССР с их вновь обретенной родины уезжать было некуда.

Однажды вечером к нам в дверь постучал Шатров. У него в руках был ворох тряпок. Он был явно навеселе.

— Итак, господа офицеры, графа Монте-Кристо из меня не вышло. Сегодня утром перешел в управдомы.

Марат говорил, что он не негр и не раб, чтобы вкалывать на этого эксплуататора Амарильо. Марат ему все прощал — и что он не знал русского языка, даже не мог выговорить слова "оле" — говорил "олэ", — что выдавал себя за друга алии, что был редкостный жучок (хоть бы раз башли вовремя заплатил!), — все мог простить Шатров Амарильо, но только не то, что последний оказался тайным членом партии "Авода".

Марат тут же на линотипе написал открытое письмо редактору газеты "Трибуна" — "С кем вы, господин Амарильо?" и передал его редактору. Тот прочел и сказал, что печатать письмо самому себе не собирается, чем окончательно вывел Шатрова из себя.

— Что-то я тебя, Амарильо, не пойму. Ты что же — против свободы слова? Ну тогда давай, линяй в свой Советский Союз!

При упоминании о Советском Союзе Амарильо сделался белым как бумага, ибо со дня рождения считал себя воинствующим антисоветчиком. Он сказал, что сей же час вызовет полицию и привлечет Шатрова за оскорбление личности. Вот тогда-то Шатров не выдержал и в присутствии двух печатников Моти и Пини и корректорши Марго заявил редактору:

— А пошел бы ты Амарильо на...

Я думаю, вам, читатель, понятно, куда именно Марат послал Амарильо? (Я просто не в силах больше повторять непечатные выражения своих героев.)

— А что было потом? — спросил я.

— А ничего, — ответил Марат.

— А полиция была? — спросил я.

— А тебе на что знать? — ответил Марат.

Я понял,что трудовые отношения между главным редактором газеты "Трибуна" Даниэлем Амарильо и его политическим обозревателем Маратом Шатровым навсегда прервались.

— Линять, господа офицеры, надо линять! — расхаживал Марат по нашей комнате. — Ну что слышно в нашей родной "Аль Гамишмар"? Сталина сняли? — повернулся он ко мне. — У, бле, кругом социалисты!

Месяц или два он не показывался вовсе, а потом явился торжественный, надушенный, при галстуке и при платочке, торчавшем из кармана все того же "валютного костюма", и заявил, что отбывает в Рим в распоряжение Хиаса.

— Карету мне, карету! Пойду искать по свету. А ты все в своей красной шобле служишь? Кибуцы — светлое будущее человечества. Если надоест — черкни: Нью-Йорк, Манхаттен, Марату Шатрову — пароходу и человеку. Понял? Вы у меня, бле, еще узнаете Марата Шатрова.

Вслед за Шатровым исчез и солист краснознаменного ансамбля песни и пляски Сапожников. Слухи о нем ходили самые противоречивые. По одним сведениям, он устроился в кибуц и там, перебрав на вечере Первомая, отдал концы. По другим — он дал дуба прямо на Дизенгоф. Зашел в кафе, рванул пузырек "Столичной" и там же за столом преставился. Проверить, что было правдой, не представлялось возможным, поскольку пианистка Лазебникова еще до его исчезновения слиняла в Штаты. То есть как слиняла? Совсем и не линяла. Просто поехала на гастроли — и не вернулась.

Изя Йонас, добрая душа, получил со своей семьей квартиру в Хулоне, в Кирьят Шарете. От Шлемы Розе, ставшего уже министром абсорбции, он больше ничего не требовал и за культурный застой ответственности не возлагал: их отделяло слишком большое расстояние — где Иерусалим, а где Кирьят Шарет!

Вскоре куда-то испарилась доктор-Клингер (то ли в Америку по делам советских евреев, то ли в Европу по тому же

вопросу) и теперь все философские проблемы алии со мной обсуждал Рувен Веритас.

Стоило мне появиться в кафе Дома журналистов, как он тотчас подзывал меня к столу. Колесо прекрасных былых бесед теперь вращалось назад. Он больше не говорил, кто из знаменитостей прибыл. Знаменитости исчезали. Исчезала и торжественность, с которой еще недавно говорил о них Веритас.

— Послушай, Виктор, что этот шмок, тоже уехал?

— Какой, Рува?

— Ну что ты не знаешь, этот артист погорелого театра из Ленинграда.

— О Рува, он же известный киноактер!

—Известный киноактер! Сколько я с ним возился. Они же с женой плешь проели Шлеме Розе. Ты знаешь, сколько он для них сделал? А этот, ну как его, сценарист — он такой же сценарист, как я скрипач.

— О ком ты, Рува?

— Что ты не знаешь? Этот шмок, который матерился у Игаля Алона? Ах, как он кричал у Алона. Дайте ему деньги и он перевернет мир! Ты знаешь, где он теперь?

— Мне говорили, что в Иерусалиме...

— Тебе говорили. Кто это, интересно, тебе говорил? Неделю назад его видели в Бруклине! Так его спрашивают: "Послушай, что ты здесь делаешь?" Ты знаешь, что он отвечает? — "Живу!" Он живет в Бруклине. Асессор! Без него там евреев не хватает. Но это еще ничего. "Почему ты не хочешь возвратиться в Израиль?" — Так он ответил: "Пусть туда едет моя тетя Песя, а мне и здесь неплохо".

Кажется, я опять нарушил плавность рассказа. Начал с Бен-Гуриона, а чем кончил? Впрочем, все они оттуда же — и знаменитый киноактер, и известный сценарист, и пианистка Лазебникова (хотя каждый из них в глазах Рувы теперь только шмок), все они все из того же плавильного котла Бен-Гуриона. Так и вернулись непереплавленными в галут — туда же, куда уехал теперь и я.

Ох уж эта вечная еврейская дилемма — плавиться на своей родине среди таких же, как ты, или мерзнуть в одиночку

на чужбине. И, например, сидеть и стучать на машинке, как стучу теперь я, вспоминая пережитое, и слышать чужую речь и звон чужих колоколов, плывущий над Леонией.

Я схватился с местным полицейским, он сказал, чтобы я шел к своему ребе. Тупая, знакомая физиономия. Он уверен, что мой ребе в Израиле, и никогда не узнает, что мой ребе — во мне самом.

Я стучу на машинке и брежу наяву. Я прокручиваю пленку и живу новой жизнью — другая осталась там, в Тель-Авиве, с палящим солнцем, с глупыми чиновниками-пакидами, с Рувкой Веритасом и его шмоками — с такими же, как я, евреями. Но я не жалею, что прожил эту жизнь. Как не жалею, что родился в России. Ибо в отличие от моего соседа Винограда (который купил себе третью машину) я живу уже третью жизнь. И если бы начинал сначала, то молил бы Бога не менять мне линии жизни. Пусть будет все так, как было: от дикой, дурной России к плавильному котлу Израиля и к тихому звону колоколов в Леонии. Впрочем, что мне эти колокола? Я тихо стучу по клавишам и думаю о том, что вот уже скоро конец спектакля — колокола, жар-птица, свобода, родина — слова, слова — а в мире, между прочим, есть только две ценности: тексты и человек. Человек и тексты. Третьего не дано.

Итак, я возвращаюсь в дом, где я жил с 74-го по 80-й год. Адрес знаете? Улица Беньямин Минц, 10, Хадар Йосеф. Плавильный котел на четыре этажа, на самом верху которого разместилась моя семья, а внизу подо мной мои плавящиеся братья-евреи, восемь братских семей, к рассказу о которых я и перехожу.

И начинаю с главного еврея нашего дома — рыжего, тучного, вечно всклокоченного, с маленькой ермолкой на огромной голове — с нашего еврейского Карабаса-Барабаса Залмана Дымшица.

Я и по сей день не знаю, как именуется учреждение, где служил Залман. Но если послушать его самого, то любая должность в Израиле, даже самого президента государства, меркнет перед тем, чем с утра до ночи занимался Залман. Президент мог захворать, отбыть в отпуск. Президента могли

переизбрать — Залман Дымшиц в своей уникальной роли был единственным и незаменимым.

Чтобы не томить читателя, скажу, что на Залмана Дымшица действительно возложена функция, не знающая равных по важности, — проверять кошерность всего поступающего в Тель-Авив мяса. Если послушать Залмана, то весь этот гойский мир только и вынашивал коварные планы забросить в Тель-Авив несколько тонн свинины и свести на нет дело его жизни.

Но все это было ничто по сравнению с тем, что он делал в Вильнюсе, где у Залмана было авторитета больше, чем у секретаря обкома Виляускаса.

В Вильнюсе он не только следил за кошером в синагоге, но и был самым опытным в городе моэлем-обрезальщиком. Кроме того, он был самым авторитетным шотхеном и самым прекрасным кантором в городе Вильнюсе.

По словам его жены Сары, к которой я вернусь несколькими строками ниже, Залман не знал покоя ни ночью, ни днем. То — режь, то пой, то на дуде играй.

— Ах как все его уважали! — с трепетным восхищением рассказывала моей маме Сара. — И вы думаете, не знали про его проделки? Все знали! А что могли сделать? В Красную армию забрать? Законы мы соблюдали. На выборы ходили.

И далее начинался рассказ Сары о самой себе, рядом с которым история Залмана просто ничего не стоила.

В отличие от Залмана, она была не только неверующей, но и беспартийной большевичкой, к тому же членом домкома и товарищеского суда.

— Вы думаете это я, как сейчас, старая и слепая стала, — говорила она маме. — Поди-ка ты, слепая! Я ж комсомолка двадцатых годов. Я этому хулиганью такого дрозда давала, что они у меня на цыпочках ходили. "Тетя Сара, вы уж извините моего сыночка, на лестнице малость наделал". — Я те извиню. Ты правила соцобщежития читала? Что ж теперь каждый так и может серить в местах общественного пользования! Нет, голубушка, ты поди подотри, лестницу вымой и, пожалуйста, на комиссию.

Про свое активистское прошлое Сара могла рассказывать часами. Единственным и самым терпеливым ее слушателем была моя мама.

— У меня так, — продолжала Сара, — не хочешь соблюдать, пожалуйста, на товарищеский суд. А то как же — что мы при капитализме живем: каждый друг друга в суп норовит...

— Правильно, Сара, совершенно правильно! — подхватывала мама. — Я помню был у нас ответственный съемщик Федот Германович Чуверев. Мы с покойным Борис Борисовичем жили в самом центре, в Третьем Колобовском. Комната у нас была прекрасная — тридцать два метра, два окна. Ну так было восемь соседей — ну и что? Знаете, Сара, я очень не люблю эти разговоры: "Как вы могли жить с соседями?" Жили! Мне ничего плохого мои соседи не сделали. Ну так скажут иногда вслед "ваша нация". Агиц ин паровоз! Так я тоже в долгу не оставалась. Однажды Чувереву прямо сказала: "Знаете что, Федот Германович, в нашей стране все нации равны!" Между прочим, я вам скажу, что с евреями тоже не всегда легко жить. Помню, была у нас в квартире Ида Соломоновна с мужем — профессором Осокиным. Просто житья никому не давала. Между нами, она была племянницей Ягоды. Сейчас об этом уже можно говорить. И еще Колгушкина, но это была просто сумасшедшая, хулиганка. Но Федота Германовича они как огня боялись. Он был инвалид Отечественной войны с деревянной рукой. Так он завел такой порядок: после каждого заходить в места общего пользования и проверять. Один раз помню, Идочка не убрала, так Федот Германович спокойненько к ней постучал и говорит: "Мадам Розин, что это после вас там осталось?" Он ее почему-то всегда называл не Осокиной, а по девичьей фамилии — мадам Розин. Так она попробовала возразить, как он смеет в таком тоне говорить с женой профессора Осокина. Знаете, Сара, что он ей ответил? "В нашем государстве, мадам Розин, все равны, прошу взять тряпку и вытереть, иначе я буду вынужден пригласить управдома".

Свои разговоры Сара и мама вели чаще всего у Сары на кухне. Седая как лунь Сара говорила, как на партсобрании,

почему-то всегда стоя, подбоченившись и уставившись в одну точку. (Может быть, оттого, что она была почти слепа.)

У мамы всегда болели ноги. Поэтому она сидела за столом и, идя вниз к Саре, прихватывала чашечку простокваши и, философствуя с Сарой, не спеша ее уминала маленькой ложечкой.

Рано или поздно разговор переходил к детям, к Сариным детям, к старшему Гришке и младшему Борьке — виолончелистам Израильского камерного оркестра под управлением Гарри Бертини. Они вечно где-то гастролировали: то по кибуцам, то по заграницам. С Сарой оставалась Гришкина жена Ева и их сын Мотке. Но где бы они ни были, Сара в любом разговоре возвращалась к ним: как они родились во время войны и как она стала водить их в музыкальную школу и как дала себе слово...

— И знаете, Полина, какое я себе дала слово? — В лице Сары просыпалось что-то юное, что-то от той вильнюсской активистки. Она подвигалась к столу, за которым мама мирно ела простоквашу и, глядя на нее в упор, повторяла: — Знаете, что я себе сказал? А вот угадайте!

— Ну что вы могли себе сказать Сара? Я же знаю, что вы очень хорошая мать.

— Нет, Полина, все это общие слова. Вы угадайте точно, что я себе сказала, — улыбалась Сара, не спуская с матери почти слепых глаз.

— Ну так уж точно я не знаю...

— То-то что вы не знаете! Никто на всем свете не знает. Вы думаете, мой старый дурак знает? Что он вообще знает?! А сказала я вот что: Гришка и Борька будут великие музыканты...

Но зачем нам все это? — восклицает читатель. А затем только, что все это жизнь. Если хотите — тот же театр абсурда. Голда Меир со слезами радости встречает героя алии Гришу Майзлина. Мои коллеги открыли два новых издания "Петух" и "Стрелец". Я со своей правой рукой и замом выпускаю журнал "Время и мы". А старенькая мама и Сара говорят у Сары на кухне о том, что интересно им. Я понимаю, вас разд-

ражают их темы. Считайте, что вы ничего не слышали и что они беседуют о сокращении межконтинентального ядерного оружия — СОЛТ-2.

Каждое утро в черном облачении торжественно выходил из нашего дома рав Шустер, он же дядя Саня, новый оле из Франции, куда он еще двадцать пять лет назад перебрался из Сибири через Польшу. Дядя Саня служил в двух синагогах — в одной на полную ставку, в другой — по совместительству. Это был самый ученый еврей в нашем доме, о котором Сара, доводившаяся ему родственницей по линии Залмана, говорила, что он не простой раввин, а французский.

Наш сосед справа, инженер Рабинович, был настолько неслышен, что было бы справедливо сравнить его с мышкой. Он поднимался по лестнице почти на цыпочках, и о чем бы вы его ни спрашивали, в его интеллигентном лице вспыхивало выражение, способное быть расшифрованным одной-единственной фразой: "О, простите, но при чем же тут я?" Этих слов он никогда не произносил, и, возможно, они не пришли бы мне в голову, если бы однажды я не потерял ключ от входной двери. Мне не оставалось ничего другого, как перескочить расстояние в пол-метра с его балкона на мой.

Когда я рассказал Рабиновичу о постигшей меня неприятности, на лице его тотчас возникло знакомое мне выражение: "О Боже, но при чем же тут я!" А когда я сказал, что у меня остается единственный выход — перепрыгнуть с балкона на балкон, он испуганно воскликнул: "Ани ло ахраи!" — что в переводе на русский означает: "Я не ответственен".

Дальше произошло что-то невообразимое. Он бросился вслед за мной и стал умолять не рисковать жизнью.

— Нет, нет! — вскричал Рабинович. — Остановитесь!

Но было поздно. Я сделал решительный шаг в воздух, и ужасающий крик взорвал идиллическую тишину на улице Минц.

— Ани ло ахраи! Ани ло ахраи!

И даже когда я спокойно шествовал по своему балкону, с его, Рабиновича, стороны все еще доносился полный испуга шепот: "Ани ло ахраи!"

Наутро чуть свет нас разбудил звонок. У порога двери стояла сгоравшая от любопытства Сара.

— Послушайте! Что там у вас было? Грабители? Рабинович кричал как зарезанный.

— Ай Сара, оставь в покое людей, — взывал к ней с третьего этажа Залман. Уже седьмой час, ты же знаешь, что будет, если я опоздаю.

— Да отвяжись ты от меня! — не обращала на него внимания Сара. — Так что Рабинович? Жив или нет?

Она вошла к нам на кухню и, затеяв разговор, никак не могла его кончить.

— А я думаю, что это происходит? Было часов двенадцать или час, и вдруг страшный крик. Я говорю: Залман, вставай и звони в полицию. А Залман дрыхнет и дрыхнет — это какой-то ужас. Однажды во время войны мы тушили на крыше зажигалки. Так вы не поверите, что случилось.

— Сара, ты меня убиваешь! — кричит снизу Залман.

— Да отвяжись ты.

Но тут уже не выдерживаю я:

— Сара, Залман и в самом деле может опоздать.

— Ну, ладно, ладно, — кряхтя спускается она к себе. — Раз все живы — слава Богу. А вот он и сам — герой! — восклицает она с новой силой.

— Кто там еще? Кто? У меня же будет инфаркт, — стонет на третьем этаже Залман.

— Кто-кто? Рабинович, — добродушно смеется Сара. — Вы что же вчера, товарищ, кричали как зарезанный?

— Я? — испуганно прижал руки к груди Рабинович, только что вышедший из своей квартиры. — Я просто сказал, что я не ответственен, — тихо объяснил он и быстро засеменил вниз по ступенькам.

На втором этаже открылась дверь и показалась фигура его соотечественника по стране исхода, инженера Котловича, о котором я также обязан сказать несколько слов.

Хотите, читатель, узнать Израиль? — Терпите. Наше еврейское государство состоит не из одних героев и членов Кнессета.

Так вот, инженер Котлович так же, как и Сара, был общественником, но совершенно нового, западного типа.

Однажды Сара рассказывала, как в бытность свою агитатором будила людей голосовать. Она дубасила им в подъезд в 5 утра и кричала на всю лестницу: "Граждане, товарищи! Подъем! Все на избирательный участок! Раньше проголосуем — раньше отвяжутся!"

И так же подписывала на заем: "Граждане! Товарищи! Все как один подпишемся на нашу полную трудовую зарплату. Подпишемся, не подпишемся — все равно подпишут!" — И — епическая сила! — восклицала она. — Подписывались! Подписывались все как один!"

Инженер Котлович вместо заема собирал взносы на уборку лестниц и зеленые посадки вокруг нашего дома.

У него был свой, особый, как колокольчик, звонок и свой особый, нездешний стук в дверь. К тому же у него была и особая поза и даже особое выражение лица, когда он являлся выудить у вас деньги на общественные нужды. "О, извините. Ради Бога, извините, — прижимал он ладони к груди. — Вы кажется, прилегли отдохнуть. Боже, как неудобно!" или: "О, извините. Вы, кажется, только сели за стол. Боже! Как я всегда не вовремя!"

Да, он был всегда не вовремя, ибо, если и существовало нечто такое, за что вы никогда не рвались уплатить, — так это зеленые насаждения, которые почему-то всегда плохо росли, и за уборку лестницы, которая почему-то всегда оставалась грязной.

Так что пусть приходит завтра, а лучше — послезавтра. Но он так нежно, на цыпочках входил в квартиру и так старательно помогал вам отыскать в списке жильцов свою фамилию, рядом с которой торчала едва видимая галочка, что в какой-то момент вы начинали чувствовать необратимость событий.

Далее все происходило, как на сеансе гипноза. Еще на что-то надеясь, вы начинали себя хлопать по карману, и — увы! — медленно извлекали чековую книжку. Это была сцена мимов. Он улыбался и бесшумно ворковал что-то под нос и тыкал

пальцем в цифру, что стояла рядом с вашей фамилией. И вы понимали, что не будет никакого "ни завтра, ни послезавтра" и обреченно выписывали 145 лир 50 агорот. И так каждого первого числа каждого третьего месяца.

— Спасибо, большое спасибо, — пятился к двери Котлович. Лицо его выглядело озаренным. — Ради Бога, простите. Боже, как я не вовремя!

Нет, он, конечно, был гений. Ибо если хоть раз в жизни вам приходилось собирать у евреев деньги на зеленые насаждения, то вы поймете что за работу он взвалил на себя и с каким потрясающим изяществом ее выполнял.

Итак, в нашем вполне интеллигентном доме текла тихая, благополучная жизнь. Залман стоял на страже кошерности мяса. Дядя Саня служил по утрам службу в синагоге. Сара и мама вспоминали минувшее. Рабинович и Котлович уезжали к себе на фирмы, а я работал в своей социалистической газете "Аль Гамишмар".

Жила в этом доме и еще одна семья, которая принадлежала выходцу из Аргентины дону Марисио. По советским понятиям, дон Марисио был типичным тунеядцем, ибо никто и никогда не видел его работающим. Ходили слухи, будто имеет он текстильную фабрику, на которой вечно сбивалась с ног его молодая и высохшая от каторжного труда жена Ариэлла.

Сам же дон Марисио — дородный голубоглазый рыцарь — из дому почти никогда не выходил, а если и выходил, то лишь по вечерам. Садился в свой "Форд" и уезжал в неизвестном направлении, а возвращался далеко за полночь в машине, набитой неизвестным товаром, который тотчас перегружался в другую машину, обычно его сопровождавшую. И теперь уж эта другая скрывалась в неизвестном направлении.

— Вы как хотите, — сказала однажды Сара, — но, по-моему, дон Марисио занимается грязными делишками. Ох нет на него ОБХСС!

Во всем прочем к дону Марисио не было никаких претензий, и бунт, который сотряс наш дом, исходил совсем не от него. И, конечно же, не от Рабиновича с Котловичем. И вообще не от перечисленных мною жильцов дома.

Бунт, как все на свете бунты, начался в низах, на первом этаже, где который уже год проживали тихие религиозные выходцы из Персии.

В доме с этой многодетной экзотической семьей никто отношений не поддерживал, пока однажды в нашу дверь не позвонил Котлович и с тысячами извинений не сообщил, что персы не хотят платить за насаждения.

Нет, это еще не был бунт. Просто из квартиры № 1, где жили персы, стало попахивать гарью.

Бунт произошел позже, когда внизу построили стеклянную дверь и сделали новую систему сигнализации. Дверь просуществовала до первого шабата. В шабат кто-то из персов закричал, что сигнализация нарушает святость субботы, и мгновенно в стеклянную дверь полетел булыжник.

А еще через час по дому разнесся ужасающий женский крик. Я бросился вниз. Все жильцы нашего дома сгрудились у распахнутой двери квартиры № 1 и с ужасом наблюдали, как глава семейства в тюбетейке и трусах гонялся с ножом за своей истошно кричавшей супругой.

Последняя вела себя более чем странно. Она истерически кричала, что ее убивают и при этом на иврите причитала: "Ани мета! Ани мета!" (что в переводе на русский означало: "Я умираю") . Но стоило ей оторваться хоть на шаг от преследовавшего ее главы семейства, как она, задрав юбку, показывала ему зад.

— Товарищи, надо срочно вызвать полицию! — заявила Сара, не подозревая, что Котлович это уже сделал.

Но полиция, как всегда, задерживалась. Наконец подъехал джип, из которого вылез огромного роста полицейский, судя по всему, марокканский еврей, и не спеша направился к подъезду.

Подозрительно оглядев собравшихся, он спросил, в чем дело?

— А вот в чем, — язвительно усмехнулась Сара и кивнула ему на раскрытую дверь, где только что блеснул голый зад супруги перса и лезвие его ножа.

Увидев полицейского, она оправила юбку и горько навз-

рыд заплакала. Нож мгновенно исчез, и глава семьи, смахнув тюбетейкой со лба пот, стал быстро натягивать брюки.

Полицейский снял фуражку, почесал затылок и спросил:

— Кто вызывал полицию?

— Я, господин полицейский. Я, — быстро проговорил Котлович. — Тут, понимаете, такая история...

— А по какой причине вызывали полицию? — обратился теперь уже марокканец прямо к Котловичу.

— Нет, вы слышите! — воскликнула Сара, — он еще спрашивает, по какой причине. Да он ей голову хотел отрезать!

— Кто кому хотел отрезать голову? Фамилия? Адрес?

— Да вот этот бандит в тюбетейке, — кивнула Сара на перса, который уже вполне оправился и даже надел белую сорочку и галстук. Под взглядом полицейского он заулыбался, стал пожимать плечами.

— Че улыбаешься?! — закричала на него Сара. — А ты что молчишь? — набросилась она на его супругу, которая стояла переминаясь с ноги на ногу и улыбалась точно такой же улыбкой, как ее муж.

— Господин полицейский! — продолжал Котлович. — О Боже, я знаю, что в это даже трудно поверить, но за минуту до вашего прихода тут была поножовщина.

— Поножовщина!? — насупил брови полицейский. — А ну, где нож? Прошу добровольно сдать нож органам полиции!

Перс снова заулыбался и энергично захлопал себя по карманам брюк.

— Да он его, обормот, под подушку спрятал! — воскликнула вышедшая из себя Сара.

— Сара, замолчи! — гаркнул на нее Залман. — Не пойман — не вор.

Полицейский что-то передал по рации, висевшей у него на плече, и сказал, что полиция в семейные дела не вмешивается. И окинув всех нас взглядом, добавил:

— А к вам, граждане, просьба — жить дружно и не нарушать порядка. Посмотрю я на вас — все вы хорошие евреи, а тут — чуть что — сразу же в полицию. Будто у израильской полиции нет других дел.

Он поочередно пожал нам всем руку и крепче всех Котловичу. Все разошлись. Шабат уже давно кончился. Небо Хадар Йосефа было усыпано крупными, южными звездами.

И вдруг мне показалось, что весь этот только что разыгравшийся у персов скандал мне просто привидился. Настолько все тихо и блаженно было вокруг.

Ночью я проснулся от ужасного крика: "Ани мета! Ани мета!" Я даже не стал одеваться, а просто перевернулся на другой бок.

Утром, на планерке в газете, я рассказал все, что происходит в нашем доме по ночам. Все долго смеялись, потом главный редактор сказал, что все это для отдела юмора, а у МАПАМа есть и посерьезнее задачи: голосование в Кнессете показало, что не исключен раскол с Партией труда.

— А для вас, Виктор, у нас тоже есть тема. Приближается двадцать седьмая годовщина образования государства Израиль, может быть, сделаете статью о дружбе олим из разных стран. Ну, хоть возьмите дом, в котором вы живете.

— Но персы же, персы!

— Во-первых, это не персы, — на лице редактора не дрогнул ни один мускул, — а такие же евреи, как мы с вами. Во-вторых, они живут с вами в одном доме. В-третьих, хотите — продам заголовок: "Дом, в котором я живу"!

Впрочем, теперь все это дела давно минувших дней, ибо в доме, где я когда-то жил, почти никого не осталось. Три года назад умерла активистка Сара. Где-то в Америке исчез вместе со своим таинственным бизнесом дон Марисио. Молчали телефоны у Рабиновича и Котловича. Из бывших жильцов нашего дома остался лишь вдовец Залман. Но и с ним мне увидеться не удалось из-за эпидемии гриппа.

— Нет, нет! — услышал я в трубку. — Еще заразите! А у меня работа. Сами знаете, какая работа!

Часть вторая
ЗАЛП "АВРОРЫ"

ИНЖЕНЕР СЭМ ЖИТНИЦКИЙ

— Женюрка! Вставай! "Время и мы" **везут**!

Да, дорогой читатель, я смею утверждать, что фраза эта прозвучала в моей жизни, как залп "Авроры". С той, правда, разницей, что никакого залпа "Авроры" в истории вообще не существовало, а приведенная выше фраза, действительно, была воскликнута. Кем? Инженером Сэмом Житницким в один из первых дней ноября 1975 года. Произошло это на лестничной площадке третьего этажа, дома номер 46, по улице Ибн-Гвироль, в Тель-Авиве.

Есть у моей памяти некое странное свойство — выхватывать из торжественных, судьбоносных дней прошлого самое смешное и нелепое, а самое существенное, напротив, предавать забвению.

Так случилось и с первым номером журнала "Время и мы". Мы спорили до хрипоты о его содержании и оформлении, и еще до выхода журнала поредели ряды его основателей. Но убейте меня, чтобы я вспомнил, кто именно предло-

жил открыть журнал романом Кестлера "Тьма в полдень" и как дошли до мысли ехать в Иерусалим к раввину Штейнзальцу и брать у него интервью.

С этим первым номером я не вылезал из типографии Бени на улице Амазгер. Беня печатал, а я стоял рядом и руководил, когда поддать краски, когда убавить. Но сколько это продолжалось, опять же не помню, — все провалилось в бездонном колодце памяти.

А сохранилась — даже неловко вспоминать! — глупейшая сцена, разыгравшаяся между хозяевами квартиры, которые сдали нам комнату для редакции будущего журнала. Квартира принадлежала только что вернувшимся из свадебного путешествия по Галилее Семе и Жене Житницким, и сцена между ними произошла на лестничной площадке, у входа в редакцию.

Как и полагается молодоженам, они были амбициозны и вспыльчивы, и прежде всего это относилось к нему, шестидесятипятилетнему новому оле из Запорожья. Еще немного, читатель, и он станет одним из главных героев этой главы (к тому же, как мы узнаем, именно он возвестит миру о рождении журнала "Время и мы"). Поэтому я позволю себе сказать пару слов о его не лишенном колорита облике.

В отличие от хозяина моего офиса на Пятой авеню Матвея Абрамовича Гилдесмана, несшего на себе черты воротилы Уолл-Стрита, Сема был представителем другого мира, не знающего власти капитала. Он не перебирал, как Гилдесман, нежно ножками, а ходил тяжелой, в развалку походкой. Вместо солнечной гилдесмановской улыбки с Семиного лица никогда не сходило выражение перманентной озабоченности. И вообще он был человеком безо всяких там цирлих-манирлих. И, если, например, приходило время платить квартплату, он не слал мне никаких сердечных приветов, а запросто заходил и говорил: "Редактор, прошел месяц, гони деньгу!"

Но надо при этом сказать, что был он человеком добродушным и в высшей степени активным. И не пропускал ни

единого олимовского собрания, где, по обыкновению, крыли Сохнут и министерство абсорбции. На одном из них мы и познакомились. По дороге домой он рассказал, что был в прошлом изобретателем, что есть еще порох в пороховнице, хотя в последнее время он все больше отдает себя чтению и не начинает дня, пока не прочтет от корки до корки "Нашу страну".

Однажды, повстречавшись со мной на улице Ибн Гвироль, Сема сказал, что он женился на очень славной и интеллигентной женщине.

— Да, хочешь, сейчас познакомлю, — вдруг предложил он. — Ты просто не представляешь, что это за человек... И, не дождавшись моего согласия, он взял меня под руку. — Угадай, на кого моя Женюрка похожа?.. На спор — не угадаешь... На Марину Мнишек! Помнишь "Богдана Хмельницкого"?

Женюрку мы застали возлегавшей на диване с журналом "Клуб" в руках. На ней был розовый китайский пеньюар, и вся она, в отличие от меланхолично-озабоченного Семы, оказалась веселым, благоухающим, хоть и несколько раздобревшим созданием лет шестидесяти. Ничего общего с Мариной Мнишек я в ее облике не обнаружил. И, если и было в ней что-то замечательное, так это произношение, особенно, когда вместо "р" она с каким-то особым шармом произносила свое непередаваемо-прекрасное гортанное "х".

— Пихожок! Пихожок с чаем, господа, — весело захлопотала она вокруг стола, — пихожок с вахеньем!

По словам Семы, Женюрка в годы юности окончила Рижскую гимназию и сблизили их исключительно общие культурные интересы. И, когда Сема предложил сдать помещение журналу "Время и мы", Женюрка чуть ли не с обидой воскликнула:

— Что за вопхос, Семочка! Ты меня еще спхашиваешь!

Квартира была роскошной, а инкрустированный бронзой подъезд на улице Ибн Гвироль, 46 чем-то напоминал наш вход на Пятой авеню, но в отличие от воротил Уолл-Стрита здесь обитали средней руки тель-авивские евреи. И в их числе на третьем этаже вел прием престарелый врач-дантист из Риги

Бенцион Блуштейн. Когда Блуштейн ушел в лучший мир, вся его квартира площадью в 150 квадратных метров перешла его супруге Жене. А дальше, читатель, вам уже все известно. Женя вышла замуж за нового оле из Запорожья Сэма Житницкого, и по обоюдному согласию молодожены предложили к услугам журнала "Время и мы" свою роскошную квартиру. То есть, конечно, не всю квартиру, а лишь боковую и напоминающую пенал восьмиметровую комнату, в которой, по подсчетам Семы, — если не быть барами — вполне могли уместиться три сотрудника.

По договору с Житницким, никаких вывесок на входной двери редакция вешать не могла (дабы не нагрянули муниципальные инспекторы и не наложили на молодоженов налога). Поэтому красовались тут лишь две медные дощечки: первая покрупнее "Инженер Сэм Житницкий", вторая помельче и без всяких титулов "Женя Житницкая". Вторая — для порядка, а первая как свидетельство того, что на смену ушедшему в лучший мир дантисту Блуштейну пришел не какой-нибудь там шаромыжник, а человек достойный, инженер Сэм Житницкий.

К тому же и не просто инженер, а инженер действующий: дверь в дверь с редакцией находилась Семина лаборатория, где он ставил опыты по получению дешевых сортов бензина из биологических отходов. Вся стена напротив его рабочего стола, уставленного бутылями и колбами, была увешана почетными грамотами и патентами. Но более всего места занимала диаграмма, показывающая, сколько можно получить бензина, если подвергнуть биохимической обработке все городские отходы Тель-Авива.

Но судя по всему, получение из них бензина у Семы продвигалось довольно медленно, и потому сразу же после моего появления в редакции он обратил свою энергию на подготовку первого номера журнала. Каждое утро он заглядывал в редакцию и, окидывая ее недовольным взглядом, принимался меня донимать, когда же наконец привезут из типографии журнал.

— Дал бы ты, редактор, мне, я бы уж восемь номеров выпустил. Всех бы вас на "Запорожсталь"!

Так вот, в день, когда привезли журнал, и произошла эта дурацкая сцена на лестнице.

Началось с того, что Сема высмотрел в окне появление Бениного грузовичка, доверху груженого журналами. Я сидел в кабинке, рядом с Беней, и сам не видел, как разыгралась эта сцена на лестничной площадке. Но началось с того, что Сема, заметив наше приближение, выскочил прямо в своих синих, еще из Союза, трусах на лестницу и как угорелый вскричал: "Женюрка! Вставай! "Время и мы" везут!" Вот так и прогромыхал мой залп "Авроры".

Но Женюрку что-то определенно вывело из себя — то ли абсолютная алогичность Семиного поступка, то ли, что на лестницу он выскочил в неглиже — вы же помните, читатель, эти синие москвошвеевские трусы! — и она, превыше всего отстаивавшая в глазах соседей свое реноме интеллигентки, не выдержала:

— Сема! И ты позволяешь себе выходить в таком странном виде?!

Надо сказать, это прозаическое замечание вызвало у него лишь приступ раздражения.

— Ой, простите! — воскликнул он, — если я оскорбил ваше женское достоинство и вышел без штанов!

Она тоже не осталась в долгу, и, когда мы с Беней доставили наверх первые связки журналов, сцена была уже в разгаре. Зато, когда поднимали последние, между молодыми воцарился мир, о чем можно было судить по тому, с какой любовью Женюрка натягивала на мужа трикотажные тренировки. Он же декламировал на всю лестницу напечатанный на журнальной обложке девиз: "Среди неверия и суеты, в мире, где грубая сила и ложь становятся нормой отношений между людьми, мы исполнены одной лишь целью — помочь читателю лучше разобраться во времени и в себе!"

— Ну, что тебе сказать, редактор, неплохо подработано. Но журнал мог быть лучше, если бы меня слушались...

— Вы слышали, его не послушались, асессор! — засмеялась Женюрка.

— Да, как-никак разбираемся не хуже вас. Насчет еврейской тематики говорил? — Говорил! С антисоветчиной пере-

бор — тоже говорил. А с этим рабби Штейнзальцем? Да на что тебе этот раввин вообще сдался?!

Так выглядел первый критический обзор журнала "Время и мы". Молчала "Русская мысль", молчал "Континент", молчали "Грани". И лишь Сема Житницкий, выбежав в одних москвошвеевских трусах на лестничную площадку дома 46 по улице Ибн-Гвироль, возвестил миру о его появлении.

Но моя склонная ко всяким проказам память выхватила не только это, а и то, что творилось вокруг выхода первого номера. И опять же не реакцию израильской общественности, которую не помню вовсе, а нечто совсем противоположное и напоминающее встречу с дядей Солом. Только на этот раз на месте дяди Сола (который, как мы помним, дальше моральной поддержки журнала не пошел) находился бывший министр финансов и председатель Сохнута Пинхас Сапир.

Сапир был очень стар и, пока я в присутствии его помощника Журини расписывал, как алие нужен литературный журнал, он незаметно задремал, но стоило мне сказать, что журнал станет хорошим бизнесом, он сразу проснулся и весело подмигнул Журини.

— Ты же понимаешь, аидыше бизнес!

Да что там Сапир! Когда в самой алие не было единодушия — помогать или не помогать новому изданию, о чем свидетельствовал специально созванный по этому поводу президиум объединения новых олим.

Даже с этого заседания, на котором, кажется, выступило более двадцати ораторов, я вынес нечто такое, что в глазах другого автора вообще не заслужило бы внимания. А именно выступление моего старого знакомого и соседа по Бейт-Бродецкому Изи Йонаса, который возглавил к тому времени объединение новых олим. Изя произнес заключительное слово. Но, как увидит читатель, он мог бы его не произносить вовсе — результат был бы тот же.

Изя начал с того, что он от всего сердца приветствует создание в Израиле литературно-общественного журнала на русском языке. Все знают, какое значение он придает вопросам культуры и сколько раз беседовал на эту тему с министром абсорбции Шлемой Розе.

При упоминании Шлемы Розе три члена президиума, сидящих у двери, незаметно выскользнули из зала, а представитель грузинской алии Серго Имидашвили выразительно постучал по часам: "Товарищ Йонас, дорогой, ваши предложения!"

— Вот именно к этому я и хотел перейти, — сказал Изя и неожиданно мне улыбнулся. — Ты только, Витя, правильно меня пойми. Я за то, чтобы помочь твоему журналу, но вправе ли мы это сделать?

— Товарищ Йонас, ты меня извини, "да" или "нет", — снова перебил его Имидашвили.

— Вот именно, дорогие друзья, — "да" или "нет"? Я надеюсь, господин Перельман понимает, что мне хотелось бы сказать "да". Но здесь во мне что-то протестует, — Изя выразительно постучал себя по сердцу. — Не чувствую я, Витя, в твоем начинании общественной жилки.

— Подождите, подождите, товарищи! — вдруг вскочил со стула Серго Имидашвили, — теперь я уже ничего не понимаю! Что, у нашего дорогого господина Перельмана журнал будет частный?

Зал грохнул от хохота.

— Так вы,Йонас, все-таки "за" или "против"? — поднялся председательствующий.

— Я ни "за" и ни "против", — ответил Изя.

— Что значит вы ни "за" и ни "против"?

На настоящем этапе я воздерживаюсь, но повторяю, что журнал алие нужен.

— У меня вопрос к товарищу Перельману, — снова вскочил Имидашвили. — Скажи, дорогой, только честно скажи. Почему ты не хочешь, чтобы журнал был общественный?

Но председательствующий уже поставил вопрос на голосование: десять было за то, чтобы помочь журналу, десять — против. Назавтра кворум вообще не собрался, и резолюцию пустили по рукам.

Недели через три мне позвонил Йонас и сообщил, что большинством в один голос мне выделена ссуда в 20 тысяч лир и что он поздравляет меня и вообще все было бы хорошо,

если бы я... Ах, Витя! Витя! — с чувством воскликнул Изя и положил трубку.

Я не хочу задерживать вашего внимания на этих двадцати тысячах лир, которых хватило на полтора номера. К деньгам мы еще вернемся. Не специально — мимоходом, ибо зачем же я буду специально писать о деньгах? Чтобы добиться от вас моральной поддержки? Я и так знаю, что морально вы всегда со мной. Как и дядя Сол. И даже, как Пинхас Сапир, который в конце нашей беседы даже шепнул Журини:

— Ты знаешь, мне этот аид чем-то нравится!

Итак, с вашего разрешения, я отрываюсь от презренного металла и перехожу к черемухе, то есть к неповторимо-прекрасной эпохе, когда вышел в свет первый номер журнала "Время и мы".

Я часто слышу вопрос: что наша алия дала Израилю? У немецкой алии были такие-то заслуги, у румынской — такие-то, у польской — такие-то. А что вы, евреи из СССР, дали Израилю? Я уже говорил, что мы были алией реформаторов, опреснителей морской воды и будущих членов Кнессета. И теперь считаю нужным кое-что добавить. Впрочем, вы и сами догадываетесь, кем мы были еще — если вспомните, что в то неповторимо-прекрасное время в Израиле каждый месяц открывалось по новому журналу или газете. Но кто их создавал? Кто редактировал?

Так вот, мы были алией их создателей, алией главных редакторов, и такой алии, смею утверждать, еще никогда не было.

Чем же занимались главные редакторы в эту прекрасную пору? Они завоевывали читателя и вкладывали в это благородное дело весь жар своих сердец.

Я уверен, что о благородном труде многих из них вы и по сей день не имеете представления. Ну слышали вы там о всяких "Клубах", "Неделях", "Рассветах", "Возрождениях", "Менорах" — так о них все слышали! А что вы знаете, например, о первом в мире порнографическом ревю для новых олим из Советского Союза под редакцией Сегалова-Фрумкина? Вы улыбаетесь. Вы просто не имеете представления, ка-

кой титанический труд взвалили на свои плечи главный редактор ревю (и бывший инженер по технике безопасности завода "Электросила") Михаил Львович Сегалов-Фрумкин и его машинистка — новая оля из Харькова Сара Лазаревна.

Редакция находилась в городе Бат-Ям, в олимовской квартире у Михаила Львовича. Здесь с помощью клея и ножниц он творчески обрабатывал лучшие порнографические издания мира и, кажется, здесь же приступил к публикации широко известного литературного шедевра на эту тему: "Спи спокойно, дорогой товарищ!"

Он был подлинный энтузиаст своего дела. Чего никак нельзя было сказать о его машинистке Саре Лазаревне. Она была старой девой и просто сходила с ума от непристойностей Сегалова-Фрумкина, к которому пошла исключительно потому, что в свои шестьдесят пять лет нигде не могла устроиться. Лишь один раз главный редактор вывел Сару Лазаревну из состояния равновесия, и этот единственный раз стал для его детища роковым.

Случилось это после того, как журнал "Клуб" напечатал о Сегалове-Фрумкине фельетон, обвинив Михаила Львовича не более — не менее, как в сексуальной инфантильности. Последнего это так потрясло, что он с этим самым "Клубом" в руках влетел к себе в квартиру и, бросив его на стол машинистке, воскликнул:

— Сара Лазаревна! О нас написали фельетон!

— О нас?!

Лицо Сары Лазаревны стало белым как бумага, затем из-за неожиданного прилива — бордово-красным, и на другое утро, свалившись с приступом гипертонии, она не вышла на работу. На смену ей Сегалову-Фрумкину так и не удалось никого найти, и первое в мире порнографическое ревю для олим из СССР прекратило существование.

"ОПЛОТ ИЗРАИЛЯ"

Я бы мог написать и о других главных редакторах и привести даже их перечень, но меня не интересует масса. Меня занимают гении, а гении в моем представлении — это не

обязательно Микеланджело и Эйнштейны. Я, например, считаю, что только случай (а именно то, что Сара Лазаревна оказалась старой девой) помешал выйти в гении главному редактору ревю Сегалову-Фрумкину.

И коль скоро мы заговорили о свершениях нашей алии, я хочу обратиться к детищу другого гения, рядом с которым просто меркнет творение Сегалова-Фрумкина, ибо речь идет не о заштатном порнографическом листке, а о первой ежедневной сионистской газете "Оплот Израиля" (или просто "Оплот", как мы для простоты будем иногда ее называть). Это было почти то, о чем я мечтал и что морально обещал поддержать дядя Сол, но что воплотил в жизнь не я, нет, не я, дорогой читатель, а мой коллега по алие главных редакторов Наум Маркович Горфинкель, или просто Нема Горфинкель, как его звали коллеги по Вильнюсской юридической консультации, где он служил до приезда на свою историческую родину.

Позже многие из Неминых конкурентов и недругов называли его авантюристом. Но в моих глазах он был гением, ибо только гений мог вырвать у заведующего отделом профессиональной абсорбции Моше Шварцмана 17 стипендий для интеграции журналистов из СССР.

Впрочем, у него был и облик гения. В то время как из-за царящего в стране зноя даже члены Кнессета позволяли себе ходить в рубахах нараспашку, Нема нигде и никогда не появлялся без галстука и ослепительно белого воротничка — он был денди до конца ногтей. И, когда однажды он появился рядом с Шлемой Розе в Бейт-Бродецком, то все решили, что он и есть министр абсорбции, а Шлема — его шофер.

К сотрудникам министерства абсорбции у Немы был свой и исключительно оригинальный подход: когда он что-то просил, он никогда не требовал и не повышал — не дай бог — голоса. Он просто извинялся и задавал вопросы. Ну еще иногда прибегал к уменьшительно-ласкательным суффиксам.

Говорят, что именно с этого он начал беседу с Моше Шварцманом из отдела профессиональной абсорбции.

— Я очень извиняюсь, адон Шварцман, если оторву у вас

минутку-другую. Но дело в том, что редколлегия газеты "Оплот Израиля" просит вас выделить семнадцать стипендий для абсорбции журналистов из СССР.

— Ну? — ответил Шварцман. — Это было его обычной реакцией на все просьбы и ходатайства, поступающие от новых олим из СССР.

— Я очень извиняюсь, но прошу учесть, что мы не какой-нибудь там "Клуб-шмуб", а "Оплот Израиля".

— Ну! — смотрел на него сонными глазами Шварцман.

— Так ,как насчет стипешек? — очаровательно улыбался Нема.

— Этот вопрос, — наконец выдавил из себя Шварцман, — должна решить комиссия.

— Я очень извиняюсь, адон Шварцман, но решить "да" или решить "нет"?

На что Шварцман, теряя самообладание, ответил, что "да" или "нет" — этого как раз он не знает.

— Адон Шварцман, — превратившись уже в сплошное обаяние, — сказал Нема, — но, может быть, вы подскажете человека, который — да, это знает!

Кончилось тем, что Шварцман отфутболил Горфинкеля к своему начальству Арончику Парану, к которому Нема зашел с тысячью извинений и попросил ускорить решение вопроса насчет стипендий.

Будучи человеком другого склада, Арончик сходу набросился на Горфинкеля:

— Что вы не знаете, что в стране нету денег!?

— Тысяча извинений, адон Паран, но ведь мы не какой-то там "Клуб-шмуб" — мы — "Оплот Израиля" — первая сионистская газета на русском языке.

— Но если нет денег, то, что вы от мене хочете? — воскликнул Арончик на своем , прямо скажем, не первоклассном русском.

— Я? — прижал руку к груди Нема. — Абсолютно ничего! Просто, может быть, вы подскажете место, где, да, имеются денежки.

— Хорошо. Я подумаю, — выдавил наконец Арончик.

— Подумаете "да" или подумаете "нет"? — спросил Нема и поинтересовался, не будет ли адон Паран против, если завтра утром он ему выдаст звоночек.

Кончилось тем, что Шварцман сам пригласил Нему и, когда тот, благоухающий и в ослепительно-белоснежном воротничке, появился, по привычке промычал:

— Ну?

— Я очень извиняюсь, но что "ну"? — очаровательно улыбнулся Горфинкель.

— Ну, сколько вы хотите, Горфинкель, стипендий? Шестнадцать?

— Я очень извиняюсь, адон Шварцман, но на одну стипешку ошиблись, не шестнадцать, а семнадцать!

Вы скажете, читатель, что я отклоняюсь от темы. Ошибаетесь. Слушайте и внемлите, какими качествами должен обладать подлинный главный редактор.

Впрочем, талант Горфинкеля проявился позже, когда он приступил к подбору кадров и выработке штатного расписания. С этого времени его уже никто не звал Немой, а исключительно — Наум Маркович. "Наум Маркович отметил" или "Наум Маркович подчеркнул" или "По меткому замечанию Наума Марковича".

И вообще с некоторых пор "Оплот Израиля" начал напоминать газету "Правда", хотя в отличие от центрального органа ЦК КПСС, занимавшего девятиэтажное здание, независимая газета "Оплот" занимала лишь две комнаты. Но разве дело в количестве комнат. Дело в духе газеты. Дело в размахе ее редактора. И именно это, а ничто другое сближало "Оплот" и "Правду".

И хотя "Оплот" выходил всего на четырех страницах в формате, лишь немногим превышающем нашу многотиражку "За отличный рейс", здесь, как и в "Правде", были свои спецкоры, комментаторы и обозреватели. И чему бы ни посвящался материал, как и в "Правде", он начинался со слов: "От спецкора газеты "Оплот" или "Политический комментатор "Оплота" пишет", или "Собкор "Оплота" по Хайфе сообщает". И так же, как в центральном органе КПСС, на двери у

Немы висела огромная доска: "Главный редактор газеты "Оплот Израиля" Наум Маркович Горфинкель". И далее шли дни и часы приема посетителей.

Поскольку редакция состояла всего из двух комнат — кабинета редактора и его приемной, — то спецкорам, комментаторам и обозревателям разрешалось работать дома. Однако каждое утро они собирались на планерку, в кабинете у главного, где Наум Маркович призывал их к лучшему, а главное к более позитивному освещению Израиля. В этих своих призывах к коллективу Нема все реже прибегал к уменьшительно-ласкательным суффиксам и все чаще говорил с "правдистской" принципиальностью и прямотой. "Дорогие друзья, — обращался он к съезжавшимся со всех концов Тель-Авива собкорам, комментаторам и обозревателям, — я очень извиняюсь, но я хотел бы прежде всего напомнить вам название нашей газеты. "Оплот Израиля" — это вам не какой-нибудь там засранный "Клуб-шмуб", "Алия-Шмалия".

И далее он устраивал такой разнос любимому коллективу, которому могли бы еще поучиться какой-нибудь там Сатюков или Чаковский. "Скажите, милейшая, — изысканно вежливо начинал Нема, — когда вы намерены сдать репортаж о встрече Шлемы Розе с новыми олим из Нагарии? Простите, вы что-то сказали, я не расслышал?" Но это был только разбег, после которого в лучших традициях ленинской "Правды" Нема обрушивался на тех, кому было наплевать на самое главное в нашей жизни, а именно на вопросы сионистского воспитания.

— Я очень извиняюсь! — восклицал Нема, — но лично я таких товарищей не держу!

А однажды, когда по вине собкора "Оплота" при канцелярии главы правительства в газету вместо Ицхака Рабина проскочил Исаак Рубин, Нема позволил себе даже непечатно выразиться. То есть, как выразиться: вначале он, конечно, сказал, что он очень извиняется, но с завтрашнего дня правительственный корреспондент "Оплота" может идти к ебени-фене.

Как истинный прибалт, Нема считал, что порядок превыше всего, и потому в приемной у него сидели две секретарши —

одна молоденькая Ривка, которая числилась на должности ближневосточного комментатора, отвечала по телефону и называла себя начальником приемной, другая — старенькая Пнина, которая тянула всю работу и считалась просто секретаршей. И обе, между прочим, будут важны для нашего дальнейшего повествования. Из-за Ривки с ее женскими прелестями и непробиваемой тупостью погорел Горфинкель, а Пнина, оставшись без места, придет работать в журнал "Время и мы".

Но вначале о Ривке, которая видела свое назначение в том, чтобы своими женскими прелестями поддерживать к себе неослабевающий интерес Немы. И, во-вторых, соединять его по телефону исключительно с теми, кто, по ее мнению, был ему полезен, а не просто крутил голову. Так вот, погорел Нема не как главный редактор "Правды" и не как гениальный вильнюсский еврей, а как самый последний шлимазл. Именно этим словом он назвал себя сам за то, что вовремя не вытурил Ривку. И мало того, что не вытурил, но и посадил на должность ближневосточного комментатора, чтобы она несла всякую чушь в приемной.

Случилось это после того, как экономическое положение "Оплота" пошатнулось и Шварцман вдвое сократил число стипендий. Все висело на волоске, и надо же было именно в такой момент позвонить в "Оплот" — нет, не Шварцману, Шварцмана Ривка узнавала по голосу мгновенно и щебетала с ним, как ласточка. В "Оплот" позвонило начальство Шварцмана, Арончик Паран, который получил анонимку, что в газете "Оплот Израиля" устраиваются шахер-махер со стипендиями, а деньги мирового еврейства расходуются на блядей главного редактора Горфинкеля. Арончик рвался немедленно соединиться с Немой, но в ответ услышал стальной голос Ривки, не ведавшей, что творит.

— Вам Наума Марковича? Наум Маркович проводит планерку, звоните позже.

Арончик пытался что-то объяснить, но Ривка со своими соломенными мозгами повторяла как заведенная:

— Адони, редактор на планерке, и я ничем не могу вам помочь.

Так начальнику управления абсорбции Тель-Авива еще никто не отвечал, и он спросил, с кем имеет честь говорить. В ответ на это Ривка с еще большей наглостью пропела:

— С начальником приемной газеты "Оплот Израиля".

Ничего более ужасного произойти не могло. Между прочим, сам Арончик уже третий год не мог выбить себе единицу начальника приемной. Словом, он в ту же минуту понял, как в газете "Оплот Израиля" расходуются деньги мирового еврейства. Узнав о случившемся, Нема чуть не получил инфаркта. Он тут же уволил Ривку и в присутствии всего коллектива назвал себя шлимазлом.

Между тем слухи о случившемся обрастали все более фантастическими версиями. И, когда я на другой день зашел в Бейт-Соколов, Рувка Веритас тотчас подозвал меня к себе:

— Ты слышал, какой скандал произошел с этим шмоком?

— С каким шмоком?

— Ну этот, редактор "Оплота", ты думаешь, я знаю все их фамилии?

— С Немой Горфинкелем?

— Его фамилия Горфинкель? Так вот, Шлема Розе создал специальную комиссию министерства для расследования.

— А что там, Рува, расследовать? Пустил на ветер сотню-другую тысяч.

— Много ты знаешь! Этот шмок держал пять наложниц и всем платил стипендии министерства абсорбции.

И тут же мне Рувка поведал, что с одной из жертв этого Горфинкеля он сам утром беседовал. Ривка, его секретарша. Хорошая девушка. Новая оля.

— Ты знаешь, за что он ее убрал? За то, что она не хотела идти с ним в постель. Ты его видел? Хотел бы я видеть, кто с этим лысым шмоком пойдет в постель!

Я не уверен, что до Немы вообще дошли все эти сплетни — он просто был выше них. И если он и погорел, как шлимазл, то вышел из этой истории, как гений.

Другой бы на его месте, может быть, пулю себе в лоб пустил, а он позвонил главному редактору "Нашей страны". К тому времени тот уже купил "Трибуну". Так что вскоре

после ухода Шатрова, приказала долго жить и сама газета, и "Оплот Израиля" оставался единственным конкурентом "Нашей страны". По понятным причинам разговор был сугубо приватным и кончился тем, что Нема продал свое детище "Нашей стране".

Поистине, это была сделка года, ибо вместо того, чтобы оказаться в долговой яме, бывший редактор газеты "Оплот Израиля" выехал из своей бывшей редакции на улице Мазе в только что купленной новенькой "Ауди".

Слушайте и внемлите, читатель. Может быть, жизнь ваша повернется так, что и вас захватит романтика нашей профессии, как захватила она Нему Горфинкеля. Так мой вам совет, если выпадет вам такая судьба, примите ее как должное. Учитесь у моих коллег по эмиграции: не ропщите, не впадайте в панику, идет, не идет — выше голову товарищ! Как держал ее главный редактор газеты "Оплот Израиля" Нема Горфинкель. Что с того, что в тяжелый момент он продал свое детище и стал агентом туристской компании "Розентурс". Он — гений, он — главный редактор в душе. И просто неизвестно, что бы делала русская литература в изгнании, если бы не такие, как Нема Горфинкель. Покопайтесь и вы в своей душе, дорогой читатель, может быть, и вы обнаружите, что вы никакой не инженер, не врач и не кто-либо другой, а прирожденный главный редактор и только не решаетесь себе в этом признаться. В таком случае — смелее! равняйтесь на "Оплот Израиля". Мы — алия главных редакторов, и мы еще скажем свое слово на этом трудном и благородном поприще!

МЫ ЖИЛИ... МЫ ЖДАЛИ...

Ох, занесло меня, джентльмены! При чем тут алия главных редакторов? И редакция газеты "Оплот Израиля"? И погоревший Нема Горфинкель? И какая тут связь с журналом "Время и мы"? Не удивляйтесь: все было связано в те дни, ибо, где погорели "Оплот" и Нема Горфинкель? На луне? Или, может быть, в Нью-Йорке, на Пятой авеню, куда переб-

ралась сейчас наша редакция? Да нет же, они погорели в Израиле, в городе Тель-Авиве, в министерстве абсорбции, на улице Эстер Малка, где Арончик Паран устроил по этому поводу специальное совещание. Обсуждалось то, что произошло в газете "Оплот", то есть, как получилось, что вылетело в трубу семнадцать стипендий, выданных начальником отдела профессиональной абсорбции Моше Шварцманом. Говорят, что Арончик стучал кулаком и топал ногами. Но если это и было некоторым преувеличением, все равно нетрудно представить, какие перспективы открылись перед редакцией журнала "Время и мы" в смысле получения новых стипендий от министерства абсорбции.

"Оплот" умер, но дело его жило, и пожинать плоды случившегося пришлось не Неме Горфинкелю, покинувшему редакцию в новенькой "Ауди", а мне, который, как в том еврейском анекдоте, наконец-то нашел время и место создавать толстый литературный журнал.

Но хватит о презренном металле — сколько мы его получили от Объединения олим, вы помните, сколько — от министерства абсорбции — после того, как Арончик Паран топал на Шварцмана ногами, — представляете. Так что давайте снова вернемся к черемухе, то есть на улицу Ибн-Гвироль, 46, на третий этаж, в квартиру к Женюрке и Семе Житницким, где готовился первый номер журнала "Время и мы" и где один за другим появлялись первые его сотрудники.

Да, дорогой читатель, нет у меня другого выхода, чем плести эту сложную паутину-фабулу: начинать с одного, переходить к другому, затем к третьему, затем еще бог весть к чему — все в те дни смешалось в доме Житницких.

И уж если следовать ходу событий, то все началось не с моей встречи с Пинхасом Сапиром, который шепнул про меня Журини, что ему этот еврей чем-то нравится, и даже не с заседания Объединения олим, после чего дали денег на полтора номера, — нет, как всегда в этом мире, все началось с кадровых вопросов, решение которых взял на себя Сема. Он так и сказал: "Кадры я беру на себя!" Но фактически взял на себя куда больше. Я даже затрудняюсь перечислить, чем за-

нимался Сема в те дни. Похоже, мне легче сказать, чем он не занимался.

Стоило кому-то позвонить в дверь, как Сема устремлялся открывать. Посетитель входил ко мне, и Сема следовал вслед за ним. И как только тот представлялся мне, Сема тотчас представлялся ему:

— Будем знакомы, инженер Сэм Житницкий! А вы, простите, по какому вопросу в редакцию?

Все дальнейшее зависело от оперативности Женюрки — успеет ли она вовремя поспеть и увести Сему, чтобы он не встревал в разговор. Но она не была всесильной. Когда в редакции впервые появился мой зам Боря Орлов, Сема решил, что вся наша беседа должна идти в его присутствии. И очень скоро сам превратился в ее главного участника.

Мы обсуждали будущую статью Орлова "Миф о Фанни Каплан", в которой тот выдвигал гипотезу, что на самом деле стреляла в Ленина не Фанни Каплан (она же Ройд), а эсерка Лидия Коноплева. Услышав это, Сема даже вскочил со стула:

— Это почему же Коноплева, когда всему миру известно, что эсерка Каплан?

— Почему? — улыбнулся Орлов, — почитайте статью, там все сказано.

— А мне и читать нечего! Историю как-нибудь изучали. Евгения! — вдруг крикнул Сема на всю квартиру, — а ну мигом к нам. Женюрка, ну что ты там возишься!

Вошла Женюрка в домашнем халате и тотчас набросилась на мужа:

— Сема, прошу тебя, дай людям работать, займись чем-нибудь...

— Я-то займусь, но раньше ты ответь нам на один вопрос. Скажи этому господину, кто стрелял в Ленина.

— Ах, Сема, что ты мне морочишь голову, ты хочешь, чтобы у меня мясо сгорело?!

— Мясо — мясом, но кто стрелял в Ленина? Я утверждаю, что эсерка Каплан!

— Ну, хорошо, Каплан, если тебе так хочется, пусть Каплан.

Женюрка ушла, но Сема все равно не мог успокоиться:

— Вы кто по образованию, господин Орлов? Историк? Интересно, чему вас там учат в университете?

Следующая, за кого взялся Сема, была уже упомянутая мной Пнина, бывшая секретарша Горфинкеля, милая, интеллигентная старушка, которая начала вести делопроизводство журнала. Дела она вела на иврите, и я уж не знаю, что послужило поводом, чтобы завести с ней спор, какой язык богаче: русский или иврит. Пнина, будучи человеком интеллигентным и покладистым, сказала, что по-своему каждый язык хорош, на что Сема ответил:

— Знаете, Пнина, все это демагогия. Какой у нас язык самый великий, самый прекрасный, самый могучий, какой, скажите?

— Я не отрицаю достоинства русского языка, — отвечала Пнина.

— Если бы вы отрицали их, это надо быть просто не в себе!

— Сема! Что ты там хочешь от Пнины?! — кричит с кухни Женюрка.

— Я от нее хочу? — начинает вдруг весело смеяться Сема. — Пнина, как вам нравится моя жена? Женюрка, ты что, ревнуешь меня к Пнине?

— Ну ладно, пойдем обедать, — умиротворяет Сему жена.

— Пойдем обедать, — соглашается Сема и, уже выходя из комнаты, бросает Пнине: — Советую вам, Пнина, больше читать русской классики. Пушкина! Пушкина! И еще Лермонтова!

Надо сказать, что Сема считал себя большим знатоком людей, поэтому и взялся за подбор кадров журнала. Но подбирать ему больше некого было — единственно, кого мы искали — корректора. Но именно здесь "кадровик" дал промашку. Собственно, что значит — промашку? Она была одна из самых добросовестных сотрудниц журнала. О, если бы Сема, приведя ее в редакцию, напирал именно на это ее качество! Но было как раз наоборот. Когда она, потупив взор, полненькая в очках брюнетка вошла в редакцию, он тотчас припал к моему уху и воскликнул:

— Скромняга! Как раз то, что нам нужно!

А она, даже не взглянув в его сторону, низким грудным голосом сообщила, что зовут ее Виолетта, фамилия Сиголовская.

— А стаж? Стаж? — рвался в бой Сема.

— Стаж семь лет в Гослитиздате! — выразительно сверкнула она из-под очков большими глазами.

— Так что корову через "ять" не напишете? — сострил Сема. — В общем так. По предварительным данным вы нам подходите, но мы с редактором должны, конечно, подумать.

Когда она ушла, он еще раз воскликнул: "Ах какая скромняга! Да таких в эмиграции днем с огнем не найдешь!" Позже он утверждал, что ничего подобного не говорил.

Молодожены так влюбились в корректоршу, что тотчас предложили ей переезжать в редакцию.

— Мадам! — сказал Сема, когда она появилась в квартире, — разрешите вас звать по простому — Витой. Вита, Вита, Виолетта, я люблю тебя за это. И за это и за то, ну, а в общем ни за что!

— Сема! Да ты, оказывается, и стихи пишешь!? — воскликнула Женюрка и потрепала его по коротко остриженному затылку.

— И не хуже некоторых поэтов из журнала "Время и мы", — ответил Сема.

— Как вам нравится мой кхасавец! — продолжала она его гладить по седому бобрику на затылке.

— Красавец, не красавец, а на отсутствие баб не жаловался.

— Фи, Сема! Фи!

— Ах, простите, если я смутил ваш интеллигентный вкус. Мы с Виолеттой проживем и без вас — Виа, Виа, Виолетта, я люблю тебя за это, — обнял он за полные плечи корректоршу, и она выразительно сверкнула из-под очков глазами в мою сторону.

На другой день она приступила к вычитке романа Кестлера. Работала с утра до позднего вечера. Казалось, что с корректоршей Виолеттой нам и в самом деле повезло, и я просто не придал значения эпизоду, происшедшему в один из

обеденных перерывов, когда я встретил ее у входа в наш подъезд с дымящейся сигаретой.

Впрочем, сигарету она старательно прятала в рукав. И когда я спросил, в чем дело, она, скромно потупив глаза, шепнула: "Виктор! Умоляю, спасите, там стоит мой папа. Он не знает, что я курю, у него будет инфаркт!"

С этого и началось в моих глазах разрушение образа нашей скромняги Виолетты.

Дня через два-три Сема позвал меня в столовую для серьезного разговора о поведении корректорши.

— Ну, как тебе нравится эта мадам? Эта твоя Виолетта? Мы не спали с Женюркой до трех ночи!

Я давно уже не видел Сему в состоянии такой озабоченности. Оказывается, накануне вечером они встретили корректоршу в супермаркете, и "Что она делала! Что она делала!" — не переставал повторять Сема. "Мы с Евгенией не верили глазам. В открытую, перед всем честным людом прятала в сумку бутылку портвейна!"

— Виолетта! Виолетта! Я люблю тебя за это! — не выдержал я.

— Ну, знаешь, редактор, тут не до шуток! Твоя сотрудница — ты и решай! Женя сказала, что нам с ней на старости лет таких артисток не нужно!

Бедный наивный Сема! Шокированный какой-то бутылкой портвейна! Ни ему, ни его наивной Женюрке даже в голову не могло прийти, какие демонические страсти разыгрывались в душе корректора журнала "Время и мы" Виолетты Сиголовской.

"Ах, Виолетта! Виолетта! Я люблю тебя за это!" — тоже одна из причуд моей памяти. Все забыл — как она появлялась каждое утро в редакции, как просиживала над рукописями и даже, как выглядела — всегда ли носила очки, или только, когда читала — а вот эту Семину песенку ничем не выжечь "Ах, Виолетта! Виолетта!" А, может, врезались редакционные вечеринки, на которых никто не мог ее превзойти, нашу сжигаемую страстями Виолетту — в очках и туфлях на широких каблуках. О, тогда она становилась неистовой! Неистовой

в поисках своего Ромео. Она пыталась его найти в каждом, но то были не Ромео, а сплошные шлимазлы и рыбы, неспособные ни оценить ее, ни понять.

Я представляю вам пару милых картинок — только не спрашивайте меня, что в них серьезно, а что от лукавого — я и сам этого не знаю. Чужая душа — всегда потемки, и никому не понять ее выкрутас.

Итак, наша прекрасная Виолетта была способна доводить мужчин до исступления, особенно когда с горящими от страсти глазами начинала падать перед каждым на колени и требовать к себе любви — серьезно или нет, не знаю. Внешне это было похоже на приступ страсти мадам Грицацуевой к Остапу Бендеру. Но если Остап сохранял олимпийское спокойствие, то я тотчас ловил на себе полный замешательства взгляд избранника Виолетты. И стоило ему окликнуть меня, как она тигрицей бросалась в его сторону: "Ах, не уходите от меня! Неужели я вам совсем не нравлюсь!" Он отвечал, что готов уйти с ней на край света. Но лучше это сделать втроем: она, он и главный редактор Виктор Перельман. Это был запрещенный прием. Я понимал, что за этим последует, но готов был принять удар на себя и не пытался сопротивляться.

— Ах, Перельман! — шла она теперь на меня с раскрытыми объятиями и сверкая прекрасными семитскими глазами. — Если бы вы знали, как я вас люблю! А у вас есть ко мне хоть какое-то чувство? Давайте выпьем за нашу любовь! — Она наливала себе и мне водки и вдруг резко оборачивалась. — Постойте! Постойте! А где тот, кто хотел уйти со мной на край света?! Ах, кажется, он ушел без меня!

Когда кончался вечер, ее среди нас уже не было. Да и выпало у меня из памяти, как кончались эти вечера... Тем более, все это происходило позже, когда мы уже переехали на улицу Нахмани, а она, наша любвеобильная Виолетта, получила чудную однокомнатную квартирку для холостяков. Ах, какие заводила она там хороводы, наша королева Виолетта, которая в день своего появления заставила заговорить стихами даже меланхолика Сему. Впрочем, королевой она станет

позже, когда появится в редакции прекрасный седовласый король. Но об этой любви, как и о самом короле — опять же позже, а пока назад, к октябрю 1975 года.

До сдачи первого номера в типографию оставались считанные недели. Как написал бы всякий серьезный и уважающий себя мемуарист, редакция переживала напряженные и какие-нибудь там еще незабываемые дни. Мы ждали... Мы волновались... В предчувствии чего-то очень важного. Ах боже, отчего у меня нет этих слов! Впрочем, кто знает, может быть, все это и было, но в какой-то момент просто утратило поэтический настрой.

Итак, джентльмены, занавес. Тель-Авив. Октябрь 1975 года. Каждое утро, где-то в районе девяти утра я подъезжаю к дому 46 на улице Ибн-Гвироль. Ставлю свой "Форд-Таунус" на стоянку во дворе Дома журналиста и поднимаюсь на третий этаж, в квартиру 8, где на двери висит медная дощечка: "Инженер Сэм Житницкий". У меня от двери собственный ключ и, входя в редакцию, я не бужу хозяев.

Я открываю дверь, и в нос ударяет запах того, что Сема называет "биологическими отходами" и из чего он с такой неутомимой энергией пытается получить дешевые сорта бензина. Никаких иных терминов, кроме как "биологические отходы", нам вслух не разрешается произносить. И этот запрет распространяется на всех. Когда однажды Сема притащил с заднего двора ведро "биологических отходов", Женюрка, надраившая перед тем квартиру, не выдержала:

— Сема! Опять ты свой мусор тащишь?

Надо было видеть побледневшее в гневе Семино лицо.

— Это мусор? Повтори! Повтори, что ты сказала! Из-за этого мусора, Евгения, арабы весь мир на крючке держат!..

Женюрка почувствовала, что наступила на больную мозоль мужа и тут же дала отбой.

— Да нет, Семочка, ты меня не так понял. Что я сама не знаю, что это золото? Просто оно немножко пахнет мусором. Ну, так попахнет и перестанет!

— Нет, Евгения, ты просто повторяешь чушь всяких идиотов из министерства абсорбции, а я не хочу этого! Не хочу и все! — снова стал воспламеняться Сема.

В ответ на это Женюрка стала нежно поглаживать его по затылку:

— Ты мой кхасавчик, ты — мой изобретатель!

И он мало-помалу успокоился. Но чтобы не усложнять жизни, слово "мусор" никто и никогда в этом доме не решался произнести вслух.

...Однако пахнет, не пахнет, а журнал надо выпускать, и, войдя в редакцию, я усаживаюсь за свой рабочий стол. По правую руку от меня в самом углу пенала приткнулась Пнина — она ведет учет подписчиков, число которых в эти судьбоносные дни достигло тридцати девяти. По левую руку — на балкончике, впритык к Семиной лаборатории — стол корректорши Виолетты. По ее прекрасным семитским глазам я всегда догадываюсь, как прошла предыдущая ночь.

Сама ночь меня интересует меньше всего. Меня интересуют последствия и их влияние на возможные ошибки в первом номере. Впрочем, для размышлений у меня не остается времени, потому что вслед за мной в редакцию входит Сема — обычно он в майке и тренировках, и приветствует он меня одними и теми же словами:

— Здорово, редактор! Как журнал?

Он не спеша приближается к моему столу и так же не спеша обводит взглядом все лежащее на нем.

— Есть, редактор, что-нибудь новенькое или все старье?

Я знаю, что вопрос относится к первому номеру, которым Сема явно недоволен. Что бы я ни ответил, его не удовлетворит. И потому я мечтаю скорее свернуть эту беседу. Но у Семы, похоже, цель совершенно противоположная, и он одну за другой медленно перебирает рукописи.

Сема считает себя сионистом, патриотом и атеистом, и его прежде всего интересуют еврейские темы — в том смысле, что он уверен, что мы эти темы недооцениваем, и статьи на религиозные темы — в том смысле, что он против них всегда восстает.

Свой утренний комментарий Сема начинает одними и теми же словами:

— Что-то, братцы, у вас с еврейской тематикой слабовато!

— Он переводит взгляд с моего стола на стол Виолетты. — А как наш корректор считает?

И я и она молчим.

— Так, так. Молчание — знак согласия.

Я чувствую, что главное впереди. Вот, кстати, оно и наступает:

— А это шо це таке? — спрашивает Сема, увидев фото главного своего врага, раввина Штейнзальца, облаченного в кипу, и приколотое к статье.

Я молчу.

— Кто такой? — спрашивает Сема в который уж раз.

— Раввин Штейнзальц, — отвечаю я.

— Про кого пишет? — спрашивает Сема (опять же — в который уж раз!) .

— Про евреев! — отвечаю я.

— Понятно! — усмехается Сема.

— Статья-то, как называется?

Я подаю ему статью в предчувствии разговора, после которого я каждый раз жалею, что не арендовал редакцию в другом месте.

Заголовок статьи Сема читает вслух:

— "Кто мы, трагические актеры или самобытная нация?" Шо це такое? — снова следует вопрос.

— Статья! — снова отвечаю я.

— А кто такие трагические актеры? — спрашивает Сема.

— Евреи! — отвечаю я и чувствую, как тает надежда закруглить беседу. А у Семы возникают сразу два вопроса: во-первых, почему актеры, а во-вторых, почему трагические? Нет, еще третий: почему о евреях должен писать какой-то раввин, а не я сам как главный редактор. Сема рассуждает, а я насвистываю "Марш веселых ребят" — последнее средство, чтобы себя сдержать. И тут он добивает меня:

— Ты дай мне, я тебе лучше всякого раввина напишу!

— А ты знаешь, кто такой раввин Штейнзальц?! — не в силах сдержать я раздражение.

— А для меня все раввины на одно лицо, — отвечает Сема.

И в этот момент за дверью раздаются спасительные шаги.

— Сема! Завтракать! — И в комнату входит распаренная после душа Женюрка. — Сема! В каком ты виде!

— Ах, извините, княгиня, что мы без брюк!

— Без брюк бы это ничего, но в каких ты трусах! К тому же ты мешаешь Виктору работать!

— Знаешь что, Евгения, — уже всерьез раздражается Сема, — прошу тебя в редакционные дела не вмешиваться. Ты слышала, что они в первом номере собираются одних раввинов давать.

— Каких раввинов, Сема?

— Очень простых, израильских! — отвечает Сема и нехотя выходит из редакции. — Ну, ладно, редактор, мы еще на эту тему с тобой поговорим.

Он уходит, явно недовольный, что жена не дала ему выяснить до конца вопроса с раввинами. Я погружаюсь в рукописи, но ненадолго — снова в дверь стук. На этот раз Женюрка.

— Виктох! Для вас чашечка компота с пирогом! — Она ставит пирог на стол и в открытую дверь вновь входит Сема.— Сема, не мешай людям работать! — пытается увести его Женюрка.

Но он требует, чтобы я вышел с ним для серьезного разговора в столовую.

— Садись, — говорит он. — Насчет раввинов — это ты, как хочешь. Напорешь, тебе голову снимать будут, а не мне. Но тут другой вопрос: насчет Виолетты. Жить пускай живет, но насчет удобств, извини, помилуй, пускай в море ходит.

— Да, Виктох, уж, пожалуйста, — откуда ни возьмись появляется Женюрка, — насчет удобств мы вас очень просим. Каждая уборка двадцать лир.

— Так куда ж ей ходить?

— Да я ж сказал, в море, пускай в море ходит...

На сегодня, кажется, все вопросы утрясены, и я наконец углубляюсь в рукописи. Из коридора доносится негромкий бой часов, а из спальни тихий храп молодоженов.

Первым после дневного сна поднимается Сема. Я слышу, как он отпирает дверь в лабораторию и приступает к очередным опытам. Я знаю, что эти опыты нам ничего хорошего не

предвещают. Сема что-то перемешивает, сливает какие-то сосуды, что-то зажигает, и вдруг страшный взрыв сотрясает квартиру. В нос ударяет запах гари, и наша комната в миг обволакивается дымом.

— Сема! — кричит из спальни Женюрка. — Что пхоизошло?

— Ничего особенного! Взорвалось немного сероводорода, — отвечает Сема и черный, как трубочист, появляется в нашей комнате. — Все живы-здоровы? Редактор, жив?

— Сема, но так же можно поджечь квартиру! — не может она успокоиться.

— Ах, ах! — поджечь квартиру, ничего твоей квартире не сделается, — говорит Сема и отправляется после тяжелых экспериментов отдыхать.

Вечереет... Мне пора домой.

— Шолом, редактор! — кричит мне вслед Сема. — А насчет раввинов советую подумать...

Я выхожу из подъезда. После Семиных опытов раскалывается голова. Боже, как давно я не бродил по улицам Тель-Авива. Еще рано, нет и шести, и ноги сами несут в Бейт-Соколов. Знакомых никого — единственно, кто на месте, — на вечном своем посту — Рувка Веритас.

— А, Виктор, машет он мне рукой, чего это тебя не видно. Менаше, дай нам по содовой и рыбе фиш. Да, где ты пропадаешь?

Я рассказываю Руве, что начинаю издавать журнал.

— Какой журнал? — спрашивает он.

Я чувствую, что он что-то не договаривает и что-то подозревает, но не решается спросить.

— Нет, нет, Рува, беспартийный, общественно-литературный журнал.

— Беспартийный? — все еще не может он поверить. — А кто же дает деньги? Хочешь я поговорю со Шлемой Розе. Шлема — человек ответственный и, по-моему, он захочет тебе помочь.

Нет, я не хочу, чтобы он говорил со Шлемой.

— Ни с кем, Рува, не надо говорить. Тем более, у меня есть деньги, — сказал я и хотел добавить... на полтора номера!

— А где твоя редакция?

— На улице Ибн-Гвироль, в квартире одного нового оле, инженера Житницкого, изобретатель, может быть, слышал?

— Житницкий? — морщит лоб Рува. — Постой, постой, это не тот ли шмок, который говорит: "Дайте мне тонну говна, и я залью весь Израиль бензином"?

— Да нет, Рува, он перерабатывает биологические отходы.

— Ну, конечно, много ты знаешь! Он же просто завалил Шлему Розе письмами со своим проектом — превратить в бензин все тель-авивские помойки. Шмок! Так ты у него имеешь редакцию? Ты не мог позвонить Шлеме, чтобы тебе помогли с помещением?

Мы прощаемся. Я встаю из-за стола и пытаюсь расплатиться с Менаше, но Рува не дает мне.

— А что, Барский еще здесь? — спрашивает он вдруг меня. — А Красный?

— Здесь, Рува, оба здесь!

— Еще не все уехали! Передай привет этому Житницкому и скажи, пусть займется делом, шмок!

Ну а как все же выглядели те судьбоносные дни перед выходом журнала? Ведь наступил же час, когда все было готово: весь номер был набран, смонтирован, сверстан по страницам. Готова двухцветная обложка. Подобраны портреты авторов. И вот тут-то мне и пришла идея, которая сегодня, может, и потешит моих коллег — главных редакторов. Мне запала мысль выпустить журнал без единой ошибки и даже без единой неправильной запятой. Вот какая задача была поставлена перед нашей первой корректоршей Виолеттой. В редакции было объявлено осадное положение — все были брошены на поиски ошибок и описок. На помощь Виолетте была вызвана еще одна корректорша, по имени Алла. Все это поставлено на поток: вначале читала Виолетта. Я еще никогда не видел такими вдумчиво-сосредоточенными ее прекрасные томные глаза, затем подключалась Алла, затем снова Виолетта, затем зам.главного Боря Орлов, а затем уже я как редактор.

И, наконец, в качестве последней инстанции у нас появился доброволец — инженер Житницкий.

Не успев приступить к чтению, он тотчас же заявил, что обе корректорши не знают правил постановки запятых. Возможно, если бы не он — не случилось бы того, что произошло. Столько было прекрасных саперов — просто не могли бы пропустить этой мины, если бы им не мешали.

Впрочем, Сема и не мешал, он просто затевал изнуряющие грамматические бои. И больше всего ему не давали покоя запятые. Как все начиналось? А вот как.

— Послушай, корректор! На спор, что здесь нужна запятая! — шел он решительно к Виолетте.

— Нет, Сема, — с олимпийским спокойствием отвечала та — здесь "как" в смысле в качестве, и запятая не нужна.

— В качестве, не в качестве, а перед "как" нужна запятая, да вот хоть Евгению спросим.

— Женюрка! Правда, ведь ты Рижскую гимназию кончила, — кричит Сема жене на кухню. — А ну, мигом к нам...

— Сема, ты же не корректор, и я не корректор! — входит в комнату Женя. — Как ты можешь спорить...

— Да, я лучше их всех корректор! Спорим, Вита, нужна запятая. Да ты знаешь, Женечка, они хотят весь журнал без запятых напечатать.

Женя уводит мужа.

— Сема, пора обедать, — говорит она. — Я такой бохщ приготовила! Такой бохщец!

Но ему уходить явно не хочется. Он окидывает редакцию взглядом, и в этот момент раздается в дверях звонок. Это мой зам Боря Орлов с длинным перечнем описок, который он передает корректору.

— Ого! — восклицает Сема. — Грамотеи! Товарищ Орлов, вы заметили, что они не ставят запятую перед "как"?

— Да нет же, — возражает Виолетта. — Это, если "как" в значении "в качестве".

— Качество, какчество. Этого я не знаю — перед "как" нужна запятая! Вот, товарищ Орлов, что ты скажешь? Нужна или не нужна? — переходит Сема на ты с моим замом.

— А вам, как лучше, господин Житницкий — чтоб нужна или не нужна?

— Ничего смешного не вижу! — отрезает Сема. — Кстати, как там у вас с эсеркой Каплан? — снова переходит на "вы" Сема. — Неужели вы еще утверждаете, что не она стреляла в Ленина?

— Я утверждаю! У меня же доказательства, — говорит Орлов. — Фанни Каплан вообще не была на месте покушения...

— Ну, что еще скажете? — саркастически улыбается Сема. — Может, и эсерки Каплан не существовало? Очень интересно! Ну, мне-то что. Есть главный редактор... А мы с женой здесь кто? Никто!

Он переминается с ноги на ногу, поглядывает искоса на меня. Я молчу. И в этот момент спасительный оклик из кухни.

— Сема! Сколько можно морочить людям голову?

— А кто морочит? — не спеша покидает наш пенал Сема. Никто и не морочит. Просто неприятно, когда хотят повернуть вспять историю.

Сема исчезает. Виолетта принимается за исправление ошибок. Присутствие Орлова, в чью сторону она то и дело устремляет взгляд, ее явно отвлекает.

— Сколько человек прочитали? — улыбается Орлов. — Восемь? Девять?

— Всего пять, — отвечаю я.

— Не считая историка Житницкого? — спрашивает Орлов. — Или вместе с историком?

Звонит телефон. Трубку в своей комнате берет Сема. Одновременно поднимаю трубку и я — в редакции отводной аппарат.

— Инженер Житницкий слушает!

На том конце провода просят редактора.

— Кто спрашивает главного редактора? — интересуется Сема.

На другом конце провода — слегка раздраженный голос Бени.

— Адони, я могу говорить с редактором журнала "Время и мы"? Это из типографии. По срочному вопросу.

— Из типографии? — радостно восклицает Сема. — Вот вы-

то мне и нужны. Скажите, за сколько времени вы собираетесь напечатать журнал?

— Кто это? — теряет самообладание Беня.

— Инженер Житницкий! Я же вам сказал.

— Какой еще инженер Житницкий! Мне редактора нужно, Перельмана!

Я чувствую: вот-вот разразится буря и беру трубку.

— Да, Беня, это я.

— А что это за поц? — не может успокоиться Беня.

— Что он сказал? — врывается в редакцию Сема. — Пусть повторит, что он сказал.

— Сема, ты же не доел борщ! — влетает вслед за ним жена. — Пойди доешь борщ, потом выяснишь, кто что сказал.

Но Сема требует, чтобы я немедленно передал ему трубку для выяснения отношений.

— Кто это, интересно, поц? — пытается он крикнуть в трубку. — Сами вы, молодой человек, поц!

— Сема! От тебя же можно тхонуться! — восклицает Женюрка.

— Да, от меня можно тронуться, — соглашается Сема и уходит доедать борщ.

Вскоре из спальни молодых доносится тихое посапывание.

В редакции наступает тишина. Еще час, и читка номера заканчивается. До нас доносится скрип двери — это Сема входит в лабораторию, что-то смешивает, еще минута, и квартиру Житницких сотрясает страшный взрыв. Редакцию заволакивает дымом.

— Сема! Ты жив? — кричит Женюрка. — Сема! Где ты? Что там взорвалось, что?

— Ничего не взорвалось, — спокойно выходит Сема из своей лаборатории, — слишком много скопилось газов...

Подготовка номера закончена. Да, дорогой читатель, мы жили, мы ждали, мы волновались в предчувствии чего-то важного. Но иногда наши ожидания прерывались будничными событиями, настолько незначительными, что, может, они и не стоили вашего внимания. Но я все-таки их коснулся, чтобы не отступать от правды жизни.

СУДЬБОНОСНЫЙ ДЕНЬ

В этом месте я прерываю повествование, чтобы сравнить два судьбоносных дня своей жизни. Только не ломайте голову, с какой целью я пускаюсь в экскурс и почему взяты именно эти дни — уверяю, зря потратите мозговую энергию, так ничего и не извлекши из моей тайнописи.

Неужели вы так и не научились терпению? И разве в случаях, когда вы его проявляли, вы не были вознаграждены? Разве скрыл я от вас, что крошка Сюзи оказалась чистейшим существом из клуба нью-йоркских феминисток, а бравый борец Арриго — честным и добропорядочным владельцем одного из римских борделей? Разве тайное, заставляющее вас сгорать от любопытства, не становилось, в конце-концов, явным, и вы, словно бойкая, необгонимая тройка, не мчались дальше по ровной, как асфальт, канве моего сюжета?

Так вот, об одном из судьбоносных дней (сравнив его даже с залпом "Авроры"), я уже начал говорить. Но, чтобы понять, откуда это все пошло, я приглашаю вас в ту, прежнюю эпоху, где все было не так, и только память обладала все тем же странным свойством — выхватывать из любого торжества самое смешное и нелепое. Так вот, это было 27 мая 1956 года, когда утром в газете "Труд" появился первый в моей жизни фельетон "Дело Тихомировых", а вечером того же дня мы с моим соавтором Безугловым оказались каким-то образом в малознакомой компании на Зацепе.

Единственно, что сохранила память, — это голос Безуглова.

— Дорогу, товарищи! Дорогу! Идут авторы "Дела Тихомировых". Не читали? Прочтите обязательно! Вот, Виктор Борисович может дать вам интервью по этому поводу.

Итак, в это воскресное утро, обнаружив фельетон на газетном стенде у Петровских ворот, я помчался к ближайшему киоску "Союзпечати" и скупил все двадцать оставшихся экземпляров "Труда". Когда киоскер отсчитывал газеты, я так и жаждал услышать:

— Зачем же так много, молодой человек?

Но вопроса не последовало и, не выдержав, я спросил сам:

— Вы не читали сегодняшнего "Труда", в нем потрясающий материал! Свекровь убила бесприданницу-невестку.

Я не пропускал ни одного стенда и жадно вглядывался в лицо каждого, кто читал статью. Если собиралось несколько человек, то я испытывал подлинное наслаждение. Мне хотелось крикнуть, что это моя статья. Но я понимал, что это невозможно, и пытался тут же, у стенда, завести о ней разговор, чтобы как-нибудь, вскользь, ошарашить этих людей своим присутствием.

Потом вместе с Безугловым мы поехали в Парк культуры, зашли в "поплавок". Познакомились с какими-то молоденькими студентками и, усадив их на лавочку, тут же всучили им газету с "Делом Тихомировых".

— Ну а теперь, девушки, — торжественно объявил Безуглов, — я представлю вам автора этого сенсационного материала, молодого, но уже достаточно маститого писателя Виктора Борисовича Перельмана.

Повторяю, что я не помню, как мы очутились на Зацепе, но помню, что в этой квартире собрались очаровательные девочки, которые весь вечер подсаживались ко мне и спрашивали: неужели все это правда?

— Разумеется! — отвечал я с полным безразличием и ловя на себе их восхищенные взгляды.

— А как вы все это писали?

— Как? Очень просто, авторучкой! — снисходительно улыбался я, чувствуя себя наверху блаженства.

Засыпая, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете — мне было 27 лет, и я, разумеется, мечтал о будущем.

Но даже в самых дерзких своих мечтах я не мог представить, что стану тем, кем я стал в ноябрьское утро 1975 года, когда в квартиру Житницких, на улицу Ибн-Гвироль прибыл первый номер журнала.

Если помните, читатель, именно в этом месте я прервал сюжет, и теперь обязан его продолжить. Но что-то держит меня — и даже остановился табулятор. Что-то надо сказать, но я не знаю что. Как передать очарование момента, который нет у

меня красок описать. Я так долго к нему шел, и вот он наконец настал. Я сижу среди сложенных штабелями пачек журнала, которыми был заставлен не только наш пенал, но и все коридоры в квартире Житницких и частично даже Семина лаборатория. Да, начиналась новая жизнь — и то, что эта жизнь будет захватывающе прекрасной, у меня нет сомнений. Но как только я пытаюсь ее обрисовать в реальных рамках, все в моей голове рушится. Впрочем, какие-то обрывки в голове мелькают: "Современник", "Новый мир", Твардовский , мелькают без всякой связи с реальностью — с моими хозяевами Семой и Женюркой, с социалистической газетой "Аль Гамишмар", в которой я еще продолжал работать, с Хадар-Йосефом, в котором я еще продолжал жить...

Я чувствовал, как реальную жизнь вытесняют мечты. Мечты, до которых, начиная с этого дня, мне было подать рукой и будничным вещам, вообще, не осталось места. Какие еще будни, какой там Хадар-Йосеф, когда на Святой земле, в каких-то семидесяти милях от Стены плача, родился журнал, продолжающий традиции "Современника" и "Нового мира".Да, это выглядело, как чудо, и создателем этого чуда был я.

Я не уверен, что именно из этих фраз состояли мои тогдашние мысли. Но ощущения свои я помню и теперь, много лет спустя, пытаюсь их расщепить на фразы. Фразы, может быть, были другими — но сегодня для меня это не так уж важно. Я задаю вопрос: "Стал ли я иным в тот день, когда на земле Израиля родился журнал "Время и мы". И с грустью отвечаю: "Я остался тем же, кем был", ибо какие бы мечтания ни вспыхивали в моей голове — все это были старые и давно знакомые тексты, все та же единственная в мире сионистская газета, тот же фантастический Арриго, та же радиостанция "Свободный мир", и вот теперь единственный в мире русский литературный ежемесячник на Святой земле...

Я сижу в своем кабинете в Леонии и пишу эту книгу-комедию о своей жизни. Я — главный герой этой книги и ее главный персонаж. Это не очень приятно быть героем комедии, но что поделаешь — приходится им быть.

Одно из двух: или театр абсурда с затерявшимся в чреве Нью-Йорка журналом "Время и мы", на который без применения оружия все труднее подписать нормального человека. (Впрочем, при чем тут журнал! Будто без него вы не знаете, что это за театр, в котором все происходит!) Так вот, или он, этот театр, или... или вы хотите, чтобы я снова закрутил шарманку про то, как много вы обрели в мире высшей цивилизации и что за счастье видеть по вечерам разверзнутые в хлебной пасти гамбургеры и старичка-актера, что строит вам глазки.

Нет, вы не хотите шарманку, и потому я приглашаю вас в зрительный зал, в квартиру Семы и Женюрки Житницких, куда привезли первый номер журнала "Время и мы". И я, вновь испеченный главный редактор, — не сегодняшний, тогдашний — и потому распираемый от гордости и счастья, тискаю свое детище, не веря своим глазам. Я был творцом чуда, в которое еще должен был поверить, и не знал, какой с этой минуты станет моя жизнь. Но я не сомневался, что и она отныне пойдет под знаком чуда — под иным знаком она просто не могла пойти. Ах какая это была чушь с "Делом Тихомировых". "Дорогу авторам "Дела Тихомировых"!" Тоже мне, судьбоносный день. В сущности — то была вовсе и не жизнь, а жалкая прелюдия. Жизнь начиналась сегодня, в это утро, когда, сходя от счастья с ума, я сижу среди первых трех тысяч журналов.

Читать не хватало терпения. Поэтому я наугад открывал страницы и читал, что попадется, пытаясь поставить себя на место читателя.

Мне определенно нравился этот номер, к которому я испытывал настолько сильную тягу, что не мог оторваться. Я вертел его, вглядывался в строчки и заголовки, некоторые были чуть скошены, и меня охватывала бешеная злоба против монтажницы, я изучал печать и видел, что на каких-то страницах она была слабее. С Бениной стороны это было просто непорядочно — неужели не мог наладить пресс.

Я крутил журнал во все стороны и жаждал ощутить торжественность момента.

В редакции никого не было. Это была пятница: Пнина в этот день не работала, Сиголовскую я отпустил к родителям в Беер-Шеву. Я с надеждой смотрел на телефон: может быть, кто-то позвонит, но телефон молчал. И тогда я вдруг понял, что ведь никто на свете, кроме меня и Житницких, не знал о дне выхода журнала "Время и мы".

И тогда я сам стал звонить, всем по очереди, прежде всего жене, в поликлинику. Потом товарищу. Везде было без конца занято, и я понял, что в этот час вообще никому не дозвонюсь. Даже Житницких, как назло, не было дома.

Я снова стал листать. Некое шестое чувство мне подсказывало: что-то внутри подложено, но что и на какой странице, и действительно ли подложено — или это только мнительность — понять было невозможно. И, успокоив себя, что это только мнительность, я решил ехать домой.

Включил мотор и, положив перед собой журнал, медленно сквозь послеобеденный трафик продирался по улице Ибн-Гвироль на север. В какой-то момент я так засмотрелся на обложку, что чуть не врезался в бампер впереди идущего "Форда". Водитель-марокканец отворил дверь и, бросив мне в физиономию, что я "бен зона" (что в точном переводе с иврита означает "сын проститутки"), нажал на газ. Из спортивного интереса, я нагнал его и, когда машины сравнялись, я показал ему журнал. Увидев его, он покрутил у виска пальцем: похоже, ему было все ясно.

Дома никого не было — жена еще не пришла с работы, дочь была в школе, и лишь наш домашний пес Чарлик с радостным визгом бросился мне навстречу. Я вскинул его вверх и затем, медленно опуская, стал листать перед его вертящейся мордой страницы журнала: кто-то же должен был разделить со мной праздник!

В дверь позвонили, я открыл ее, на пороге стояла Сара.

— А что, мама дома? — спросила она.

Я ответил, что нет, мамы нету. Она хотела было уходить, но я ее задержал.

— Сара, вы знаете, у меня вышел первый номер журнала. Вот он...

Она присела на стул и, поправив очки, стала его рассматривать, но в темноте ничего не разглядев, положила обратно на стол.

— Сара! Это мой журнал "Время и мы"!

— Журнал? Переспросила она, — какой журнал?

Я вспомнил, что никогда Саре не рассказывал, что собираюсь выпускать журнал и что она просто не понимает, о чем я говорю.

— Понимаете, Сара, я решил выпускать литературный журнал, название — "Время и мы".

— Ах, журнал! — вдруг оживилось ее лицо. — А я-то думаю, чего это Витя мне сует. Глаза-то не видят. Раньше бывало все видели. Залман принесет газету — а он, сами знаете, какой чтец, — так я возьму эту газету и читаю весь вечер. Пока не прочту от корки до корки, так не встану, хоть гори все вокруг. А вы, значит, Витя, журнал выпускаете?

— Да, Сара, да! И вот первый номер!

— Ну и что там есть в этом журнале, что-нибудь интересное?

— Все, Сара, интересное, это самый интересный журнал.

— Это хорошо! — вдруг засмеялась Сара. — Мы у себя в ЖЭКе тоже журнал выпускали. "Еж" назывался. Так я чего смеюсь? Этот журнал был сатирический, мы в нем всяких разгильдяев прохватывали. Был у нас Востриков Иван, пьянь ужасная, жену колотил. Как надерется — просто ужас! Ну, вот, решили мы, значит, его в "Еже" протащить и нарисовали такую карикатуру: громадного ежа, Лялька Силина у нас художница была. Так вот, нарисовала она ежа, а на ежа Вострикова посадили. Голым задом, и карикатуру в красный уголок. Если б вы знали, как народ смеялся! Главное, Востриков к нам врывается и на меня с кулаками, да только не на ту попал: "А ну, пьянь, попробуй! Да тебе за покушение на общественницу знаешь что будет?" А наутро стучится так тихо-тихо. Тетя Сара, ты меня извини за вчерашнее, пожалуйста, я выпимши был. А у меня, Витя, знаете, как: нас не тронешь, мы не тронем, а затронешь — спуску не дадим! Пожалуйста, Востриков, на комиссию!

— Сара! Послушайте, о чем вы? У меня же совсем другой журнал, литературный.

— Я знаю, что другой, мы с Залманом в Вильнюсе все журналы выписывали: "Новый мир", "Октябрь", "Здоровье". На "Здоровье", правда, лимит был. И вот однажды меня обошли, так вы знаете, Витя, какого я им дрозда дала.

— Сара! — раздается откуда-то снизу, с лестницы, это уже Залман возвращается домой. — Сколько тебя ждать?

— Явился, не запылился! — встает Сара и берет журнал, — ну, что ж, почитаем. Только вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Если что не понравится, я прямо в глаза скажу. А то у меня была соседка, Сорокина, персональная пенсионерка. Так, грамотная была, образованная, но чуть что — в райком бежит и вот сплетни разводит.

— Сара! Ты идешь,в конце концов,или ты не идешь?!

— Иду! Иду! — смеется Сара, — а постоишь — тоже не растаешь.

Сара уходит, я снова остаюсь один и погружаюсь в журнал. И снова начинаю листать. Я чувствую в этом моем листании какая-то паранойя, но ничего не могу поделать.

В дверь снова звонок. Наконец-то жена! О господи, Котлович, со своими насаждениями. Определенно мне Бог за что-то мстит. Мысли лихорадочно мечутся: что же ему сказать? Может быть, я болен? Могу же я, в конце-концов, заболеть. Но — поздно!

— О Боже, как всегда, я не вовремя, — вплывает он в дверь, прижимая обе руки к груди, — как не вовремя!

— Да, адон Котлович, сегодня вы как-то не совсем. Но он, словно не слышит меня, и запускает руку в портфель.

— Как мне неудобно вас беспокоить! Как неудобно! — продолжает он, и список жильцов появляется на столе.

— Понимаете, адон Котлович! — решаю не сдаваться я, — у меня сегодня очень важное событие...

— О, что вы говорите, и я с этим списком!

— Да, адон Котлович, сегодня вышел первый номер моего журнала...

— О! Что вы говорите! И моего тоже! Какое совпадение! Наше министерство начало выпускать для своих сотрудников журнал "Кэцер" — ах, какой журнал, адон Перельман!

— Да нет же, нет! — теряю я терпение. — Я выпустил свой собственный журнал.

Котлович нежно берет первый номер из моих рук.

— О, как интересно! Как я рад за вас, адон Перельман! От всей души! От всей души! На каком же это, интересно, языке? На русском? И в такой день я смею врываться! У вас такое торжество, а я с этим списком. Кстати, адон Перельман, вы слышали, какая неприятность? Персы опять не хотят платить! О, если бы у вас была минутка, и мы бы вместе спустились...

Я вижу, как его указательный палец, мечущийся вверх и вниз по списку, притормозил возле моей фамилии. Почувствовав необратимость событий, я достаю чековую книжку и выписываю положенные за насаждения 145 лир 50 агорот. Он берет чек и, рассыпаясь в благодарностях, медленно пятится к двери.

— Адон Перельман! Всего вам самого доброго в вашей благородной деятельности, — он крепко жмет мне руку и, покосившись взглядом на чек, вдруг снова устремляется ко мне. Мне кажется, что переполненный восторгом, он хочет поцеловать меня, но он, сложив бантиком губы, едва слышно шепчет в ухо:

— Адон Перельман! А за персов, за персов забыли — 17 лир сорок агорот.

Я выписываю другой чек — мне кажется, что он никогда не уйдет, но вот за ним захлопывается дверь. Снова звонок, но теперь уже телефонный. Господи! Сколько лет, сколько зим! Гриша Майзлин звонит, чтобы поздравить меня с выходом первого номера.

— Причем не только от себя, Виктор, но и от ряда товарищей. Мы только сегодня утром говорили о тебе в ЦК. Я прямо им сказал: "Хотите, не хотите — а журналу надо помочь! Если не поможете вы, — это сделают другие. Хорошо я им сказал, прямо под дых! И между прочим, они меня знают, Виктор. Если я что-нибудь говорю, — это так и есть...

Кладу трубку и чувствую, как я устал, с семи часов на ногах, а ведь уже сорок шестой год, — не юноша! А сколько бы-

ло тогда? Двадцать семь? "Дорогу, товарищи, дорогу, идут авторы "Дела Тихомировых!"

Сидящий на коленях Чарлик пытается лизнуть меня в нос — единственное живое существо в пустой квартире. "Все, что было, все, что было, то давным-давно уплыло!" Все кануло в Лету! Но чудо? Неужто в такой день невозможно чудо? Я столько лет к нему шел... Мысли снова прерывает звонок телефона. На этот раз говорят из Неве-Шарета, какая-то пациентка жены.

— А что, доктор Перельман еще не дома? — поет она в трубку.

(Господи, за что? Я так устал, я все эти ночи не смыкал глаз, и вот теперь, в благодарность за все... Господи! Ты велик и всемогущ, избавь меня от нее!)

— А где все-таки доктор Перельман? Может быть, она на вызове? А это кто? Ее муж? Здравствуйте, вы, кажется, журналист? Между прочим, я уже давно хотела с вами поговорить. Дело вот какого рода. Мой племянник — тоже журналист, работает в газете "Ригас Балс", и, вы знаете, неплохо устроен. — (Господи! За что?!) — Так, вы знаете, адон Перельман, в каждом письме он мне крутит голову: ехать ему или не ехать? А что я ему могу сказать? "Бросай, Арон, все и приезжай!" Это я ему могу сказать? Нет, извините! Мы с мужем на себя такой ответственности брать не собираемся. Но что я, адон Перельман, подумала? Может быть, вы ему напишете! Где вы сейчас работаете? В "Нашей стране"? — (Боже, откуда взять силы? И почему в такой вечер нет рядом жены?!) — Где вы сказали, в "Клубе"?

— Нет, не в "Клубе", ни в каком не в "Клубе". Я сам выпускаю журнал!

— Вы выпускаете журнал? Ой, как интересно! Какой?

— "Время и мы"!

— Время и что?

— Не что, а мы!

— Так, может, у вас и для нашего Арончика будет место? Сколько у вас работников? Сколько? Адон Перельман, миленький, черкните пару слов! Вы хотите, чтобы я вам сейчас дала адрес?

Нет, это уж слишком! Какой адрес? Какой Арончик?! Пусть передаст все через жену.

— Пожалуйста, я постараюсь что-то сделать, но адрес, будьте добры, через жену, через доктор Перельман!

Я выключаю телефон, раздеваюсь и укладываюсь в постель. Журнал беру с собой. Пожалуй, надо все же перечитать. Я открываю первую страницу и чувствую, как слипаются веки. Сил хватает только на первую фразу...

Просыпаюсь далеко за полночь от криков, несущихся снизу, с первого этажа. Ну, конечно же: очередное побоище в квартире у персов. Грозные крики владыки сменяются жалобным тонким плачем: "Ани мета! Ани мета!" Я чувствую, что уснуть не удастся, но самое любопытное, что это обстоятельство на сей раз ничуть не огорчает меня. Я нежно, на ощупь, беру со стула журнал и зажигаю ночник. Журнал так и остался раскрытым на той же седьмой странице, которую я не смог прочесть. С этой страницы начинался Кестлер, это была первая страница прозы, с нее начиналась новая история моей жизни. Так, по крайней мере, я думал тогда.

Так вот, на этой судьбоносной странице я и обнаружил мину. Как обнаружил? Очень просто! Как я впоследствии их обнаруживал всегда. Делал я это блестяще, но всегда... с небольшим опозданием.

...Внизу горланили персы, и я никак не мог сосредоточиться и перешагнуть через первую кестлеровскую фразу: "Дверь камеры захлопнулась за Рубашовым". Скандал у персов затягивался. По-моему, подъехал полицейский джип.

Наконец, оторвавшись от первой фразы я перешел ко второй и затем к третьей — к описанию камеры, где сидел кестлеровский герой. В этом описании я вдруг, к своему ужасу, и увидел то, чему не хотели верить глаза. Грубая орфографическая ошибка! Вот она, эта фраза, сначала и до конца: "Справа у стены была койка, на ней лежали две довольно чистые простыни и соломенный матрац... Кран умывальника не работал, и параша не пахла: как видно, только что продезинф-ецировали". Это была четвертая фраза и седьмая строка романа, первая страница прозы и новая страница моей жизни, которой суждено было начаться с этой нелепости.

За окном светало, крики в квартире персов стихли, и полицейский джип, судя по всему, уехал. А я (который раз!) перечитывал эту страницу и пытался представить реакцию читателя. Конечно же, увидят! Все увидят! А кто пропустит — не преминут просветить. Ах, сколько же будет доброхотов! Я даже представлял все в лицах: "Послушай, читал журнал "Время и мы"? Видел, чего они отчебучили? П р о д е з и н ф е ц и р о в а л и? Через "е". Понял? Издатели! Грамотеи! Правила бы поучили!"

Первыми заметят наши доблестные пенсионеры, которые завалят редакцию возмущенными письмами. "Уважаемые господа! Дозвольте задать вам вопрос, как это могло случиться? В самом первом номере литературного журнала, на первой странице, в четвертой фразе, в седьмой строке..." О, эти-то подсчитают все! И раззвонят всему миру, и пойдут письма в редакцию. Бог явно сводил со мной счеты, я не знал, за что, но без его злокозненного вмешательства всего этого не могло произойти. В такой-то день... Когда я ждал чуда.

Дверь в редакцию мне открыла Женюрка, она была все в том же китайском пеньюаре, вся благоухала и сказала, что они с Семой приглашают всю редакцию на маленький сабантуй по случаю выхода первого номера.

— Салют, редактор! — приветствовал меня из столовой Сема.

Он торжественно восседал в кресле на председательском месте. Справа от него благоухала Виолетта, слева празднично улыбалась маленькая седовласая Пнина. Были тут еще две каких-то Женюркиных приятельницы. Сема долго выковыривал пробку из бутылки шампанского, наконец она выстрелила, едва не угодив ему в лоб. Но он бутылку быстро перевернул и, налив каждому, сказал, что пьет за журнал "Время и мы".

А у меня не выходила из головы ошибка. Когда Сема поднял новый бокал, теперь уже за второй номер, и стал разводить канитель, чтобы в нем не повторялись ошибки первого, и даже вспомнил про рабби Штейнзальца, я не выдержал и прервал его. И у всех на глазах вытащил из рядом лежащей

пачки верхний экземпляр и, раскрыв его на седьмой странице, сообщил о случившемся.

Женюрка первая прервала наступившее гробовое молчание.

— Ну что, что случилось? — воскликнула она. — Чтобы это было у вас, Виктох, последнее несчастье. Ну так неправильно написали эту дезинфекцию! Агиц ин паровоз!

— Нет, нет, подожди, Евгения. Я принципиально с тобой не согласен, — прервал ее Сема. — Что значит — агиц ин паровоз? Это, знаешь, куда мы так уйдем. У меня вопрос к нашей уважаемой Виолетте. Скажите, мадам, вы, когда читали, знали, как это слово пишется, или не знали?

— Ай, Сема, что ты лезешь к ней в душу! — воскликнула хозяйка. — Знала, не знала, что за глупый вопрос?

— Ну, если я задаю глупые вопросы, то вообще обходитесь без меня! — поднялся Сема и вышел из столовой.

— Обиделся! Обиделся! — весело воскликнула Женюрка и побежала вслед за ним. Ее приятельницы тоже встали из-за стола и, пожелав мне творческих успехов, сказали, что им пора.

Я же подошел к Виолетте и едва слышно, но со значением (ох, с каким значением!) спросил:

— Ну, что вы скажете как корректор?!

— Что я могу сказать? — скромно потупила она взор. — В жизни все бывает.

— В жизни? — переспросил я. — Это смотря в какой жизни.

— Что вы хотите этим сказать?

О! Я хотел ей кое-что сказать, но вдруг понял, что все, что бы я ни сказал, не имело значения. Оставался, в сущности, один выход: исправить чернилами "е" на "и" во всех трех тысячах экземплярах.

— По-моему, идея гениальная, — сказал Сема. — Евгения! Сколько у нас ручек?

— Виктох, вы сошли с ума, вы же будете исправлять два года...

Но Сема уже нес из столовой три авторучки, и к десяти вечера мы уже закончили тысячу семьсот экземпляров. Ис-

правляли все, кроме Семы. То есть Сема тоже что-то делал, но главную свою задачу он видел в том, чтобы не допустить промедления.

— Темпы, друзья, темпы! Сиголовская, Женюрка, да вы же так никогда не кончите!

Но больше всех он мучил старенькую Пнину.

— Пнина, что это у вас за "и" — не "и" — а какой-то инвалид отечественной войны! Вот как "и" делается, — показывал он ей, выхватив ручку. — Раз, еще раз — и диагональ. Небось еще до революции учились. Признайтесь, когда учили алфавит? Ну, давайте еще: раз — палка, два — палка, диагональ!

— Сема, что ты хочешь от Пнины? — вмешивается Женюрка. — У нее же чудесно все получается. Пниночка, он просто к вам неравнодушен!

— Ой, клякса! — восклицает Сема и, отбросив испорченный им журнал, говорит: — Все, на сегодня хватит, пора браться за опыты.

Сема выходит из столовой, но тут же снова возвращается к Пнине.

— Ну, как, уважаемая, усекли? Вижу, плохо усекли. Любое дело требует умения. Вот смотрите, моя жена тоже ведь не сегодня гимназию кончила, а какое у нее "и", сравните ее "и" и ваше. Кстати, редактор, пока женщины здесь работают, у меня к тебе разговор.

И, прихватив с собой журнал, Сема приглашает меня в столовую.

— Я, редактор, хотел с тобой поговорить, как мужчина с мужчиной. "Дезинфекция" — это все печки-лавочки. А вот то, что у тебя антисоветчина на каждом шагу — это посерьезнее! — Он пожевал губами, почесал за ухом, что-то собираясь сказать еще, но никак не решаясь. — Ну в общем так: если гебешники взорвут нас, что ты тогда скажешь?

— Не взорвут! — ответил я.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю! — со злостью ответил я и отправился обратно в наш пенал, где во всю кипела работа.

Закончили на другой день, к полуночи. То есть заканчивал

я один. Из спальни доносилось мерное посапывание молодоженов. Пнину и Виолетту я давно отпустил, полагая, что как редактор обязан уйти последним. Часы в коридоре пробили двенадцать. На среднем пальце выросла мозоль. Страшно ломило спину. Я положил на место последний десяток исправленных журналов — всего исправлено было две тысячи девятьсот девяносто один. Шесть оказалось бракованными и три испортил Сема.

"Время и мы" снова был самым грамотным русским журналом. Чудо свершилось! Я подумал, а что, если бы все это случилось в "Современнике"? Нет, нет, в "Новом мире" у Твардовского.

И вот вам картинка. Занавес. Твардовский с Дементьевым и Дорошем, рассевшись по-турецки на огромном ковре, среди заставивших весь кабинет Твардовского журналов, что-то медленно колдуют над каждым номером. Только сейчас замечаю, что я тоже на полу и никак не могу встать. Я представляю, как встают Дорош с Дементьевым, и мне становится весело. Я отряхиваю брюки и снимаю с вешалки свое вечное кожаное пальто.

— Редактор, а редактор! — горланит во всю мочь из спальни Сема, — не забудь дверь на ключ запереть. Женюрка, ты ему ключ оставила?

— Оставила, оставила, что ты, Семка, за человек...

Я выхожу на лестницу, иду не спеша вниз, и над головой моей так же медленно и не спеша опускается занавес.

САГА О ЧЕРЕМУХЕ

Вот сменяются перед вами, читатель, сцена за сценой и, очертя голову, мчитесь вы со мной вперед, словно бойкая, необгонимая тройка, и смешно вам временами, и кто знает! — может быть, про себя думаете, какое это славное занятие писать про свое прошлое разные веселые истории. И не исключено, что где-то в глубине души завидуете мне: ах, как лихо у него все это получается с этим редактором порнографичес-

кого ревю Сегаловым-Фрумкиным, и его машинистской Сарой Лазаревной, и другим главным редактором и гением нашей эмиграции Немой Горфинкелем, и с этим первым номером журнала "Время и мы", появление которого провозгласил на весь мир выскочивший на лестницу в своих синих москвошвеевских трусах Сема Житницкий.

Но поверьте, что вся эта лихость — только иллюзия. Вы и представить себе не можете, какие это несусветные муки писать комедию про живых персонажей, которые готовы вам все простить, кроме желания представить их такими, какие они есть. Нет, нет, вам только мнится эта тройка и этот пересмешник автор, развлекающий вас веселыми историями. А я стучу вот уже шестой месяц по тугим клавишам моей, еще из России, железной "Оптимы", упершись глазами в дом моего соседа Винограда и чувствую, как немеют пальцы от бесконечных переделок написанного. Бывает и день уходит впустую, и два — и мчится вперед не бойкая, необгонимая тройка, а ворох зря исписанных листов с присвистом летит в корзинку.

А бывает, обессилевши, я встаю из-за стола и, привязав на поводок своего состарившегося за последние годы Чарлика, отправляюсь бродить с ним по Леонии.

— How are you! — еще с крыльца я вижу солнечную улыбку соседа напротив, которого всегда путаю с его кузеном.

— Fine! — с трудом выдавливаю я и бреду себе с Чарликом вверх по нашей Хайвуд-авеню, затем сворачиваю на Полин-бульвар, а оттуда вниз, на Парк-авеню — и обратно к дому.

Чарлик — чья порода так и осталась для меня загадкой со дня его рождения в Израиле — самое общительное существо на Хайвуд-авеню. В свои девять с половиной лет (хоть они и равны моим пятидесяти четырем) он все еще холостяк. И, выросши на вольных и шумных улицах Хадар-Йосефа, ведет себя в Леонии, как потерявший голову, провинциальный Дон-Жуан, забывший, что вот уже третий год живет в мире высшей цивилизации.

Вырвавшись из дому, он тащит меня за поводок из стороны в сторону и сладостно обнюхивает своим кожаным носом

каждый клочок земли. У каждого столба он делает свои собачьи дела, бесстыдно вскинув заднюю лапу и провожаемый подозрительными взглядами из окон — как бы не отважился на худшее, за что хозяин, прозевавший "священнодействие" подлежит немедленному штрафу.

А он, ничего не подозревая, вдруг заливается призывным дон-жуанским лаем. Этот лай особый и прорезается лишь тогда, когда он чует близкое присутствие дамы, ради которой готов пойти на самое тяжкое преступление, — вырваться из ошейника и умчаться навстречу сладостной неизвестности.

Ах, как все просто было там, в Хадар-Йосефе, где бродячие дамы и кавалеры (не имеющие и понятия о высшей цивилизации!) веселыми стаями носились по улицам и при всем честном народе крутили свою собачью любовь.

По правилам, действующим в Леонии, Чарлик вообще лишен права заводить романы. И когда однажды ночью, вырвавшись на Полин-бульвар, он пытался это сделать, то хозяйка его возлюбленной тут же вызвала наряд полиции.

Дело о ночном похождении Чарлика кончилось судом, взыскавшим с меня штраф в размере двадцати пяти долларов, — за нарушение какого-то там параграфа, оберегающего в ночное время покой жителей Леонии.

Потерпев фиаско, Чарлик больше не рвется на просторы Леонии, а, примостившись возле моего стола на старинной дубовой кровати, часами пролеживает на ней, мечтая о чем-то прекрасном и несбыточном. Это широченное, колониального стиля ложе с витыми столбиками по углам и резной деревянной спинкой у изголовья — главная достопримечательность, доставшаяся нам от бывшей хозяйки дома миссис Дарлинг. И тяга к нему Чарлика каким-то фантастическим образом стала передаваться мне.

Случается, что посреди работы над книгой я встаю из-за стола и лениво, прямо в костюме, плюхаюсь на старинное атласное покрывало. Растянувшись на нем во весь рост и уставившись в старинный китайский плафон с висячим шнуром для включения света, я предаюсь вместе с Чарликом разным поэтическим мечтаниям. Мне кажется, что предмет наших мечтаний — один и тот же.

И я и он мечтаем о черемухе (хотя и вкладываем в это понятие разное содержание). Что понимает под ним Чарлик, читатель, верно, догадывается. Но что понимаю я? О, если бы я мог это объяснить!

Когда-то это были Быковские лужайки, и моя любимая подмосковная дача в Первомайском поселке, и мои очаровательные соседки, сестрички Крыловы, в которых я был поочередно влюблен. Когда это было? В какую эпоху?

Но, оказывается, что и в мире высшей цивилизации, среди воротил Уолл-Стрита,человек не может без черемухи, чему я сам являюсь убедительным подтверждением.

...Вот, миновав Сорок вторую стрит, я переступаю порог своего офиса. Утро. Обычно полутемная наша комната залита светом, и я вижу на своем столе рукопись нашего старого и любимого автора — о, как я ждал эту вещь! — таких авторов почти не осталось в эмиграции, все захлестнул поток папок, увенчанных старинной золотой вязью. Завтра, а может быть, уже и вечером я залягу в свое колониальное с резной спинкой ложе и буду читать и наслаждаться: ее мыслями, цветами, запахами... А в ногах у меня примостится Чарлик и, уткнувшись кожаным носом в окно, будет вспоминать свою буйную молодость на шумных и вольных улицах Хадар-Йосефа.

Под рукописью, которая обещает мне столько удовольствия, целая гора подписок и чеков — один, другой, третий...

— А что, Гилдесман не передавал мне привета? — спрашиваю я свою правую руку и зама.

— Нет, не передавал! Он вчера улетел в Израиль и будет только к концу месяца!

— Смотрите! — восклицаю я, — ни одного счета и платежки!

В комнате становится еще светлее, и солнце, прорвавшись сквозь каменный колодец, куда выходит наше окно, веселыми зайчиками гуляет по всем углам. И моя правая рука и зам так нежно перебирает пальчиками клавиши композера, что его звуки чем-то напоминают мне "Лунную сонату" Бетховена. И я не знаю, сколько еще дней эта моя жизнь была бы сплошной черемухой, если бы не взрыв, потрясший весь наш отсек 511-А: лопнул наш самый перспективный и имевший

столько завистников бизнес — "Мумие Инкорпорейтед". Из далекой Индии на Пятую авеню перестало поступать целебное мумие.

Однако, будучи свидетелями этого драматического события, мы еще раз убедились, что Америка — страна великих возможностей. Ибо не прошло и недели, как на месте "Мумие Инкорпорейтед" возник во много крат более перспективный бизнес — "Астролоджи Инкорпорейтед", и его создатель, наш старый знакомый Нолик Вольман, теперь уже действительно семимильными шагами идет к своему первому миллиону. Так вот, я вас спрашиваю: что все это значит — неужто лишь презренный металл или какая-никакая, а черемуха?

Кстати, к вопросу о прозе жизни и черемухе. Недавно в нашем отсеке чуть не возникла еще одна корпорация — может быть, самая фантастическая в Нью-Йорке, который, как все мы знаем, непросто удивить. Но эта одним своим названием заставила бы содрогнуться любого из воротил Уолл-Стрита. Так вот, мы получили шанс заиметь по-соседству издательскую фирму, именуемую ни более ни менее, как "Лазарь Каганович Публикейшен".

Вы скажете: "Фантасмагория! Чертовщина! Какая связь между воротилами Уолл-Стрита и бывшим сталинским наркомом, а ныне пенсионером республиканского значения девяносто двухлетним Лазарем Моисеевичем Кагановичем!"

Я уже не раз подчеркивал, что в этом мире все со всем связано: тексты и жизнь, прошлое и настоящее, презренный металл и черемуха. Только на фоне этой всеобъемлющей диалектической взаимосвязи мы и можем понять тот факт, что Лазарь Моисеевич Каганович, еще в бытность свою железным сталинским наркомом, имел в то же время кучу братьев и сестер в Америке.

И хотя на все вопросы, имеете ли вы родственников за границей, он отвечал "нет", его братья и сестры (будучи фактом объективной реальности) продолжали как ни в чем не бывало здравствовать. И не только здравствовали, но и рожали детей, то есть племянников железного наркома, один из которых, будучи человеком амбициозным, и вспомнил о суще-

ствовании в Москве опального дяди. И более того, задумал даже создать бестселлер под сногсшибательным заголовком "Мой дядя Лазарь" – в котором поведал бы миру о героическом пути верного соратника великого Сталина Лазаря Моисеевича Кагановича.

Все дальнейшее в зтой истории происходило в лучших традициях бессмертного Конан Дойля. Скрыв от кого следует о своих родственных связях с Лазарем Моисеевичем, его племянник под видом невинного американского туриста пробрался через черный ход в квартиру своего дяди на Фрунзенской набережной и в один прекрасный день предстал перед его не столько невинными, сколько испуганными очами.

По ходу дела выяснилось, что бывший "железный нарком" еще не забыл идиша. Однако, отвечая на нем своему американскому племяннику, дядя Лазарь, как, впрочем, и его жена тетя Роза, все время с опаской поглядывали на потолок, где, по-видимому, со дня их поселения в эту обитель была установлена подслушивающая аппаратура.

Что за содержательный разговор происходил в этих условиях между дядей и племянником, мы можем только догадываться. Но, вернувшись из России, последний пришел к выводу, что отныне делом его жизни должен стать героический бестселлер о сталинском железном наркоме – "Мой дядя Лазарь".

К чести его автора,он сразу же решил раскрыть все свои карты руководителям партии и правительства и лично товарищу Юрию Владимировичу Андропову, которые в ответ на этот порыв ответили черной неблагодарностью. Они безо всяких причин отказали племяннику Лазаря Моисеевича во въездной визе, лишив его таким образом возможности встретиться с его любимым дядей и героем будущего бестселлера.

Однако все это лишь предыстория. История начинается с того, что к нам на Пятую авеню явился один мой знакомый, сотрудник весьма известной переводческой компании Нью-Йорка и положил мне на стол целую папку написанных на английском писем. Это были письма всем членам Политбюро – от Андропова до Романова, – а также в ряд международ-

ных организаций по правам человека, в которых автор протестовал против нарушения Хельсинских соглашений, требовал предоставления ему права на въезд в СССР для написания книги "Мой дядя Лазарь".

По словам знакомого, дело разворачивалось нешуточное, и ряд международных деятелей уже заявили о новом проявлении антисемитизма со стороны андроповского руководства. И более того, заявили о своей готовности вмешаться и сделать все от них зависящее, чтобы книга о жизни Лазаря Моисеевича Кагановича увидела свет.

— А может, он захочет и по-русски толкнуть? — сказал мой знакомый переводчик. И вот тут-то он и высказал мысль о создании в нашем офисе еще одной корпорации — "Лазарь Каганович Публикейшен". И спросил, как я смотрю на это предложение. "Все в моем бизнесе идет как надо, — подумал я, — и новые подписки,и новые рукописи, и тиражи растут... И единственно, чего мне теперь не хватает — это засесть за бестселлер "Мой дядя Лазарь" на русском языке!"

Ну, а что вы скажете, дорогой читатель? Про дядю Лазаря и его племянника? И про вмешательство в их историю мировой общественности? Что это — опять-таки жалкая проза или какая-никакая черемуха?

Однако вернемся в мой офис, где моя правая рука и зам наигрывала "Лунную сонату" на нашем композере. В такие минуты мне всегда приходят в голову светлые образы.

Я уже упоминал, что характер у моей правой руки не сахар, и идиллия, наступающая время от времени в наших отношениях, продолжается недолго.

Дело в том, что на мотив "Лунной сонаты", которую она наигрывала на композере (на что не пойдешь, чтобы привнести в свою жизнь немного черемухи!), на самом деле исполнялась предыдущая глава моей книги, в которой я рассказывал о появлении первого номера. И как всегда, по поводу написанного мной, у моей правой руки нашлись свои соображения, не имеющие к гениальному Бетховену никакого отношения.

— Ну, что это за душевная нещедрость! — восклицает она, и

я чувствую, как "Лунная соната" сменяется "Танцем с саблями". — Ведь в этой главе у вас никого, кроме вас самого, нет! (Нескромность — в глазах моего зама высшее моральное преступление автора.)

— Это вы просто так говорите, оттого, что плохой оригинал и вам неохота набирать! — отбиваюсь я, уже забыв про всякую черемуху и мечтая только о том, чтобы она закончила набор.

— Нет! Нет! — свистят саблями под ее пальцами клавиши. — Оригинал тут не при чем! Просто это не "комедийно-философское повествование", а панегирик в собственный адрес!

Она чувствует, что перехватила, и звуки свистящих сабель снова сменяются нежными переборами клавиш.

— Я бы могла, Виктор, вам этого и не говорить, но ведь вы сами знаете, как будет неприятно, если все они на вас набросятся.

"Они" — на нашем условном языке — это эмигрантская печать, которая только и ждет удобного момента, чтобы сравнять с землей журнал "Время и мы" и его редактора.

— Что, вы один выпускали журнал? — вдруг снова вырывается из композера сабельный свист. — Один? Да? И никто его не оформлял? И никто не переводил Кестлера? И не было членов редколлегии?

Этот свист, мгновенно заглушивший Бетховена, повергает меня в уныние. Права она, права! И не поможет мне никакая черемуха, ибо вот уже грядет мой судный день, когда "они" подвергнут меня справедливой процедуре четвертования — за всех, кого я обошел, не заметил, недооценил!

Но как избежать четвертования? Чтобы настроить моих врагов на чарующие звуки "Лунной сонаты", я готов — ни секунды не медля — подбросить черемухи и рассказать о всех неупомянутых и недооцененных.

С кого начать? Да вот, хоть со Льва Ларского, отца русскоязычной печати в Израиле. В прошлом наш Кукрыниксы и Иван Федоров, а ныне скромный труженик пера и рейсфедера тель-авивского института картографии. Он и сейчас стоит перед глазами как живой и неувядающий символ черемухи.

Итак, занавес. На одном конце провода я, на другом — наш художник Ларский. Как старые знакомые, мы называем друг друга исключительно по фамилиям.

— Здорово, Ларский!

— Здорово, Перельман!

— Хочу тебя попросить, Лев, сделать обложку для моего журнала.

— Ох, Перельман, чует мое сердце, что втравляешь ты меня в авантюру.

— Но это же благородное дело, Лев, — литературный журнал!

— У всех, у вас, Перельман, благородные дела...

— Но мы же заплатим...

— Знаем, как вы платите!

— Но, Лев, самый последний раз!

— Знаем эти последние разы. В общем, дай мне подумать.

Ларский подумал и, спустя две недели, принес макет обложки журнала "Время и мы", которая и по сей день украшает наше издание.

А вот и еще черемуха: мой диалог с будущим переводчиком Артура Кестлера Георгием Беном. С Беном мы были знакомы недавно и потому звали друг друга исключительно по именам.

— Здравствуйте, Жора!

— Здравствуйте, Виктор!

— У меня к вам интересное дело — не возьметесь ли за перевод Кестлера для нового журнала?

— За перевод Кестлера? Гм. Но простите, Виктор, за прозаический вопрос: кто будет платить?

— Будем просить для вас стипендию в Министерстве абсорбции.

— Гм... Стипендию? А сколько это в месяц?

— Шестьсот лир, Жора!

— Гм... Не очень! Но разрешите подумать.

Жора подумал и через неделю приступил к работе. Его перевод "Тьмы в полдень" Кестлера остается лучшим по сей день.

И, наконец, редколлегия журнала. Но это уже была чистая черемуха. Ибо никто из ее даже самых знаменитых членов и не заикнулся о презренном металле. Зато какие появились имена! А могли быть и еще более громкие, просто скромность мне помешала: И все благодаря нашему старому знакомому Боре Залмановичу, бывшему заву русским отделом партии "Авода", а ныне посланнику Южно-Африканской республики Бонвада в Израиле (или наоборот — посланнику Израиля в республике Бонвада) .

Узнав о моих планах издавать журнал, Боря сам позвонил мне в редакцию и, нежно меня поприветствовав, сказал:

— Фигуры нужны тебе в редколлегию, фигуры!

— Да, нужны фигуры, — согласился я, — но где их взять?

— Ну это ты, Виктор, поручи мне, — уверенно ответил на другом конце провода Боря. — Кого бы ты хотел? Голду Меир? Игала Алона? Абу Эвана?

— Да, нам бы можно и поменьше, — нерешительно пробормотал я.

— Ну ладно, — великодушно заметил Боря, — для начала дадим тебе Йосефа Текоа, он только что вернулся из Нью-Йорка, с Совета безопасности. Ну и еще, пожалуй, Ярива, начальника израильской разведки... Сегодня оба получат по звонку из ЦК.

О, как же был прав Гриша Майзлин, утверждая, какая это сила — партия Бен-Гуриона. Назавтра после разговора с Борей я позвонил представителю Израиля в Совете безопасности Йосефу Текоа.

— Шолом, адон Текоа! — говорит редактор журнала "Время и мы" Перельман. Не согласитесь ли стать членом нашей редколлегии?

— Шолом, адон Перельман. Очень рад вас слышать. Членом редколлегии? Да мне только что звонили из ЦК. Простите, а что мне придется делать в этой должности?

— Ровным счетом ничего, адон Текоа, только имя.

— Так меня и информировали в ЦК, адон Перельман. Ну что же, ответ положительный!

В разговоре с генералом Яривом вышла маленькая заковыка. Генерал ни одного слова не знал по-русски.

— Ну это уж сущая чепуха! — успокоил я его на иврите. — Нам нужно ваше имя, а язык у нас есть свой.

— Так меня и информировали в ЦК, — сказал генерал Ярив. И в составе нашей редколлегии появился начальник израильской разведки.

Вот я и восполнил пробелы, в которых могли меня упрекнуть будущие критики и о которых напомнила мне моя правая рука своим "танцем с саблями".

Да только гложет меня червь сомнения — удовлетворятся ли "они" этим и не поставят ли со всей принципиальностью вопроса, который вот уже много лет не дает покоя моим доброжелателям. Недаром я даже книгу начал с этого самого загадочного феномена нашего журнала: "Если он такой уж независимый и беспартийный, то на какие деньги живет? И откуда их получил с самого начала? Про полтора номера мы знаем — но откуда остальные?"

Черемуха черемухой, джентльмены, а от презренного металла никуда не уйти. Так что придется рассказать всю правду. Все равно рано или поздно обо всем дознаетесь. Так что уж лучше самому покаяться и не тащить на себе тяжкого груза. Зато, как же полегчает после всеочищающего покаяния!

Впрочем, наш читатель — стреляный воробей, и одного покаяния ему недостаточно. Помните, как учил самый выдающийся правовед нашей эпохи Андрей Януарьевич Вышинский: "Признание — признанием, но нужны и факты, подтверждающие это признание".

Так вот, перехожу к фактам, как получил я на журнал деньги от одной из самых могущественных, влиятельных и разветвленных организаций современного мира. Я вошел с ней в соглашение на таком уровне, какой не мог присниться моим самым въедливым и проницательным критикам. Да, я имел личную встречу с председателем этой организации, которому, прежде чем получить деньги, изложил свой план — создать журнал, имеющий целью подчинить своему влиянию всю советскую эмиграцию в Израиле.

Вначале председатель поморщился, усомнившись в эффективности моего предприятия. Но потом, сменив гнев на ми-

лось, заметил своему помощнику, что "этот еврей ему чем-то нравится", и велел спустить соответствующее распоряжение по инстанциям и, в частности, своему главному агенту в Тель-Авиве Исраелю Бен-Хаиму, начальнику олимовского отдела Израильского банка развития. Опережая события, скажу, что от этого последнего я и получил чек на 40 тысяч долларов.

Ну, джентльмены, ну! Вы уже так близки к цели! Еще мгновение, и раскроется тайна, годами лихорадившая моих коллег: откуда Перельман получил деньги на журнал "Время и мы"? И если есть у меня оправдание, то одно-единственное: не один я получил деньги от этой организации, но и будущий владелец русско-еврейского ресторана "Березка" Лева Вайсман и будущий хозяин Хайфской бензоколонки — Йося Рубин, и создатель кооператива "Строитель" Пиня Мессер. Сотни новых олим получили деньги из той же организации, откуда получил их журнал "Время и мы" и чье название — Сохнут — я уже вскользь упоминал в этой книге.

Надеюсь, что и вы имели в виду именно эту организацию, когда жаждали услышать от меня всю правду. Эту или другую? Но, если другую, то я не знаю, джентльмены, сколько извилин надо иметь в голове, чтобы поверить, что я был удостоен личной встречи с председателем той, другой! К тому же, если вы помните, председатель говорил со мной на идиш. Или вы думаете, что Юрий Владимирович Андропов (который, как мы знаем из осведомленных источников, знал три иностранных языка) ради того, чтобы меня завербовать изучил еще и идиш?

Но, с другой стороны, если все было так порядочно, то к чему эти речи о всеочищающем покаянии? Отчего не тянет на него ни Леву Вайсмана, ни Йосю Рубина, ни Пиню Мессера — а лишь одного меня? Да все оттого, что при всей широте председателя (нет, не Андропова, а Сапира!) от меня потребовалось ни много, ни мало, как доказать, что "Время и мы" станет таким же выгодным бизнесом, как ресторан "Березка" Левы Вайсмана или хайфская бензоколонка Йоси Рубина.

И вот тут-то я и пошел на шаг, граничащий с клятвопреступлением. Я заявил и подписал, что журнал "Время и мы"

будет покупать каждый третий оле из СССР и каждый месяц мы будем выбрасывать на книжный рынок 20 тысяч экземпляров и ежемесячно будем получать по 3 тысячи долларов дохода.

— Не много ли? — усомнился в этом месте начальник олимовского отдела Банка развития Бен-Хаим.

— Нет, не много! — ответил я и показал ему красочную листовку: "Время и мы" — каждой олимовской семье!"

Да, мои прогнозы оказались несколько завышенными. Просчитываются и большие экономисты! Почему же не мог просчитаться я? Да и на много ли просчитался? Ну так, не 20 тысяч, а две тысячи экземпляров выбросили на книжный рынок. Ну, так имели не три тысячи прибыли, а три тысячи убытков. Но ведь не разорились же, нет! А вот Лева Вайсман с Йосей, не прошло и года, как объявили банкротство. Ну и что же: объявили и живут. Лева открыл кафе "Пирожок", а Йося — небольшую шашлычную возле Западной Стены плача. Делают, как говорил один из моих героев, деньги (а кто из евреев их не делает!) и не разводят никаких антимоний про какую-то там черемуху или всеочищающую силу покания.

Часть третья
НАХМАНИ, 62

МОЙ АТЛАНТИК-СИТИ

Где бы вы сегодня, читатель, ни жили — в Тель-Авиве, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, я прошу вас прислушаться к моей просьбе. Если вы обнаружите в своем почтовом ящике тоненькую книжицу под заголовком "Лефортовская одиссея" с предложением приобрести ее за 70 центов, то знайте, что это творение принадлежит моему ученику. Пусть вас не смущает, что вы обнаружите лишь пятый или тридцать седьмой, или сорок третий выпуск этой эпопеи — практически нет конца у этого произведения, автор которого был к тому же и учеником Станиславского, Меерхольда, Вахтангова и даже Эммануила Каминки, одевал и обувал все краснознаменные ансамбли Красной армии, выполнял личные задания товарища Сталина и товарища Ворошилова и, отсидев за все это восемнадцать лет, привез на свою историческую родину рукопись объемом в 1570 страниц. Тут, на склоне лет, он и поступил в журнал "Время и мы" и на посту моего зама по адмхозработе начал новую литературно-творческую жизнь.

Раскройте, дорогой читатель, первые страницы полученной книжицы, и вы тотчас уткнетесь взглядом в предисловие "Израильские интеллектуалы о творчестве писателя Григория Шацмана". Из этого предисловия вы и узнаете, что перед вами произведение не обычное, а так сказать, книга века, в потрясающей художественной форме рассказывающая о страданиях, выпавших на долю ее автора.

О! Я просто не в силах повторить, какими словами тут сказано о книге Григория Шацмана. Что там Солженицын или какой-нибудь там Войнович, или Владимов! Что они видели? Что прошли? Ну, а если вам и бросятся в глаза какие-то длинноты или повторы или еще что-то, не потрафляющее вашему снобистскому вкусу, — умоляю вас, не обвиняйте автора — это я подвигнул группу израильских интеллектуалов дать ему дорогу в большую литературу. Так что не поскупитесь послать ему 70 центов, и даже если он попросит семь раз по 70 центов — все равно пошлите, ибо поддержать такого человека — это, как говорят у нас евреев, — мицва.

Возможно, и в нем самом не все вызовет у вас восторг и даже смутит некая дисгармоничность его поступков, ну, например, неправильное отношение к женщине. Ну так и что? Разве Остапа Бендера вы любили за то, что был он примерным семьянином или идеалом человека и коммуниста? Так вот, если бы он на ваших глазах состарился и написал полторы тысячи страниц мемуаров, — неужто вы не проявили бы внимания к его судьбе?

Я позволил себе сделать этот вираж в сюжете исключительно из-за своей неприязни ко всякой логике и гармонии, ко всякой цели и преднамеренности.

Я верю лишь в случай и с гимна случаю начинаю эту главу. Если бы моя жизнь развивалась по законам логики, то я бы давно закончил свой тихий и бесславный путь. И точно так же, в тиши и безвестности, закончил бы свой путь журнал "Время и мы".

Скажите, что мне следовало делать с чеком в сорок тысяч долларов? Помните, что я получил в банке развития, по распоряжению Пинхаса Сапира? Яснее ясного: купить бумагу на

печать очередных номеров. Дать рекламу в газету "Наша страна", снять новый офис и купить для него новое оборудование и мебель.

Так вот, как-то на досуге я подсчитал, что при таком логичном и разумном подходе мне указанных сорока тысяч хватило бы ровно на шесть месяцев, а следовательно, по законам логики журналу предстояло лопнуть на седьмом номере.

Ну, а если помог случай, то, может быть, вам интересно, как все было? Не пытайтесь только догадаться — все равно не поверите в то, что произошло. Ну, например, что играл я на журнал в Атлантик-Сити и чуть не проигрался (все было почти что так). Не в Атлантик-Сити, так на израильской бирже — ну сорок тысяч-то заложил, на них-то играл — вот во что попробуйте поверить!

Можно, конечно, до скончания века говорить о сохнутовской ссуде. И о том, что министерство абсорбции в конце концов выдало две стипендии — одну Виолетте, другую — переводчику Жоре Бену, но я-то, зная, что почем, хочу выдвинуть на авансцену совсем другое лицо — не имеющее отношения ни к алие, ни к журналу, ни к какой логике и ни к каким бойким, необгонимым тройкам. Лицо это совершенно случайное, никакого отношения к литературе не имеющее, к тому же и религиозное — знаете, такой маленький религиозный еврей, с рыжими пейсами и сидящий в самом дальнем углу того самого отделения банка "Дисконт", которое располагалось на углу улиц Ибн-Гвироль и Каплан и где у журнала "Время и мы" существовал счет. Так вот, этот рыжий Хези (так звали этого еврея), может быть, сам того не подозревая, и явился мессией журнала "Время и мы".

Впрочем, вначале все развивалось по законам логики. Получив чек на сорок тысяч долларов, я отправился в банк "Дисконт" и, положив его на счет журнала, оглянулся по сторонам. Мог, конечно, и не оглядываться, а вот оглянулся, хотя и без всякой мысли, что этот поворот головы решит судьбу журнала, что еще мгновение — и увижу в окошке мессию журнала "Время и мы". Единственно, чем оно привлекло мое

внимание, что не было над ним никакой вывески — "Обмен валюты", "Ипотечные ссуды", "Овердрафты" — везде что-то было, а тут — только еврей в ермолке, что-то бормочущий и наигрывающий на своей счетной машинке.

— Простите, пожалуйста, адони, — сказал я ему на иврите, — а что за операции осуществляются в вашем окошке?

— В нашем окошке? — оглядел он меня подозрительно, — в нашем окошке делают кесеф.

— Что? Что? — не понял я. — Что вы сказали делают?

Он весело рассмеялся и спросил:

— Ата ихуди? — (что в переводе означало, еврей ли я). — Ты знаешь, что такое гелд, так это как раз то, что мы делаем...

Вот тогда я и сказал, что был бы тоже не прочь сделать немного кесеф, значение которых теперь не составляло для меня загадки.

Он отложил машинку и, посмотрев на меня не без интереса, спросил, как это интересно я хочу сделать кесеф, если у меня ни гроша за душой.

— А вот и есть! — воскликнул я, осмелев, — только я не хочу потерять.

— А вы думаете, они хотят потерять? — окинул он взором выстроившуюся за мной очередь и после этого взглянул на меня, по-моему, как на идиота.

Только теперь я заметил над его головой маленькую стеклянную дощечку, на которой на иврите было написано: "Биржа".

— Так вы играете на бирже? — воскликнул я со смешанным чувством уважения и проснувшегося вдруг страха.

— А почему бы нам не играть на бирже? — ответил он вопросом на вопрос. В его взоре проснулось нечто похожее на сочувствие ко мне.

Думаю, что все дальнейшее для читателя не составит загадки, а именно, что между мной и рыжим Хези завязался содержательный диалог, в ходе которого, убедившись, что на моем счету есть сорок тысяч долларов, и преисполнившись ко мне уважения, он задал только один вопрос: а как у адона с нервной системой? Если адон не жалуется, то он мне советует

купить акции компании "Африка-Исраель". Только он адону ничего не говорил. Очень ему надо, чтобы потом пошли слухи, что он кого-то оставил без штанов.

— Неужели это возможно, адон Хези?! — воскликнул я.

— Ата ихуди? — снова весело оглядел он меня.

— Ихуди, ихуди! — ответил я. — Но я все-таки не хочу проиграть! — Я стоял на краю пропасти, и от ужаса у меня захватило дух.

— Ну так попробуйте заработать! — весело подмигнул он мне.

— А что бы вы, адон Хези, на моем месте попробовали? — набрал я полную грудь воздуха.

— Я? — почесал он за ухом. — Я бы попробовал, но только, чур, я адону ничего не говорил!

В каком настроении я ушел из банка, предоставляю судить читателю. (Если ему хоть раз приходилось прыгать в пропасть компании "Африка-Исраель", о которой еще пойдет речь, — он меня хорошо поймет.) Что я испытывал, когда звонил Хези, чтобы узнать, как дела, — пусть он опять же судит. Но все хорошо, что хорошо кончается, и к концу 1976 года на счету журнала "Время и мы" вместо сорока оказалось семьдесят пять тысяч долларов.

ЛОРД ШАЦМАН И ЕГО ПЕРСОНАЛ

Возникает вопрос: "А что, если бы не выиграл, а проиграл?" На этот глубокомысленный вопрос я бы хотел ответить другим, еще более глубокомысленным: "А что, если бы мой тридцати трехлетний папа — в те годы технорук типографии Центриздата — Борис Борисович Перельман не встретил в 1928 году мою двадцати двухлетнюю маму, бухгалтера газеты "Известия", Полину Модестовну Захарьеву, — кому бы вы задали этот умный вопрос: "Что было бы, если бы, приобретя акции "Африка-Исраель", я не выиграл, а проиграл?"

А пока что я приглашаю вас в редакцию журнала "Время и мы", на счету которой теперь уже не сорок, а семьдесят пять

тысяч долларов, и потому она занимает не узенький пенал в квартире Семы и Женюрки Житницких,на улице Ибн-Гвироль, а целую квартиру на улице Нахмани, 62, в пяти минутах хода от центральной артерии Тель-Авива Дэрэх Петах-Тиквы (что в переводе означает "Дорога надежды") и в пятнадцати минутах от Таханы Мерказит (что в переводе на русский означает — центральная автобусная станция).

К Тахане Мерказит я еще вернусь, ибо, как узнает читатель, не пересекши ее, я не мог получить из переплетной журнала, а во-вторых, здесь был расположен базар, где существовал особый, единственный в мире способ зазывать покупателя. Как это делалось, вы узнаете позже, а пока, поверьте мне на слово: если вы не были на Тахане Мерказит, в Тель-Авиве, значит, вы не были в Израиле (ну, а дальше рисуйте себе в голове, что вам вздумается).

Близость к Тахане Мерказит имела и еще одно преимущество — не считая расположенного против базара кинотеатра порнофильмов, журнал "Время и мы" был единственным культучреждением в этом районе, и оказавшиеся на Тахане Мерказит читатели, естественно, оказывались рядом с редакцией.

Итак, вы поднимаетесь на третий этаж дома номер 62, по улице Нахмани — тут вам ни мрамора, ни бронзы, как в доме Семы и Женюрки Житницких, и лишь те же, что и в каждом тель-авивском доме, "лимитированные лампочки" — включишь — и света ровно на столько, чтобы добежать до следующего этажа. А то и на это не хватит, свет гаснет посреди подъема и снова ищи в темноте выключатель и снова скачи как угорелый на следующий пролет, чтобы "засветло" домчаться до следующего выключателя.

Зато, входя в квартиру номер 8, где располагалась редакция, вы сразу же чувствуете, что попадаете в учреждение. Навстречу вам вразвалку не выходит с протянутой для пожатия рукой загадочная личность в синих москвошвеевских трусах или тренировках и не спешит представиться: "Будем знакомы, инженер Житницкий!"

И никто не кричит на всю квартиру: "Редактор, а редак-

тор! Что-то не видать в этом номере евреев!" И никто его не будет оттаскивать назад: "Ай, Сема, что ты мешаешь людям работать!" Все это ушло в небытие. Вы звоните, и тотчас вам открывает дверь красивый седовласый человек — его интеллигентное лицо актера вкупе с его осанкой и ослепительно-белой сорочкой подчеркивают, что вы пришли не в какую-нибудь там шарагу, а в место серьезное: если этот седовласый лорд дверь открывает, то что же там делается внутри!

— Вам кого, лично редактора или кого-то из сотрудников? — спрашивает посетителя лорд и ведет его либо ко мне (то есть в кабинет главного), либо в общий зал, к сотрудникам. Но ко мне не просто вводит, а прежде эдак изящно стучит:

— Господин редактор, к вам тут товарищ, примете сейчас или пусть подождет? — И не успею я ответить, как уже слышу за дверью: — Господин редактор занят и просит вас подождать!

При втором варианте седовласый господин ведет посетителя в общий зал, где работают сотрудники и где стоит его собственный, размером в ползала, министерский стол.

Седовласый, с актерской внешностью человек — это Григорий Борисович Шацман, которого за два месяца до этого я взял на отправку журналов, и с тех пор он сам себя называет моим замом по адмхозработе. Шацман приезжает в редакцию первым автобусом, в пять-полшестого утра. И с этого раннего часа за его огромным, в ползала, канцелярским столом, начинает бурлить жизнь.

На столе разложены бесчисленные ведомости, в них, как в зеркале, отражается вся многообразная административно-хозяйственная жизнь журнала, в котором теперь работает пять штатных сотрудников, включая самого Шацмана и уборщика-совместителя Авраама. Ведомости разграфлены на десятки граф и подграф.

Прямо перед Шацманом разложена мощная простынь: "Ведомость ежедневной посещаемости сотрудников, отпусков, болезней, опозданий и прогулов по неуважительной причине." Чуть подальше — на том же столе — ведомости выплаты сти-

пендий, авторских гонораров, ведомости внештатников, подотчетников, административных и транспортных расходов и еще множество всяких других.

Свой рабочий день мой зам по адмхозработе начинает с того, что раскладывает передо мной одну из них или сразу несколько:

— Вик Борисович, приложите ручку!

Впрочем, с тем же он обращается не только ко мне. Не успевает мелькнуть в зале борода Орлова, как Шацман немедленно требует его к себе:

— Адон Орлов, вы не забыли, что вы у меня в подотчетниках ходите? Прошу вас, прошу, приложите ручку!

Но Шацман не только мой зам по адмхозработе, он еще и начальник приемной, то есть на него падает весь груз отношений редакции с внешним миром. А это, дорогой читатель, штука, требующая такого искусства, что я даже не нахожу, с чем его сравнить. Это ведь вам не приемная какой-нибудь там "Советской России" или "Вечерки", откуда денно и нощно отфутболивали трудящихся по десяткам и сотням ведомств. А куда, скажите, тут отфутболишь? В Сохнут? В министерство абсорбции? Нет, нет, здесь нужна была уникальная способность — проникать в самую глубь психологии посетителя, в чем, как скоро я убедился, мой новый зам по адмхозработе был непревзойденный талант.

Однажды — мы только что переехали в новое помещение — в редакцию вошла молодая энергичного вида блондинка и сказала, что ей нужно срочно поговорить с редактором.

— Не взыщите за любопытство, а по какому вопросу? — поинтересовался Шацман. С посетителями он был отменно любезен — качество, которое в прочих ситуациях иногда изменяло ему.

— По личному! — донесся до моего кабинета ответ посетительницы.

— Но личные вопросы бывают разные, — резонно заметил Гриша (с которым мы к тому времени были уже на ты). — Вы что автор?

— Да, автор!

— А в каком жанре, простите, балуетесь?

— Вообще-то, я пишу рассказы, но я хотела бы показать редактору иллюстрированные легенды...

— А о чем легенды?

— Да у меня их целая серия — "Крушение идеала" — о первых сионистах и как некоторые из них стали членами Кнессета. Ну и до чего докатились...

— Ась, чего вы сказали? — прижал руку к уху Шацман. — Кто именно докатился, не пойму.

— Ну, в общем, ладно, буду с вами откровенна. Один из членов Кнессета нехорошо себя ведет, но это, конечно, мое личное дело.

— Вы хотите сказать, что он домогается вас как женщины?

— Не совсем так, он воздействует на меня другим способом...

— Каким же, простите?

— Он воздействует... ну как вам сказать... в общем я чувствую, что он воздействует на меня радиоактивными лучами.

— А-а-а! — протянул понимающе Гриша. — Так бы и сказали сразу. Но дело в том, что редактора сейчас нет и он будет не раньше, чем через полгода. Редактор в правительственной командировке, в Северном Тянь-Шане.

— А вместо него нельзя кого-нибудь?

— Нет, нет, радиоактивными лучами занимается только он.

Очень скоро мой зам по адмхозработе стал истинным властителем сердец женского персонала. С частью этого персонала — корректоршей Виолеттой — мы уже знакомы. Ее стол расположен в глубине зала так, что всяк входящий оказывается под обстрелом ее прекрасных семитских глаз. То и дело она бросает влюбленные взгляды в сторону моего зама.

Другая часть женского персонала, находящаяся в ведении моего зама по адмхозработе, была представлена тридцатилетней толстушкой композeристкой Верочкой Абрамашвили, носившей фамилию мужа — какого-то таинственного еврея из Сухуми, которого в редакции никто и никогда не видел. А было лишь известно то, что не успели они приземлиться в Луде, как между ними произошел разговор, после кото-

рого Абрамашвили заявил Верочке, что жить или не жить с ним — это ее дело, но она плохо знает семью Абрамашвили, если думает, что он так просто ей даст развод. После этого он сел в "пикапчик", на котором за ним прибыли четыре брата и скрылся в неизвестном направлении. Верочку и ее маму Гоц отправил в Натанию, в ульпан для академиков, поскольку Верочка представилась как учительница английского языка.

Брак с Абрамашвили оставил в Верочкиной душе неизгладимую печать страха и ненависти ко всему мужскому полу. Неприязнь к нему она почему-то выказывала больше всего в свой обеденный перерыв, уписывая французскую булку с маслом и любительской колбасой, которую мама каждое утро заворачивала в серебряную фольгу и укладывала ей в сумку перед тем, как она садилась на автобус

Не успевало подоспеть время обеда, как Верочка тотчас заводила свою песню. И обращалась всегда к Шацману.

— Григорий Борисович, скажите, пожалуйста, почему это мужчины всегда хотят от женщин только одно?

— Ась? — прикладывал руку к уху мой зам. — Ты что, Верочка, поставила какой-то вопрос?

— Да, Григорий Борисович, я поставила вопрос, — засовывала сразу полбулки за щеку Вера. — Я хочу сказать, почему вы, мужчины, не признаете чистых отношений к женщине. Каждому давай только одно. Я бы расстреливала таких!

— А ты разве, Верочка, не слышала, что в Кнессете уже обсуждался этот вопрос? За оскорбление женской чести десять лет строгого режима в Кирьят-Шмоне!

— Ой, вы смеетесь, Григорий Борисович, а я, знаете, как на них зла, — приканчивает Верочка булку и садится снова за композер.

Рабочий день чаще всего начинается с какого-то сенсационного сообщения моего зама по адмхозработе.

— Девушки! — слышу я из зала его приятный баритон. — Вы слышали, что произошло вчера на Дерех-Хайфе? Изнасиловали сразу шесть русских композеристок!

— Ой! Мамочка! — восклицает Верочка. — Да ведь это же по моей дороге.

— Ась? — прикладывает руку к уху мой зам.

— Я говорю, да как же это так, Григорий Борисович!

— Обстоятельства выясняются, — спокойно продолжает он. — Не исключено, что это дело рук террористов...

— Террористов! — пунцовые щеки Верочки еще более раздаются вширь и становятся бордовыми. Неожиданное вмешательство политического фактора сокрушает ее начисто.

— Ой, мамочка! — останавливает она композер и, достав французскую булку с колбасой, начинает ее нервно уписывать. — Как же я домой поеду? Позвоню маме, пусть встретит меня. Ой, Григорий Борисович! А они хоть молодые были? — вдруг спрашивает Верочка.

— Кто? — теперь уже у Шацмана ползут брови вверх от удивления.

— Да эти, террористы, преступники!

— По девятнадцать лет каждому, — отвечает Шацман.

— Это же надо, Виолетта, совсем мальчишки... И как же это они умудрились, Григорий Борисович...

— В маршрутном такси Тель-Авив — Натания. Причем три композеристки отдались добровольно, — спокойно продолжает Шацман, чувствуя, что комедия вот-вот может выдохнуться.

— Добровольно? — вылезают из орбит большие Верочкины глаза. — Да мне бы сейчас дали сто тысяч, я бы лучше умерла...

Я чувствую, что диалог затягивается, а я не далее как вчера передал Абрамашвили набирать новую повесть Зиника "Извещение". И просил сделать срочно. Я вхожу в зал. Вера мгновенно углубляется в композер, но тут же не выдерживает.

— Виктор Борисович! Вы слышали, что вчера произошло на Дерех-Хайфа? Шесть наших композеристок изнасиловали.

В ответ я задаю Верочке вопрос, который ее ставит в некоторый тупик, и она просто не знает, как из него выбраться.

— Сколько вообще в Тель-Авиве русских композеристок? Сосчитайте, Верочка.

Она начинает считать, загибая свои пухлые круглые пальцы:

— В "Клубе" раз, в "Шоломе" — два, в "Сионе" — три, в

"Карифе" – четыре. Ой, всего четыре! – восклицает Верочка. – Григорий Борисович!

– А изнасиловали шесть! – настаивает Шацман. Он-то знает свой персонал.

– Очень странно.

Я чувствую, что в сердце Верочки впервые зашевелился червь сомнения, но расставаться с этой прекрасной темой, что мужчинам от женщин нужно только одно, она определенно не хочет, и вдруг спрашивает меня, нравится ли мне "Извещение". Как это можно, чтобы главный герой жил со старухой, просто ужас, чего пишут, сами не знают.

Но этот свой монолог Верочка произносит спокойно, не отрываясь от композера, и поэтому он уже меня не так трогает. Единственно, кто не хочет кончать комедии,– это Шацман.

– А в какой позе просыпается главный герой? – подбрасывает он снова поленья в костер.

– В какой? – не отрывается Верочка.

– С поднятой штучкой!

– Ой, Григорий Борисович, с какой штучкой? Я ведь еще не дошла до этого места.

– С поднятым израильским флагом! – закругляю я беседу.

В зале наступает тишина, сквозь распахнутые окна слышен лишь грохот, доносящийся со стороны шоссе. День входит в свою рабочую колею, и вдруг под самым нашим окном женский голос.

– Адон Оксенберг, ты капли Мике в нос закапал или как всегда забыл?"

– Действие первое. Картина первая, – комментирует Шацман. – Кстати, Вик Борисович, адон Оксенберг вчера приходил дважды.

Чтобы читателю сразу стало ясно: адон Оксенберг – это управляющий нашим домом, который каждый месяц приходит к нам за арендной платой и которого я опять же мог бы сравнить с хозяином нашего отсека Гилдесманом. В отличие от акулы Уолл-Стрита Гилдесмана, Оксенберг служит счетоводом в тель-авивском раввинате, он низенького роста и ни-

когда не расстается с черным котелком, заменяющим ему ермолку. Но дело даже в другом. Если Гилдесман напоминает мне о сроках платежа нежными приветами, то Оксенберг просто звонит в дверь, проходит в мой кабинет и молча садится на диван. И так молча, не снимая котелка, он может просидеть полчаса-час, пока я не вспоминаю о нем.

— Простите, адон Оксенберг, вы не насчет денег?

Только после этого он не спеша лезет в боковой карман и достает счет за квартирную плату.

Но если его мы видим не чаще чем раз в месяц, то голос его жены слышим каждое божие утро, когда они оба выходят из дома. Диалог их, как правило, касался одного из пятерых детей Оксенберга, каждого из которых он должен либо умыть, либо причесать, либо посадить сделать пи-пи, либо, как сегодня, закапать капли самому младшему и вечно сопливому Мике.

Только один раз мы не услышали очаровательного голоса его жены — в это утро свалился от простуды сам Оксенберг. Но узнали мы это позже, а пока мертвая тишина за окном вызвала у моего зама сногсшибательное сообщение.

— Девушки, вы слышали, Оксенберг бежал в Советский Союз и попросил политического убежища!

— Ой, мамочка! — воскликнула Верочка, — как же будет с ней? Молодая женщина. Ее же просто замучают...

— Ась? — что вы сказали, Верочка, — изнасилуют? — слышу я из своего кабинета актерский голос Шацмана. — Не изнасилуют, она же не русская композеристка.

Каждый месяц, примерно в одно и то же время появляется с макетом обложки очередного номера художник Лев Ларский.

— Хозяин знает, что вы придете? Вик Борисович, главный художник редакции — Лев Ларский! — кричит мне из зала Гриша.

На лице Ларского, который обычно заявляется из своего института картографии после рабочего дня, одна и та же страдальческая мина, и свое явление он сопровождает одной и той же сакраментальной фразой:

— Ох, Перельман, втянул ты меня в авантюру.

— Что значит в авантюру, господин Ларский?! Вы работаете на русскую литературу! — восклицает Шацман.

— Да, да, на русскую литературу, — страдальчески улыбается Ларский и принимается за доделку макета.

Зато переводчик Жора Бен — высокий и стремительный библейский красавец — появляется с неизменной и полной очарования улыбкой.

— Здравствуйте, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют вас! — встает из-за стола мой зам Шацман и крепко жмет руку Бену.

— Я вас приветствую, господа! — раскланивается Жора направо и налево и особенно нежно жмет ручки нашим дамам.

По дороге в Израиль Бен успел побывать в Америке, чем наши дамы и объясняют, что в отличие от всех нас он стопроцентный джентльмен.

— Ну, Витка, за что мне нравится так Бен? — вслух восхищается Верочка. — Настоящий мужчина! А как он переводит! Ни одного похабного слова. Ты читала "Тьма в полдень"? Мы с мамой просто плакали.

В отличие от Ларского Бен никогда ни на что не жалуется и только, если задерживается стипендия, эдак элегантно пожимает плечами:

— Гм-гм!.. А не скажете ли, когда это может свершиться?

Вопрос этот адресуется к моему заму, и в ответ он галантно вводит Бена ко мне в кабинет.

— Разрешите доложить, — обращается он ко мне, — главный переводчик редакции господин Бен остался без стипендии. Наши девушки не слышат? — припадает к двери Шацман. — Мне же Верочка голову оторвет. Так вот, простите за маток, но по-русски это называется блядство. На дворе уже июнь, а они еще за май не заплатили!

— Одну секунду, господа, — говорю я. — Сейчас же позвоним большому другу нашего журнала адону Шварцману.

— Я могу присутствовать? — почти по солдатски вытягивается и цокает каблуком мой зам. А я тем временем уже слышу в трубке знакомый голос.

— Адон Шварцман! — Я на десятом небе от того, что попадаю сразу на него, а не на его секретаршу Хану.

— Ну! — слышу голос на другом конце провода.

— Адон Шварцман, тут у нас есть сотрудник, адон Бен, так вот уже июнь месяц, а он еще не получил стипендии за май.

— Ну!

— Что ну, адон Шварцман? Адону Бену нечего есть.

— А с Ханеле говорили? — наконец выдавливает из себя большой друг журнала. — Все дела у нее.

Я снова набираю тот же номер, но на этот раз слышу уже очаровательный голос секретарши адона Шварцмана Ханы.

— Кен! — слышу я в трубку (что означает "да" и его надо воспринимать как своего рода "алло!")

— Геверет Ханеле! — (что означает госпожа Ханеле) и без особой надежды в голосе начинаю объяснять, что у нас есть адон Бен, который до сих пор не получил стипендию.

— Ну? — поет она тонким голосом, подражая своему шефу.

— Так я хотел узнать, когда она будет выслана.

— Ну? — все тот же очаровательный голосок.

— Что ну?, Геверет Ханеле?

— Позвоните Шушане в бухгалтерию!

— Геверт Шушана!

— Кен!

— Говорит редактор журнала "Время и мы". У нас тут есть вопрос со стипендией...

— Адони, стипендиями мы сейчас не занимаемся. Позвоните Арончику.

— Какому Арончику?

— По-моему, у нас есть только один Арончик — Арончик Паран!

Когда-то, лет сто назад, Паран приехал из Риги, и на этом основании он все переговоры со мной ведет только по-русски.

— Ну, так что? Что ви хочете, адон Перельман от мине?

— Понимаете, у нас есть сотрудник, адон Бен, он не получил стипендию.

— Ну, так что я? Я плачу стипендии? Ви Мойше Шварцману звонили?

— Только что! — отвечаю я.

— Ну и что Мойшеле?

— Мойшеле сказал "ну"! — уже выхожу я из себя.

— Что "ну", адон Перельман?

— А я знаю, что "ну", адон Паран!

— Один момент, адон Перельман. Я буду что-то для вас выяснять. Сареле! Сареле! — слышу я голос Арончика, вызывающего секретаршу. Но поскольку никакого ответа не следует, я снова слышу в трубке голос Арончика.

— Адон Перельман, ви меня слушаете? Я очень сожалею, но я вынужден сказать вам "слеха". Вы знаете, что такое на иврите "слеха"? Вот именно: "извините мине!". Ну так вот, адон Перельман, извините мине, моя секретарка в хофеше. Вы же знаете, что такое "хофеш"? Вот именно: отпуск! Когда придет? Это ви мине спрашиваете? Если она на шестом месяце в герайоне! Ви знаете, что это такое — "герайон"? Вот именно: ждет ребеночка!

Я кладу в изнеможении трубку. В библейских глазах Бена смешанное чувство сочувствия и паники от охватившей его неизвестности. Кто знает, когда Сареле выйдет из герайона и выйдет ли вообще? И если выйдет, то когда выпишет чек, а если выпишет, то не уйдет ли в хофеш сам Паран.

— Гм! — наконец выдавливает из себя Жора. — Придется подождать еще денек-другой.

"Что значит — англо-сакс!" — с восхищением смотрю я в его погрустневшие библейские глаза и вдруг слышу над своим ухом баритон своего зама по адмхозработе:

— Какая наглость! У меня есть предложение: немедленно послать молнию Ицхаку Рабину. Текст следующий. По разгильдяйству Шварцмана министерство абсорбции задерживает стипендию новому оле Бену. Точка. Бен пятый день голодает. Точка. Дальнейшая задержка чревата... Чем же чревата, — застрял на этом месте Гриша. — Чем же чревата?.. Чем? Ну, ладно, ничем не чревата. Пятый день голодает. Точка. Персональная ответственность на вас. Точка. Главный редактор журнала "Время и мы" Виктор Перельман.

— Нет, насчет голода, пожалуй, подождем... — нерешитель-

но встает и прощается со всеми Бен и, придя домой, сообщает по телефону сногсшибательную новость: только что он нашел в своем почтовом ящике чек на стипендию за два месяца сразу — за май и июнь.

— Кто подписал? Кто подписал? — автоматически спрашиваю я.

— Подписали каких-то два господина, — гудит в трубку Бен, — один, секундочку, прочту фамилию... Один адон Моше Шварцман, другой... другой, по-моему, адон Паран.

— Что? Прислали чеки? — восклицает мой зам по адмхозработе. — Эх, нет на них Климента Ворошилова. Тот бывало позвонит: "Шацман, вы мне можете объяснить, что у вас там за бардак в ансамбле творится? Духовики без сапог остались! Скажите там кому надо, чтобы еще пар девятьсот прислали". — "Будет сделано, Климент Ефремович!" И тут же шлю телеграмму: "Директору фабрики "Скороход" Рабиновичу. Нами установлено на фабрике "Скороход" вредительство. Точка. Краснознаменный ансамбль песни и пляски оставлен без сапог. Точка. Приказ наркома обороны изготовить три тысячи пар. Точка. Срок исполнения сорок восемь часов. Точка. За невыполнение дело передаем особому совещанию. Григорий Шацман". Во как работали! А тут две стипендии... говна-пирога... Sареле, Мотеле, Ханеле... Уши вянут. Я бы на твоем месте тут же телеграммку отгрохал. "Налицо факт издевательства. Точка. Правая рука не знает, что делает левая. Точка. Виновных наказать! Главный редактор журнала "Время и мы" Виктор Перельман".

ПРО МЕЙЕРХОЛЬДА И ВОРОШИЛОВА

Вы, конечно, спросите, читатель, откуда взялся в нашей редакции этот замечательный человек, хотя, может быть, уже и догадываетесь, что именно его я имел в виду, когда в самом начале главы просил вас не поскупиться и выслать автору "Лефортовской Одиссеи" семьдесят центов. Теперь вы коечто о нем уже знаете. Что касается его прошлого, то оно и по

сей день остается в тумане: то ли он был директором Краснознаменного ансамбля песни и пляски, то ли его завхозом, то ли управляющим всеми ансамблями Красной армии и потому лично сносился со Сталиным и Ворошиловым. Но это все так сказать по административной линии, а если мы возьмем линию творческую, то тут уж вообще увольте, чтобы я что-то понял, то ли он был учеником Мейерхольда, то ли ставил что-то под руководством Вахтангова. Среди его друзей и знакомых вечно мелькали имена Станиславского, Немировича-Данченко и, как я сказал, даже Эммануила Каминки...

Когда он появился — красивый и стареющий актер — в нашей редакции (а это было еще на квартире Житницких), ему уже перевалило за семьдесят, и понять, что и когда с ним происходило в прошлом, не было никакой возможности. Единственно, что выглядело чистейшей правдой, — это то, что еще в тридцать седьмом он угодил на десять лет в места не столь отдаленные. Садился он в общей сложности трижды — два раза при Хозяине — об этих своих посадках он говорил голосом серьезным и даже не без ноток трагизма, третий раз — при Никитке. "Этот шизик, балаболка, сам не знал, за что посадил!" И даже четвертый раз, уже при Леньке, чуть не прихватили. И главное — хоть бы за политику — а то говно какое-то хозяйственное клеили, сто девятую, часть вторую.

— Ну тут уж вот вам! — смачно вскидывал он перед собой сразу два кукиша. — Не на того нарвались.

Закончилось тем, что Гриша перед самым носом ОБХСС слинял на свою историческую родину, превратившись из старого члена КПСС и подследственного Петровки 39 в члена всеизраильской организации узников Сиона, даже не успев прихватить свою русскую жену Марьяну.

— Между прочим, я уж в Вене был, а эта сучка Израилова из ОВИРА звонит Марьянке. "Марьяна Степановна, милочка, не скажете ли нам, где находится сейчас ваш муж Шацман Григорий Борисович? У него, видите ли, в визе что-то недооформлено". А Григорий Борисович — хватились! Тю-тю! Операция МВХД: "Москва—Воронеж..."

На свою историческую родину узник Сиона Шацман привез

два чемодана — один с бельем и один, как он мне конфиденциально сообщил, прибыл по дипканалам — с "полутора тысячами страниц крови, любви и страданий". Но об этом, читатель, у нас речь впереди, а пока еще несколько слов о внешности моего зама по адмхозработе. Нет, не зря корректорша Виолетта не спускала с него своих жгучих семитских глаз. Он был сед как лунь, но чернобров и синеглаз. Только не думайте, что в его облике было что-то картинное. Не было в нем никакой картинности даже тогда, когда,слегка выдвинув вперед левую ногу, возмущался он бюрократизмом в Сохнуте или министерстве абсорбции.

— Тут женщин нет? — оглядывался он по сторонам. — Так вот, с моей точки зрения, это просто распиздяи!

По его словам, он был как две капли воды похож на Мейерхольда и будто бы даже последний, выпив, однажды воскликнул: "'Гришка, да мы ж с тобой близнецы, едрена мать!" (По словам Гриши, Мейерхольд питал неодолимую страсть к хорошему русскому слову.) Но, с другой стороны, по его же словам, как две капли воды на Мейерхольда был похож и я. "Да вы с ним два сапога пара!" А однажды — и это было уж совсем странным — он нашел что-то общее между Мейерхольдом и Орловым. "Подожди, подожди, Боря! — подошел к нему Шацман. — Убери-ка на секунду бороду. Еще! Еще! Теперь взгляни на меня, вот так, еще раз! Ну вылитый Всеволод Эмильевич!"

Читатель понял, а если не понял, то может представить, сколь обворожителен был Григорий Борисович в своих отношениях с внешним миром, сколь нежен с его прекрасной половиной — но как менялся его лексикон, когда жизнь требовала от него делового подхода и решительности.

Я уже сказал, что он появился еще на улице Ибн-Гвироль и первое, что произнес:

— Ну что, Виктор Борисович, — (Вик Борисовичем он звал меня потом) , — будем работать или хуем груши околачивать? За сколько журнал отправляете?

— Дня за три-четыре, — ответил я.

— За сколько? За сколько? — и, прижав ладони к груди, он

расхохотался. — Ворошилова на вас нет. Помню, однажды мне позвонили из его секретариата: "Послушайте, Шацман, Климент Ефремович интересуется, за сколько вы можете собрать весь Краснознаменный ансамбль песни и пляски". Я ответил: "Думаю, дня за три соберем." Через полчаса снова позвонили: "Шацман, вам дается тридцать шесть часов, под вашу личную ответственность!" Что тут делать? Где эти 560 рыл за тридцать шесть часов разыскать? И ты думаешь, не разыскали? Кого из ресторанов выволокли, кого прямо от блядей тепленькими. Третье специальное управление НКВД подключили. По всем гостиницам и кабакам дали молнию. Быть такого-то и такого-то в фойе Большого театра. Точка. За неявку военный трибунал. Точка. Подпись — Григорий Шацман". Так за сколько вы отправляете журнал? За три дня? Со следующего выпуска будем это делать за три часа.

— Но нужно же упаковать, — пытался возразить я.

— А чего тут паковать? Триста журналов! Да я один это за час сделаю. Мы на Воркуте триста вагонов за ночь выгрузили.

Ах, если бы вы видели, как он паковал! Как клеил коробки! Как обвязывал! И очередной номер он-таки отправил бы за три часа, если бы не помешал КГБ.

КГБ он называл почтового таможенника, марокканца Мизрахи, который по непонятным причинам с первой же минуты невзлюбил Шацмана.

Войдя величественной актерской походкой на почту, Шацман оглядел с ног до головы сидящего за стойкой маленького Мизрахи и как ни в чем не бывало спросил: "Шпрехен зи идиш?" На что Мизрахи окинул его сверху вниз таким взглядом, что никакого ответа уже не потребовалось. О возможности общаться с Мизрахи по-русски Гриша даже не стал и спрашивать. Он понял, что его ждет самое худшее, что могло ожидать: делопроизводство придется вести на иврите.

Как старый зек он был готов ко всему, и на непредвиденные случаи его карманы были набиты "Мишками", присылаемыми из Москвы Марьяной. Но что могли сделать "Мишки" с марокканцем Мизрахи?

На почту Гриша приходил первым, и все шло как по маслу, пока бумаги не попадали к этому гебешнику. Последний требовал, чтобы все было отпечатано на ивритской машинке. Мой зам по адмхозработе печатал одним пальцем и, ударяя по клавише, каждый раз натужно выкрикивал: "Ох, блядь, алеф! Ох, блядь, бет!" День отправки превращался для него в каторгу.

— Ну что? Что опять случилось? — с ужасом восклицал я, видя, как, обливаясь потом и не успевая зажигать в лестничной темени лампочки, он пер обратно на третий этаж еще с вечера упакованные журналы.

— Опять КГБ не принял? А что сейчас?

— Вместо алефа, сука, айн велел писать!

— Ну и что теперь?

— Что теперь? Перепишем! Меня на Иртыше один гад, майор Пронников, три раза заставлял траншею перерывать. Ну и что? — Рыл! Только время жалко.

Но еще больше, чем КГБ-Мизрахи, моего зама по адмхозработе невзлюбили Житницкие. Увидев его, входящего в наш тесный пенал, Сема по обыкновению представился:

— Инженер Сэм Житницкий!

— Ась? — подставил к уху ладонь Шацман.

— Инженер Житницкий! — повторил Сема.

— Простите, а что вы здесь делаете? — небрежно оглядел его с ног до головы Шацман.

— Я-то знаю, что я здесь делаю, — ответил Сема. — А вот зачем пожаловали вы?

— Это наш новый завхоз и экспедитор, — представил я Шацмана.

— И администратор журнала "Время и мы", — добавил тот от себя.

Когда он удалился, Сема тут же постучал ко мне в пенал и сказал:

— Ох, не нравится мне этот твой Шацман. Ты, кстати, его документы проверял?

— Какие документы?

— Мало ли какие? У каждого человека должны быть доку-

менты. Теудат оле. Справка о реабилитации. Ты хоть знаешь, где он в настоящее время живет?

По рассказам Гриши, он жил в новом олимовском районе, на севере Тель-Авива, в Неве-Шарет, у своей хаверы Баси (что в переводе на английский означало "гел-френд"), которую Гриша, впрочем, никогда так не называл и о которой вообще не любил распространяться.

На Нахмани все давно привыкли, что мой зам появляется чуть свет. Эту манеру Гриша завел еще у наших старых хозяев, что и привело к вспышке военных действий между ним и Житницкими, которые уже давно не могли простить ему его манеру вести разговор, выставив вперед левую ногу, и еще многое другое. Справлялся о нем Сема не иначе, как:

— Ну что, редактор, твой авантюрист? Как без него Сталин обходился?

Но взрыв произошел не из-за Сталина, а из-за манеры Шацмана чуть свет являться в редакцию и будить молодоженов. Однажды, полшестого утра у меня дома раздался звонок телефона:

— Вик Борисович! Шацман беспокоит. Хотел с тобой посоветоваться, как с шефом. Без четверти пять я пришел в офис и обнаружил, что дверь на цепочке. Я тут же позвонил этим твоим мудозвонам и сказал: "Господа, прошу не хулиганить и открыть дверь". На что этот твой Жидецкий-Мудацкий — как его там фамилия! — мне ответил, что дверь раньше половины восьмого открыта не будет. Я сказал, что немедленно обращаюсь в полицию. Так вот, я сейчас звоню из полиции. Какие твои будут указания: вызывать наряд или до полвосьмого — ну их к ебени-фене?

Читателя, возможно, раздражают непечатные выражения моего героя, тем более ученик Мейерхольда и прочая и прочая. Я полностью с вами согласен. Но давайте сделаем человеку скидку — как никак жертва культа! Я же со своей стороны обещаю, что где только можно, вмешаюсь и притом железной рукой. И только в крайнем случае, если не пустили человека в дом или еще что-то подобное, придется потерпеть. Смириться... И не такие последствия культа вынесли. Вынесем и это.

В тот же день, не успел я появиться в редакции, как разразился скандал. Вызвавший меня на пару минут Сема сказал, что они с Женюркой этого блатнягу терпеть больше не станут.

— Как вам нравится, Виктох, — переминалась с ноги на ногу Женюрка, — прийти в три часа ночи в чужую квартиру и начать колошматить в дверь.

Когда я вернулся в пенал, Гриша подошел к моему столу и, выставив вперед левую ногу, сказал:

— Ну и что? Что тебе сказали эти Замшецкие?

— Что ты пришел в три ночи, — ответил я.

— Ложь! — воскликнул Гриша и, гордо откинув назад седую голову, повторил: — Ложь! И еще раз ложь. Ты знаешь, что Мейерхольд делал со лжецами? Он гнал их вон из театра, а эти Мудацкие... Я бы на твоем месте их немедленно погнал. Ах, как это делал Вахтангов! Как он это умел делать!

Кончилось все тем, что мы переехали на улицу Нахмани, куда Шацман мог приходить, когда хотел,и ни от кого больше не зависел.

Прихватив свой чемодан, он переселился в мой кабинет. Днем это был кабинет, ночью — спальня моего зама по адмхозработе.

Но этот человек не мог без драм. И не прошло и недели, как появилась соблазненная им хавера, новая оля из Риги, Бася, которая битых два часа рассказывала мне, каким нечистоплотным человеком оказался мой зам по адмхозработе Шацман.

Произошло это утром, когда, помимо появления Баси, в нормальную жизнь редакции вмешалось сразу два экстраординарных события. Во-первых, приход в редакцию одного из самых наших молодых и любимых авторов Зиновия Зиника, а во-вторых, небывалого масштаба скандал, который устроила на этот раз супруга адона Оксенберга своему мужу.

Явление Зиника было вызвано необходимостью подписать со мной договор на его следующую после "Извещения" вещь "Перемещенное лицо" и, следовательно, получить из редакционной кассы некий аванс — ситуация всегда взрывоопасная и полная неожиданностей.

Скандал, который закатила под нашим окном супруга Оксенберга, был вызван причиной еще более серьезной. Как оказалось, Оксенберг, как и я, вложил деньги в акции компании "Африка-Исраель", но в отличие от меня сгорел. Пилить его жена начала еще с вечера, но, как всегда, с особой силой ее могучий темперамент просыпался по утрам, когда они выходили из дома на работу.

— Ата нормали? — кричала она на всю улицу Нахмани (что даже при самом элегантном переводе с иврита на русский означало: "Ты в своем уме?") И далее шел длинный ивритско-идишистский диалог, из которого вытекало, что другого такого ветрогона и шлимазла, как адон Оксенберг, в Тель-Авиве не найти, чтобы взять и сунуть десять тысяч лир в пасть этим ворам из "Африка-Исраель".

— Ну что же ты молчишь, адон Оксенберг?! Может, ты все-таки объяснишь, из чего сделаны твои мозги?

Именно в этот момент в мой кабинет постучали, и я увидел сразу двоих — писателя Зиника и хаверу Шацмана Басю, явившуюся для того, чтобы поговорить со мной как с его шефом.

Рядом с худеньким Зиником Бася казалась великаншей и еще более могучей, по-видимому, оттого, что на ней было старого покроя беличье манто, и ни с того, ни с сего такая же старомодная беличья шапочка, из-под которой торчали рыжие кудряшки волос. Начала, конечно, Бася, а не Зиник, который сунул мне на просмотр договор, но пока Бася вплывала в кабинет, все-таки успел шепнуть: меньше чем на полторы тысячи лир аванса, он не пойдет.

— Ну, скажи мне, адон Оксенберг, как своей жене — ата нормали? — неслось с улицы.

Бася извлекла откуда-то из шубы маленький платочек и начала шумно сморкаться и вытирать слезы.

— Вы знаете, адон Перельман, от кого я плачу? — всхлипнула она басом. — Если не знаете, так я скажу: от вашего сотрудника Шацмана! Про меня никто вам дурного слова не скажет, чтобы Бася Орлова шлялась или что-то еще! Я скромная женщина из Риги. Что мне в этой жизни надо? Ну так у ме-

ня умер муж... Мне нужна эта нехорошая связь, чтобы он лез ко мне по ночам в постель?..

Дверь в кабинет приоткрылась, и я увидел сгоравшую от любопытства толстушку Веру.

— Кошмар! — только успела шепнуть она и скрылась за дверью.

Из дальнейшего рассказа Баси я понял, что она познакомилась с Шацманом в приемной Арончика Парана и он сразу же предложил ей просить квартиру на двоих.

— На двоих — так на двоих, что мне жалко? Но давай сходим, как люди, в раввинат, оформим. Так вы знаете, что этот ваш Шацман мне сказал? Что он лучше пойдет в петлю, чем со мной в раввинат...

Дверь в мой кабинет снова отворилась: на этот раз это был Зиник. Он постучал по часам. Затем показал палец, потом полпальца и провел ребром ладони по шее, что должно было означать: полторы тысячи аванса и никаких гвоздей.

— Адон Оксенберг! — раздалось с улицы, — куда ты, интересно, пошел, ты уже совсем рехнулся и забыл, где находится твой раввинат!

— Так, что вы мне посоветуете делать, адон Перельман, — расстегнула свое беличье манто Бася и решительно придвинулась всем своим мощным телом к моему столу.

Я ответил, что даже и сам не знаю, чем ей помочь.

— Вы не знаете чем мне помочь? Да куда ж я пришла — в организацию или шараж-монтаж?! Вы уже учите людей жить, так вы уже не можете повлиять на этого Шацмана? Он, видите ли, лучше в петлю полезет, чем в раввинат. Да я, адон Перельман, прямо отсюда в Сохнут пойду! Да я, если надо, до самого Рабина дойду...

Спасение пришло неожиданно: из зала раздался душераздирающий крик Верочки. Когда я вбежал туда, то увидел ее стоящей на столе и дрожащим пухлым пальчиком показывающей в угол:

— Ой, не могу, мамочка! Мышь! Спаси меня! Спаси!

К углу подлетел со щеткой в руках Шацман, за ним Зиник. Мышь тотчас исчезла, а Верочка еще долго охала и не могла

сесть за композер. Я вернулся к себе в кабинет и по Басиному лицу тотчас понял, что она успокоилась и решила перевести затеянный ею скандал в повествовательное русло.

— Так, вы поняли, в чем вопрос, адон Перельман? — вытерла она насухо глаза и решительно поднялась. Если хочет, пусть берет чемодан и возвращается. Я, в конце концов, тоже человек. Но вначале, как все люди, будьте добреньки, в раввинат.

Только теперь я заметил, как за дверью маячат и нервно кружат одна вокруг другой две тени: Зиник и Шацман. Как только за ней захлопнулась дверь, оба оказались передо мной. Я понял, что с Зиником мне ничего не сделать, и сказал, что согласен: полторы тысячи аванса.

— Вот это другое дело! — расцвел он. — Я всегда говорил, что ты самый фантастический издатель. Итак, когда чек?

— Через неделю.

— Через неделю?! Да ты что? Да мне, может, жрать нечего!

— Зиник! Чек получите завтра! — окинул его взором сверху вниз мой зам по адмхозработе. — А теперь, может быть, вы дадите нам с редактором обсудить один сверхсрочный редакционный вопрос.

За Зиником захлопнулась дверь. И, сложив руки на груди и саркастически улыбнувшись, мой зам медленно повернулся ко мне.

— Ну, Вик Борисович, как тебе моя возлюбленная? Если бы ты слышал, какой у меня вчера был с ней разговор! Только она начала пудрить мне мозги с раввинатом, как я ей сказал: "Послушай, дорогая, неужели ты считаешь, что ты и я пара, созданная для большого чувства? Взгляни в мои синие, как морская волна, глаза, и взгляни на себя. Только на одну секундочку подойди к зеркалу и взгляни на эти свои рыжие аидыше щелки. Скажи, что между нами общего? Что? Так я доставил тебе пару приятных ночей! Так что отсюда следует? Между прочим, еще Вахтангов меня учил: "Гриша, если ты хочешь избавиться от бабы, постарайся ей объяснить, что она ничтожество. Раз объяснить, два, пока она не поймет". Виктор, веришь не веришь, я ей раз двести, наверное, уже объяс-

нял: "Ну скажи, Бася, зачем мне нужно такое говно, как ты?" Ты думаешь, я преувеличиваю, я люблю называть вещи своими именами. Так и сказал: "Говно!" Другая бы стушевалась, задумалась, но это же провинция — ее хоть колом по голове теши. Ты знаешь, что отвечает: "А почему ты, Шацман, думаешь, что говно — это я, а не ты? Если ты залез ко мне фуксом в постель, так думаешь, уже не нужен ни ЗАГС, ни раввинат!" Ну вот ты, Вик Борисович, редактор журнала, инженер человеческих душ, скажи, что делать с такими аферистками? Только Иосиф Виссарионович мог с ними бороться.

Закончив монолог, Гриша подошел к дивану и, достав из-под подушки, бутылку "Московской", весело мне подмигнул:

— По шкалику, а?

Я стал отказываться.

— По ма-ахонькому! За журнал "Время и мы"!

Мы выпипили.

— Еще по одному? По махонькому! Ты знаешь, что мне говорил Мейерхольд? Гриша, если у тебя тяжело на душе — не отказывай себе в этом удовольствии . Ты знаешь, Вика, — разреши, я тебя звать так буду, — я человек старой закалки. Вот говорят: "Сталин! Сталин!" Да я, ядрена мать, от Сталина больше вас всех намучился. Два срока получил. Но это же была личность, а сколько остроумия было, сколько остроумия! Знаешь, у нас в ансамбле была одна сучка — жена одного солиста-танцора, а он был личным любимцем Хозяина. Так она в партком с телегой на него пришла. Что тут, скажи делать? Не поверишь, дело до самого дошло. А он, ох, как склок не любил! Поднял трубку. Набрал партком: "Послушайте, это Сталин говорит. Я слышал, что у вас там жалоба на такого-то от его жены лежит. Так вот, передайте ей мою чисто товарищескую просьбу — пусть не травмирует нашего солиста, так и скажите, товарищ Сталин по-товарищески просил". Что тут было? Приходит она назавтра к секретарю парткома — мол, как мое дело двигается? Так он ей отвечает: "Ваше дело лично товарищ Сталин разбирал". — "Ну и что? Что сказал товарищ Сталин?" — "Товарищ Сталин сказал, что

есть у него к вам исключительно личная, товарищеская просьба — идти к ебени матери!" Может, Вика, коньячку?

— Нет, Гриша, я же на машине!

— По махонькой, махонькой... Помнишь, как Островский говорил, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ах как пошла! Как пошла! Ты, Виктор, никому не скажешь, что я тебе сейчас скажу? Ты же мне, как друг. Ах, если бы ты знал, как ты похож на Мейерхольда! Как две капли воды! Ну так вот, есть у меня баба. Ах какая баба! Сколько шарма! Вообще-то мне эти старухи надоели, но эта!.. Отдельная квартира на Шломо Мелех, американка русского происхождения. Суламиф! Я зову ее Сулико. Помнишь эту песню? Хозяин ее обожал: "Где же ты моя Сулико?" И ты знаешь, где мы познакомились? На вечере у твоей активистки БетиАроновой. У нее на вечере мы и встретились. Я принес журналы, читал Есенина, и она, по-моему, уже тогда положила на меня глаз. Ну что, еще по махонькой? Ты знаешь, что мне говорил Вахтангов: "Гриша, если тебе хочется выпить, никогда не насилуй себя!" Хочешь познакомлю. В понедельник, в четыре утра, она улетает в Нью-Йорк, а я ее провожаю. Хочешь вместе проводим? С аэропорта отвезешь меня к ней домой. Если бы ты видел, как она в меня влюблена. Как кошка! Не далее, как вчера ночью, сказала: "Грэгори, поверь, что я видела в жизни много мужчин, но такого, как ты, вижу впервые. И с этой ночи мой дом — это твой дом!" Признайся, ты когда-нибудь видел такой роман, чтобы через два дня она оставила ему ключи от дома?

СТРАННАЯ ШТУКА — ЖИЗНЬ...

В понедельник, в четыре двадцать утра я подъехал к дому Сулико на бульваре Шломо Мелех. Возле ее дома меня ждал с огромным букетом роз в руках мой зам по адмхозработе. Он был в шляпе, новеньком макинтоше, лицо его излучало торжественность и обаяние.

Сулико, слегка поддерживая подол длинного, до земли, платья выглянула из подъезда. Гриша стремглав бросился к ней навстречу и вынес следом за ней, устремившейся к машине, три огромных чемодана. Затем он галантно распахнул перед ней переднюю дверь, и, когда она села возле меня, бросил к ее ногам букет роз.

— О! Какая прэлесть! — воскликнула Сулико-Суламиф. — Как вам нравится, как он меня балует? — повернулась она ко мне.

У нее был низкий прокуренный голос, на ее лоб спадала длинная черная челка, и она не выпускала изо рта длинного мундштука с сигаретой. На вид ей можно было дать лет пятьдесят, но я бы не удивился, если бы ей оказалось семьдесят пять. Она была из тех представительниц прекрасного пола, чей возраст определить абсолютно невозможно.

По дороге она без конца шутила, путая английские слова с русскими. Моего зама она называла Грэгори и на каждом ухабе кокетливо басила:

— О,Грэгори, держите меня, я же упаду!

— Прости, Сулико, — называл он ее почему-то на ты, — мои колени к твоим услугам.

— Виктор! Вы слышали, что сказал этот проказник? Его колени к моим услугам! Он всегда у вас такой шалун? О майн гот! Я забыла купить ньюс-пейпер. Что я буду делать шестнадцать часов этого сумасшедшего фляинга?

— Сулико! У тебя есть работа — думать о нашем чувстве.

— О! Что это значит? — засмеялась она, обнажив два ряда белоснежных вставных зубов. — Боже! Виктор, я же, в сущности, его совершенно не знаю. Но он у вас ужасный ловелас. Ха-ха-ха! Это очень странно, но он что-то во мне разбудил.

— Сулико, не наводи тень на плетень. Ты же знаешь, как мы любим друг друга! — воскликнул вдруг Гриша и, поймав на переднем сиденье унизанную кольцами и браслетами руку Сулико, припал к ней лбом.

— О,Сулико! — стал он шептать.

— Неправда ли, он очень забавный! — продолжала смеяться она.

И так продолжалось, пока мы не подъехали к зданию аэровокзала, где мой зам по адмхозработе с юношеской легкостью подхватил все ее три чемодана и, поцеловавшись с ней последний раз, вернулся к машине, размахивая связкой ключей от ее квартиры.

— Ну, как тебе моя новая пассия? — спросил он. — Между нами говоря, зверь, а не баба. Тут, брат, по-моему, завязывается что-то серьезное. А с другой стороны, как жалко терять свободу. И ведь чувствует стерва, что завязывается что-то, а боится. Как боится! В общем, я решил так: написать ей письмо. Пропущу шкалик и напишу: нечего тут крутить. Любовь — любовью, а жизнь — жизнью.

Не успел я прийти в редакцию, как раздался звонок нашей старой активистки и читательницы семидесятилетней вдовы Бети Ароновой.

— Виктор! Вы слышали сногсшибательную новость? Наша Суламиф выходит замуж за вашего сотрудника, некоего Шацмана. Ну, Виктор, голубчик, скажите, что это за человек? Хотя бы порядочный?

Я не помню, что я ответил. С этими шацмановскими флиртами срывался номер, и я мечтал, чтобы он скорее образумился и взялся за работу. Между тем,Бетя не переставала мне названивать.

— Виктор! Голубчки, ну как? Что слышно у наших молодых? Боже! Какая странная штука жизнь!

С другой стороны, мой зам по утрам мне докладывал, в каком раю он оказался.

— Если бы ты знал, как живет стерва. Сколько там антиквариата, золота, епическая сила!

— Ну а как все же насчет свадьбы, Гриша? — спрашивал я.

— Что значит как? Решенный вопрос. Жаль, что я не захватил ее последнее письмо. Пишет, что каждую ночь меня видит во сне и что я подарил ей страсть, какую она не видела со дня рождения.

Гриша ходил, как именинник, насвистывал куплеты Тореадора и на время перестал донимать толстуху Верочку. Даже она стала о чем-то догадываться и однажды в обеденный перерыв, залившись краской, спросила:

— Григорий Борисович, а верно говорят, что вы того? — и стала весело жевать бутерброд. Виолетта, все еще снедаемая тайной страстью к Шацману, дернула ее за юбку.

— Верка, как тебе не стыдно?

— А че стыдно? — осмелела Верочка. — Я лично уверена, что Григорий Борисович человек порядочный и просто так не станет крутить голову женщине...

Лишь мне какое-то внутреннее чувство подсказывало, что бешеная любовь моего зама и Сулико так ничем и не кончится. О причине их неожиданного разрыва ходило множество слухов, и не было никакой возможности понять, что было правдой, а что досужими сплетнями.

Началось со звонка опять же нашей старой активистки Бети, и говорила она теми же словами, что и тогда, когда любовь Шацмана и Сулико только возгорелась.

— Виктор, голубчик, вы слышали сногсшибательную весть: Суламиф выгнала Шацмана. Ах, если бы вы знали, какой это позор! Она мне рассказывала, и мои уши отказывались верить. Послушайте, неужели он такой авантюрист? Так он вам ничего не рассказывал?

— Нет, абсолютно!

— И вы ничего не знаете об этом ужасном письме в Америку. Он же написал ей письмо, что он, видите ли, готов ее осчастливить, но у них все должно быть общим. Я тебя ужасно люблю, но все должно быть общее, вплоть до ночного горшка. Виктор, голубчик, как вам нравится этот ночной горшок? Какой ужас! И вообще, вы слышали: он просто ограбил ее. Каждый вечер он звонил по ее телефону своей гойке-жене — Машке, Марьяне, — я знаю? — как ее зовут. И вы знаете, сколько назвонил — 1800 лир — почти триста долларов. Ну вот вы скажите — так поступают порядочные люди?

Другую версию я услышал из уст самого Гриши — и в какой обстановке! В один прекрасный вечер я вернулся в редакцию, чтобы взять забытую рукопись и, к своему удивлению, еще с улицы увидел горящий в окне моего кабинета свет. Как только я вошел, то понял: блудный сын Шацман вернулся в родные пенаты. Он лежал на диване в одних го-

лубых кальсонах. Рядом, прямо на полу, стояла бутылка водки и тут же тарелка нарезанной селедочки.

— Вика! — обрадованно вскочил он. — Не ожидал? Хочешь по махонькой?

— Ну а как же, Гриша, любовь? Все рухнуло?

— Какая любовь? О чем ты? Ты же сам видел эту лярву. Ей же семьдесят девятый год! И имеет трех любовников! Ха-ха-ха! Ну давай по махонькой, по одной — и все. Одного я сам видел. Она и не скрывает:"Познакомься, Грэгори, это мой друг Алекс." Типичный гомик... Голосишко тоненький... "Не откажитесь, мистер Шацман, от рюмочки бренди?" А она пьет, ебучая сила! Перепьет любого зэка. При мне, как сели с Алексом, как начали, фужер за фужером, фужер за фужером, — а на меня ноль внимания. Я не выдержал, послушай, говорю, Суламиф, в каких ты отношениях с этим гомиком? А она: "Ха-ха-ха! Ах, какой ты, Грэгори, забавник!" Ну ясно, в каких, понял, нет? У нее же их трое... — Гриша натянул брюки, уселся поудобнее на диван. — Ну что Вика, по махонькой? За журнал "Время и мы"!

Мы выпили. Он вытер рукой рот.

— Ну, бле, лярва! Я ей говорю, давай, бле, объединять имущество. Так ты знаешь, что она мне отвечает: "А что, собственно, Гриша, ты можешь предложить?" — "Да, ничего! Что есть, то и объединим, вплоть до ночного горшка". Слышал бы ты, как она взвилась. Особенно из-за ночного горшка. "Фи, какая гадость, да как ты смеешь!" А вот, бле, смею! Я зэк — и все смею! Ну что, Вика, еще по шкалику, за "Время и мы"?

— Нет, Гриша, мне пора.

— Ну по махонькой, вот по такой, — показал Гриша двумя пальцами, — за любовь! Ха-ха-ха — расхохотался он и, обессилевши, свалился на диван.

ЛЕФОРТОВСКАЯ ОДИССЕЯ

Вы можете мне сказать, читатель, что я слишком долго морочу вам голову рассказами об этом человеке из легенды — Григории Шацмане, но даже словом не обмолвился о нем как

о своем ученике и писателе. А вы думаете он сразу раскрылся? Много, ох как много воды утекло, пока в одно прекрасное утро он не постучал ко мне в кабинет и не положил на стол стопку напечатанных на машинке листов.

— Совершенно неофициально! — сказал он. — Будет минутка-другая, прочтешь.

Вот так ко мне на стол легли первые из 1570 страниц, составивших книгу века — "Лефортовскую одиссею". То была первая глава, и я даже не помню, о чем она — кажется, о буднях одной из камер Лефортовской тюрьмы. Он был одним из самых тактичных моих авторов. Через неделю-другую он постучал в дверь и сказал:

— Совершенно неофициально — ну как?

— У тебя, Гриша, есть еще?

— Тысяча пятьсот пятьдесят страниц. Ты знаешь, что сказал об этой книге Паустовский? "Шацман, это потрясающе талантливо и потрясающе неряшливо!"

Признаюсь, читатель, как на духу. С тех пор как стал я редактором, как огня боюсь больших цифр. И 1570 страниц моего зама по адмхозработе насторожили меня.

— А ты знаешь, Вика, что сказал другой писатель? "Шацман, вы создали книгу крови и страданий, и тяжкий грех ляжет на душу того, кто не даст ей зеленый свет!"

Да, читатель, к чему скрывать: я был отцом этой книги века и начал с того, что переписал за Гришу первые две главы. Вот так сел и за субботу и воскресенье переписал. И опубликовал в журнале.

На следующий день, после того как журнал был разослан, Шацман постучал ко мне в кабинет:

— Совершенно неофициально! Ты слышал отзывы о моих вещах? Потрясающе! Звонила одна баба и сказала, что ревела. Ревела как белуга! Кстати — опять же совершенно неофициально — я только что звонил к Арончику Парану и говорил с его секретаршей. Ты ее знаешь — Сареле. Знаешь, что она сказала? Нужна коллективка — серьезная коллективка от израильских интеллектуалов с требованием опубликовать книгу писателя Григория Шацмана. Вика! Совершенно неофициально — разреши подготовить проект письма...

Надо сказать, что он никогда не страдал избытком скромности. Так что кое-что из этого письма, в котором мы, группа литераторов, просили министерство абсорбции дать ему денег на книгу, пришлось изъять.

Я считал, что деньги дадут и так, даже если мы и не назовем первую часть его книги "Пепел и алмаз, или кровь и слезы нашего поколения". Ну а то, что это книга века и потрясающие страдания автора,— это все, конечно, осталось. Исключительно для Арончика Парана из министерства абсорбции. Просто, уже позже, мой зам по адмхозработе решил не проявлять мелочности — какая разница для Арончика Парана или для вас, дорогие читатели, — если книга века и потрясающие страдания уже налицо (то есть в вашем почтовом ящике, уважаемые джентльмены). Вот так это и появилось — "Израильские интеллектуалы о писателе Шацмане". Было письмо Арончику Парану, а стало предисловием за подписью пятнадцати израильских интеллектуалов. Ну какая разница, если по большому-то счету!

Поссорились мы с Гришей опять же из-за пустяка — какой-то там недостачи пятисот журналов. Да и что он — себе их брал? Носил вместе с розами все той же Сулико и той же Бете Ароновой — внедрял литературу в массы. Так что, возможно, я и сам виноват: пятьюстами больше, пятьюстами меньше — неужто быть мелочными, если делаешь большую литературу!

На этом я бы мог объявить антракт, если бы как-то не встретил Гришу на нашей же улице Нахмани, но уже с бородой и в ермолке. Что бы там ни говорили, был он учеником Мейерхольда или не был, учился у Вахтангова или нет, но он был большой актер, и потому я прошу занавес, чтобы вы бросили последний взгляд на человека, чьи послания вы находите в своих почтовых ящиках. И кому, я уверен, теперь уже не поскупитесь послать семьдесят центов.

Покинув нас, Гриша пошел служить в соседнюю религиозную организацию "Хама", действующую под покровительством любавического ребе. Он был старым членом КПСС, выполнял личные поручения товарищей Сталина и Ворошилова, сидел при всех руководителях партии и правительства, улизнул из-под самого носа товарища Израиловой из московского

ОВИРа, стал почетным узником Сиона...ну так что, если в поисках поддержки Любавического ребе он и надел ермолку на свою прекрасную седую голову.

И что, если опять же для получения поддержки последнего в своей издательской деятельности,он написал еще одно предисловие к своей "Лефортовской одиссее". Все это опять же чистые мелочи. Я бы сказал, малозначащие варианты. В одном случае ощутил тепло исторической родины, в другом обрел Бога, поддержки которого ему не хватало семьдесят два года жизни. Но что-то в конце концов обрел, что-то ощутил. Не это ли, дорогой читатель, самое важное? Если дают обрести — почему нет! Не оскудела бы только рука дающего...

ЛЕНИН-БЛАНК И НАША ЭМИГРАЦИЯ

Знаю, джентльмены, многое вас не устраивает в моем театре — а более всего герои, которых вы хотели бы видеть другими. Но отчего все только корректорши, композеристки, завхозы, какие-то там хозяева квартир, Житницкие и Оксенберги, да где же в конце концов журнал "Время и мы"? Где творчество? Где борение страстей? Ах, как я завидую самому себе, писавшему мемуары о "Литературной газете"! Что ни шаг — то борьба, что ни характер — то личность: то Сергей Михалков, тайком уносящий из редакции скрепки и клей, то цензор Жора, громогласно объявивший, что лимит на Пастернака уже исчерпан, то Александр Борисович Чаковский, заявивший, что "Литературная газета" — это вам не какие-нибудь номенклатурные "Правда" или "Известия", это Гайд-парк при социализме, где каждый может говорить, что вздумает.

Хочу вас успокоить: есть, что рассказать мне и на этот раз. Будут вам и авторы, будет вам и творчество и увидите такой накал страстей, что, может, еще и простите мне эту так и не взорвавшуюся секс-бомбу Сюзи из Клуба нью-йоркских феминисток.

Да вот хоть сейчас — хотите перенесемся на великую русскую реку Волгу и познакомимся с современным произведением одной из наших самых уважаемых писательниц.

Прямо со сцены тель-авивского Дома журналистов "Бейт-Соколов" увидим, как, взобравшись на дебаркадер, будут предаваться утехам любви (да извинит мне читатель этот мой нафталинный лексикон!) ее герои-любовники, демонстрируя перед вами образец подлинно современной драматургии — без ханжества, пошлости и сентиментов. И будете вы, читатель, как завороженный, глядеть на сцену, пока доведенный до экстаза, не воскликните: "Ах Боже, Боже, что может быть прекраснее живой натуры жизни"!

Поверьте, идет процесс борения страстей в моем театре. Да еще какой процесс! И если я до сих пор не затронул его с должной принципиальностью, так это моя вина. Говорил о каких-то там доморощенных гениях, Неме Горфинкеле или Сегалове-Фрумкине. А ведь все описанное мной — лишь капля в море по сравнению с происходящим в эмиграции, ну, скажем, на страницах эмигрантской печати, где уже многие годы идет принципиальная и бескомпромиссная война на два фронта. С одной стороны — за то,чтобы внедрить в сознание читателя основополагающий тезис, что коммунизм — это зло, а свобода и демократия — добро.

Но это лишь внешний и не главный фронт. Главный фронт — это внутренний, где идет смертельная битва за выяснение фундаментального исторического вопроса: что Октябрьская революция, происшедшая шестьдесят семь лет назад, — это дело самого русского народа или затесавшихся в его гуще лиц еврейской национальности? Сторонники второй точки зрения (считающие, что во всем виноваты евреи) отыскали в подтверждение своей правоты сногсшибательное доказательство: а именно, что лицом еврейской национальности был сам Владимир Ильич Ленин, имевший по мамашиной линии дедушку Бланка.

Идет сражение и за выяснение других истин. Ну, например, вся ли третья эмиграция состоит из евреев и гебешников или есть в ней порядочные люди? Война не на жизнь, а на смерть.

И охваченные бойцовским азартом ее участники давно уже забыли о внешнем фронте, а именно о том, что коммунизм — это зло, а свобода и демократия — добро.

Но кто против кого воюет? Во имя каких идеалов?

— Э, батенька, куда хватили! — как сказал бы старый еврей Ленин-Бланк. — Воюют все пготив всех, во имя победы нашей большевистской пгинципиальности!

В общем, все, как в нашей незабвенной квартире в Третьем Колобовском переулке, где две наших самых боевых единицы Августа Васильевна Колгушкина и Идочка Розин, борясь за соблюдение правил соцобщежития, несчетное количество раз меняли свою военно-стратегическую ориентацию. То бились в одной упряжке с одноруким ответственным съемщиком Чуверевым Федотом Германовичем, то раскалывались на противоположные лагеря, забыв о внешнем фронте, то есть о правилах социалистического общежития.

Ах, это ни с чем несравнимое ощущение борьбы, которое свело Августу Васильевну Колгушкину на Канатчикову дачу, а Идочку — прежде времени — в могилу. И кто знает, может быть, это и было самым сильным впечатлением моего детства (особенно, когда Августу Васильевну забирала машина с красным крестом), из которого впоследствии и вырос мой неукротимый пацифистский дух, а затем и сама стратегия журнала "Время и мы" — стратегия неучастия. То есть стремление стать свободным, беспартийным и ни от кого не зависимым журналом. Но это прозрачное триединство породило такое количество вопросов, обвинений и подозрений, что мы очень скоро оказались в положении моего папы, который в войнах, раздираемых нашу квартиру, пытался также занять позицию неучастия и против которого в одночасье поднялись все как один — мощным и несокрушимым фронтом...

Вот так или примерно так произошло и с нами. Кто-то в Сохнуте, а может, в Министерстве абсорбции, глубокомысленно заметил: "Что это за странный журнал, без своего лица — еврейский — не еврейский!" Кто-то добавил, что мы мало даем Израиля, кто-то уточнил, что мы журнал антисио-

нистский. Кто-то сказал, что эмигрантский, ностальгический, что не занимаемся еврейским воспитанием новых олим и ничего не делаем для их успешной абсорбции...

Зато в Америке все стало наоборот: мы стали журналом еврейским, сионистским, русофобским, большевистским, антиэмигрантским и почему-то антиукраинским и даже антилитовским.

Вы думаете, почему я назвал свою вещь "Театр абсурда"? Из любви к эпатажу? Да потому, что только театр абсурда все это и может выдержать: сидите вы в зрительном зале и посмеиваетесь... И можете что угодно добавить от себя, ну например, что, помимо прочего, мы еще журнал, не уважающий эмиграцию и подвергающий осмеянию свободную эмигрантскую печать. И мы это безропотно примем. Если мы недооценивали Израиль и искажали русскую историю, увлекались гнилым либерализмом и плелись в хвосте у мирового большевизма, то было бы просто странным, если бы мы не подвергли осмеянию нашу эмигрантскую прессу. Но что бы про нас ни говорили, мы не вступим в борьбу. Можете продолжать. Дискуссии не будет! А чтобы подбодрить оппонентов, мы можем их даже процитировать.

Да вот хоть нашего главного израильского оппонента, который наносит нам такие чувствительные и последовательные удары, что я снова вынужден обратиться к классике, то есть к нашей общей квартире в Третьем Колобовском, где то и дело вспыхивало противоборство между Августой Васильевной Колгушкиной и Идой Соломоновной Розин. И самым прекрасным в этом противоборстве была логика Августы Васильевны, которая, подкравшись по утрам к двери Идочки, кричала ей в замочную скважину:

— Розин, ну как тебе не стыдно, газету в туалете оставлять и, главное, с портретом товарища Сталина! А ходишь как? В галошах на кухне? Щи разлила и свечу всю в ванной растоптала!

Вот и наш израильский оппонент — ох и бьет же нас! За что? Да за то же, за что Августа Васильевна изничтожала Идочку, то есть за все! Ну, во-первых, у нас нет своего лица,

во-вторых, очень неровная обрезка страниц, в-третьих, помещаем что попало, к тому же выступает у нас бывший коммунист Цирюльников, а редактор журнала Перельман заигрывает перед Израилем. Вам понятно: и газету с товарищем Сталиным в уборной бросили, и свечку на кухне растоптали!

Впрочем, возник наш израильский оппонент не случайно, а как раз в процессе творческого борения, охватившего редакцию. И в том, что он появился, виноват прежде всего я сам. Это только кажется, что я способен увидеть талант и почувствовать звучание вещи. Нет, дорогой читатель, я неисправимый тугодум и, если бы это не было так, в редакции не разразилось бы творческое побоище, в горниле которого и родился наш оппонент. Впрочем, я не могу сказать о нем ничего худого, не считая его здорового и по-человечески такого понятного желания, чтобы мы быстрее сгинули.

Но все это уже последствия урагана. А вначале был легкий бриз. Играло солнышко. В редакции "Время и мы" появлялись новые сотрудники и авторы, и среди нас царила такая чарующая идиллия, что и в кошмарном сне никто не мог представить приближавшейся бури.

Первой пришла наша критик номер один, ученица знаменитого Эйхенбаума, одна из наших самых талантливых сотрудниц. Познакомился я с ней по телефону. Она говорила, что прослышала про открытие толстого литературного журнала и более всего на свете хотела бы в нем работать:

— Виктор, миленький, мечта жизни, перст судьбы! Господи, на все согласна, лишь бы взяли.

К чему я это все рассказываю? Да к тому, что очень странно у нас сложились отношения с критиком номер один. Свела нас любовь к русской словесности, а разлучила... даже както неловко произносить вслух — разлучила нас гинекологическая больница.

Впрочем, тут оказалась замешана еще одна писательница — да, да, вы правы, — та самая, что заставила своих героев предаваться утехам любви на дебаркадере. К ней я перейду ниже. А пока о нашем критике номер два.

Были они с критиком номер один очень дружны при

полном различии в облике. Первая была маленькая, смуглая, с черными как смоль кудряшками, делающими ее неуловимо похожей на Анджелу Дэвис. (Была она из тех представительниц прекрасного пола, что заставляют терять вас голову благодаря своей всепроникающей способности к анализу.)

Критик номер два была полной, высокой и голубоглазой. Ходила в декольтированном платье, из-за которого некто не очень взыскательный мог потерять голову еще скорее, чем из-за умения анализировать критика номер один.

Каждая представляла в журнале свою школу. Номер один, обладая острым аналитическим умом, поражала своих читателей логикой. Номер два представляла школу чувственную, ибо в своих эссе не столько рассуждала, сколько плела дивные поэтические кружева, чем доводила некоторых мужчин-читателей до такого экстаза, что они звонили в редакцию и требовали ее телефон.

Самой замечательной чертой критика номер один была ее уникальная способность всегда что-то терять или забывать. (Небезызвестный Паганель являл собой по сравнению с ней воплощение собранности.)

Самой замечательной чертой критика номер два была ее способность возбуждать любопытство у женского персонала, когда она величаво проплывала через редакционный зал.

— А говорят, муж ее страшно мучает, — оглядывает с интересом критика номер два композеристка Верочка. — Неужели это правда? Ужас! А с другой стороны, такой женщине и на улице опасно появляться. Найдется подлец, ни за чем не постоит.

— Ась? — подносит руку к уху мой зам по адмхозработе. — Кому где опасно появляться? Кто кого мучает?

— Конечно, вы, мужчины, нас, — отвечает Верочка, разворачивая бутерброд с колбасой.

— А это мы сейчас проверим! — не вставая из-за стола заявляет Шацман и на всю редакцию обращается к критику номер два с вопросом, каковы ее отношения с мужской частью человечества.

— С мужчинами? — заливается краской критик номер два.

Она встречается взглядом с Шацманом, который не спускает глаз с ее декольте. — Очень даже добрые отношения.

— А Верочка говорит, что мужчины вас мучают.

Лицо Верочки становится пунцовым.

— Да ну вас, Григорий Борисович, — стыдливо опускает она глаза. — Просто я сказала, что если какая-то сволочь способна хоть пальцем тронуть женщину-критика, я бы такого на месте расстреляла.

Извините, джентльмены, отвлекся. Да на такую безделицу! Все это влияние мира высшей цивилизации...

А в редакции появляются все новые и небезынтересные для нас персонажи.

Одного из них, будущего редактора конкурирующего издания, приводит критик номер один. Они входят в кабинет под руку, миновав приемную, и оба начинают с извинений.

— Ой, Виктор, простите, вы работате, — переминается она с ноги на ногу. — Кстати, вы не знакомы? Только что приехавший из Москвы редактор жунала "Еврейская жизнь в СССР".

— Наслышан, много наслышан! — подает мне свою мягкую руку гость и присаживается на краешек стула. У него большие голубые глаза. На голове хохолок. Приятные манеры. — Ах, даже не верится, что сижу рядом с редактором "Время и мы".

С зтого дня он всякий раз, прежде чем войти, нежно стучал в дверь: "Можно? Не помешаю?" И на мой вопрос, как живет, рассыпался в комплиментах: "Да, кто я? Можно сказать, никто! Ты — наш Панаев, ты наш Краевский!"

Ну вот, собственно, налицо все персонажи и даже будущий редактор конкурирующего издания. Так что самое время переходить к описанию творческого сражения, в горниле которого это издание родилось. Но прежде пару слов о той, из-за которой все произошло.

МАТЬ И МАЧЕХА

Я намеренно не останавливаюсь на малосущественных деталях, а именно на том, что была она женщиной сильной и властной и, имея мужа профессора и общественного деятеля,

давно бы провела его в члены Кнессета (если бы он ее слушался!), что не получив "добро" от этой семьи, и по сей день не делает шага редактор конкурирующего издания, что под началом ее мужа-профессора работал муж нашей критикессы номер один и что к профессору чрезвычайно благоволил Нехемия Гидрон. Извините, читатель, за протокольный стиль: я мог бы тут развернуть целую сагу о Форсайтах, но просто опасаюсь уйти в сторону от вопросов фундаментальных и, в частности, от творческого пристрастия писательницы к жизни на воде. Причем, как у автора подлинно современного, наибольший интерес вызывает у нее секс на воде. Ну вроде, как сеансы натюрель, но не на Сорок Второй или Плац Пигаль, а на волжских дебаркадерах.

Подобные сеансы — зрелище впечатляющее, хотя и несколько загадочное. Помню, как на премьере два моих знакомых израильтянина с чисто еврейским упорством допытывались у меня, почему именно дебаркадер избран автором в качестве любовного ложа для героев.

Премьера состоялась в том же Доме журналистов "Бейт-Соколов", где Он и Она, одетые в русские ватники, издавали соответствующие накалу страстей стоны, а в конце поддали такого реву, что кто-то из служащих ринулся к сцене, не понимая, что в этом и заключался авторский замысел,— продемонстрировать израильтянам, какой темперамент таится в загадочной русской душе.

Когда представление закончилось, первой подбежала к автору критик номер один, из глубины души которой вырвалось:

— Потрясающе!

Затем выплыла критик номер два и своим чуть хрипловатым, чувственным голосом сказала:

— Ах, какая экспрессия, какая игра страстей! Это было так натурально, что мне самой захотелось на дебаркадер.

Все кругом поздравляли автора и говорили, что это новая страница. Первым это заметил муж писательницы, который, пожав руку жене, тут же обратился за поддержкой к своему сотруднику, мужу критика номер один:

— Ведь, правда же, новая страница? Как ты считаешь?

— А что я могу считать? — ответил тот. — Ясное дело — новая страница.

Из сказанного нетрудно догадаться, что, когда на моем столе появилась пьеса той же писательницы, автор была уже овеяна лучами славы. Пьесу принесла в редакцию критик номер один, которая уверенно положила передо мной кожаную папку и попросила к утру прочесть. Пьеса была про гинекологическую больницу и называлась "Мать и мачеха". В ней было девять персонажей: Интеллигентка, Капитанша, Школьница, Молодоженка, Старуха, Девушка, Мать, Токсикозная и Нянька, которые, хотя я и прочел пьесу трижды, перепутались у меня в голове. Все либо сделали аборт, либо собирались сделать, у кого-то произошел выкидыш, кто-то лежал на сохранении, все говорили об одном и том же, одним и тем же языком и отличались в основном качеством халатов. Интеллигентка была в махровом халате, Капитанша — в дорогом нейлоновом, Школьница — в рубашке, Мать — в сером, застиранном, Девушка — в больничном, потерявшем цвет и т.д. Но одну из героинь я все-таки запомнил — это Токсикозную в ситцевом халате. Запомнил не благодаря халату, а благодаря ее монологам. В отличие от стертого языка прочих персонажей она говорила исключительно сочно и, о чем бы ни заводила речь, всякий раз добавляла: "У, ядрена мама, святая богородица!" Кроме того, ею же со сцены была рассказана необычайно свежая новелла о том, как некая полковничиха вошла в интимные отношения с собственным кобелем, по имени Джульбарс...

— Ну как, Виктор, прочли? — первое, что спросила на следующее утро критик номер один. — Не правда ли, впечатляюще?

Каюсь, у нее было столь вдохновенное лицо, что у меня просто не хватило духу подрезать ей крылья. Что же касается Джульбарса и "ядреной мамы, святой богородицы", то эту тему я решил вообще не поднимать. Горел очередной номер, и в голове крутилась единственная мысль, как бы вообще избежать дискуссий. И тут меня осенило:

— Да, вы знаете, неплохо, даже очень. Но тема! Тема! Вы же знаете, какие страсти бушуют вокруг абортов. Неужели вы хотите, чтобы мы...

— Я ничего не хочу, — облила она меня холодом, — но вас понимать отказываюсь. Вы что же вообще против абортов? Очень занятно, — встала она и выходя хлопнула дверью.

Вот тут-то, читатель, все и началось. Что там манифестации религиозных евреев перед Кнессетом! Протестантские волнения перед Белым Домом! Что все это перед накалом страстей, разыгравшихся на улице Нахмани, 62?

Не успела выйти критик номер один, как раздался звонок из Иерусалима. Звонила критик номер два.

— Виктор! Вы что не хотите давать пьесу? Но почему? Вы что, серьезно, против абортов? Даже как-то странно слышать. Ну да, эти бабы не хотят обрекать детей на муки. Так что, вы им запретите? Одумайтесь, голубчик.

— Но бабы-то какие! — пытаюсь я сопротивляться. — Вы видели таких баб, ядрена мама, святая богородица!

— Виктор, — вдруг перешла на шепот моя собеседница на том конце провода, — но это же авторская манера. Условность. О, Господи,Виктор! Мы же не в стране социализма. Это же сшибка душ, а не слов! О, как мне вам это объяснить?

Я положил трубку, надеясь, что страсти вот-вот улягутся. Но они только разгорались. Раздался робкий стук в дверь. На пороге в полном составе стоял весь женский персонал Шацмана: композеристка Верочка и корректорша Виолетта.

— Вы, Виктор, извините, пожалуйста. Это, конечно, не наше с Виолеткой дело, но мы слышали, что вы не хотите давать пьесу. Мы только что ее прочли, и знаете, — обе чуть не плакали. Ну, скажи, Виолетка, правильно я говорю? Ну что молчишь? Послушайте, Виктор, — продолжала она, — ну какие все-таки мужчины сволочи. Да я бы ради одного этого все напечатала. Пусть люди видят, до чего они нас доводят. Чуть что — делай аборт! А что аборт вредит здоровью женщины, так об этом никто из них не думает. Им только давай свое. — Она нежно оглядела меня, ее пунцовые щеки стали бордовыми — и тихо сказала: — Виктор, голубчик, напе-

чатайте. Мы с Виолеткой от имени всего коллектива просим.

Я не знаю, сколько бы продолжался этот митинг, если бы не появился Шацман:

— А ну-ка, девушки-подружки, по местам. Абрамашвили, известно ли вам, что вы уже третий день норму не выполняете?

— Да ладно, Григорий Борисович! Тут такой вопрос, а вы со своей нормой.

— Какой вопрос? Насчет абортария? А вы думаете, Абрамашвили, руководство без вас этого вопроса не решит? Ну-ка быстро, по рабочим местам!

Как только за женским персоналом захлопнулась дверь, Гриша придвинул к моему столу кресло и сказал:

— Ну и затеял ты историю с этой пьесой. Дай ты ее. Что от тебя — отвалится. Весь Тель-Авив ходуном ходит.Только что звонила одна распиздяйка из Союза русскоязычных писателей. "Что там у вас случилось с пьесой о женской больнице? Мы слышали, что ваш редактор тронулся. Выступает против искусственного прерывания беременности". Я, главное, ей хочу объяснить, а она свое: "Так это правда, что Перельман против абортов? Да мы на него Шуламит Алони натравим, она его сразу в чувство приведет!" Ну как тебе нравится?

Разговор прервал телефонный звонок. Говорит Житницкий .

— Привет, редактор! Нам только что звонила Женюркина сестра. Говорят, у вас там в редакции целая революция. Какой-то бабе ты аборт запретил делать, а она на тебя в суд подает. Так знай, я полностью на твоей стороне. Любишь кататься — люби и саночки возить! Заделал ребеночка — изволь кормить. Семнадцать лет стукнет — иди на все четыре стороны.

— Сема! Сема! Да какой аборт? Какой ребеночек? О чем ты? — Это уже голос Женюрки. — Виктох! Виктох! Дайте я скажу. У вас есть женщина, которая хочет сделать аборт? Знаете что, — пусть делает. В конце концов у нас демократия.

— Демократия! — вырывает у нее трубку Сема. — А вот вы с этой демократией и разводите бардак...

Сема был явно расположен продолжить разговор. Но я, вконец обессиливши, положил трубку.

Шацман меня оставил одного. Наконец-то можно было собраться с мыслями. Но только за ним закрылась дверь, как появился муж нашего критика номер один, сотрудник лаборатории, которой заведовал муж автора пьесы.

— Послушайте, Виктор, я буду предельно краток. Вы как к моей жене относитесь? Хорошо? Я, конечно, понимаю — характеры, проблема абортов... Но я ж работаю с ее мужем вы это понимаете? Дайте эту пьесу. Эту новую страницу — и дело с концом.

Кончилось тем, что пьеса не пошла,и страсти улеглись. Никто больше ни в глаза, ни за глаза не называл меня ретроградом и врагом абортов. Но, как я уже говорил, борьба, разыгравшаяся вокруг пьесы, имела далеко идущие последствия. И главное из них — было открытие в Израиле еще одного толстого журнала. Один был "Сион", другой — "Время и мы". И вот теперь появился еще журнал с двумя цифрами вместо слов на обложке — "Цвай унд цванцих" — как называет его мой знакомый с радиостанции "Свободный мир": номер автобуса, на котором он едет из дома на работу и который отвозит всех желающих на Плац Пигаль.

Всех,кого интересует история этого журнала, я отсылаю к его первым номерам. Там все сказано: как в редакции "Сиона" возник заговор и как редактор будущего журнала вынес оттуда ряд статей, которые были использованы в новом издании. Вы даже узнаете, как увидела благодаря этому свет пьеса "Мать и мачеха". Единственным малоизвестным фактом в цепи этих событий остается то, что в заговор оказался замешанным наш старый друг Нехемия Гидрон. То есть как замешан? Конечно, он не выносил вместе с заговорщиками материалов журнала "Сион". И не укрывал их в своем офисе на улице Гимел. Нет, нет, он был абсолютно нейтрален. И если оказал помощь новому изданию, то это был сущий пустяк: ну подкинул журналу несколько десятков тысяч, ну платил зарплату его редактору... Кто ж в Израиле не знает широты Гидрона! Скольких реформаторов он поотправлял по загра-

ницам! Сколько денег на это истратил! Он был истинным демократом. И если журнал "Клуб" нападал на журнал "Ревю" за сексуальную инфантильность его редактора, то Нехемия наблюдал за этой борьбой, не моргнув и глазом. И даже когда в том же "Клубе" зава русским отделом Рабочей партии назвали вором, то и тогда Нехемия не позволил себе вмешаться, а только шутливо заметил: "Ребята, конечно, озорничают, но что поделаешь , — демократия. Побалуют-побалуют — и перестанут."

Что же до новых изданий, то я сам из его уст слышал: "Пусть расцветают все цветы", что и подвигнуло меня на очередную встречу с ним в его офисе. Это было как раз в дни заговора нового журнала против "Сиона", но на лице Нехемии не было и тени озабоченности. Наоборот, во всем его облике ощущался подъем, как будто вот-вот предстояло ему осуществить небывало благородное дело.

— А, Виктор, здравствуйте! Как дела? Как жена? Как дочь?

Он встретил меня, поднявшись из-за стола, и, когда я заговорил о трудном экономическом положении журнала, он понимающе оглядел меня из-под своего огромного умного лба, точно так же,как тогда, в Вене, когда воскликнул: "Скажите, Виктор, ну как там ребята?" (Вот-вот припадет к моему уху и заговорщически прошепчет: "Виктор, учите иврит!")

Но я уже выучил иврит. И он продолжает смотреть на меня все теми же отцовскими глазами:

— Ах, Виктор! Как хорошо я вас понимаю! И скажу вам больше — я с интересом читаю каждый номер журнала "Время и мы". Но если б он был один, если бы, дорогой Виктор! А то ведь посмотрите: и "Сион", и "Менора", и "Возрожденние", и — вы, наверное, слышали — ребята еще один журнал затеяли. И я не могу остаться равнодушным, нет, нет, пусть расцветают все цветы! А "Время и мы" — хороший журнал, вон у меня на полке — все номера, но только, как бы вам это объяснить...

— Без своего лица? — пытаюсь я ему помочь.

— Ну зачем же так грубо?

— Вы хотите сказать — лицо есть, но расплывчатое?

— Вот это уже ближе к истине. Ну как вам все это объяснить? Хорошо. Разрешите вопрос: от сердца к сердцу, как еврей еврею. Что хочет журнал "Время и мы"? Что хочет "Сион"? — понятно. Что хочет "Возрождение"? — понятно. Это хорошие еврейские журналы. Но что хотите вы?

— А что, Нехемия, хочет новый журнал, — спрашиваю я, — если вы ему так помогаете? Им — да, а нам — нет!

Последнее он словно не слышит, бросает на меня быстрый взгляд и долго смеется, обнажив два ряда крепких острых зубов.

— Что хочет новый журнал? Это вы меня спрашиваете, Виктор? Спросите их! Может быть, они хотят конкурировать с вами? — снова смеется он. — Ох, ребята, ребята, что мне с вами делать! — весело машет он мне рукой, когда я уже у двери. Я тоже помахал ему, не подозревая, что вижу Нехемию последний раз.

Нет, нет, он не ушел в лучший мир. Не дай Бог! И не подал в отставку. Это произойдет много позже. Мне просто не удалось больше связаться с ним по телефону.

Я набирал его номер. Трубку брала секретарша Рахель.

— Кен!

— Шолом, Рахель! — приветствовал я ее и спрашивал, могу ли поговорить с Нехемией.

Рахель просила минуту подождать. Выяснялось, что у Нехемии совещание и он просит позвонить меня завтра. Назавтра он обязательно куда-нибудь уезжал — или за границу, или в Иерусалим, или к себе в кибуц. Я звонил в понедельник. Но Нехемии снова не было — он просил соединиться с ним в четверг, а в четверг все начиналось сначала.

Но вернемся в редакцию, на улицу Нахмани, 62, где давно уже нет моего зама по адмхозработе Шацмана, а сидит на его месте долговязый и истеричный Миша Гилельс. Чтобы не было путаницы, сразу же поясню, что к великому музыканту он отношения не имеет, а является бывшим редактором треста Союзторгреклама (что располагался на улице Горького), а ныне — заведующим рассылкой журнала "Время и мы".

Среди старых знакомых мы видим на сцене толстушку

Верочку. У Верочки новость. Она в положении. Но от этого она совсем не подобрела к сильному полу. Напротив, "интересное положение" сделало ее почему-то матерщинницей. Правда, матерщинницей-интеллигенткой, ибо в своем мате она ограничивается исключительно начальными буквами.

— Знаете что, Миша, — откровенничает она теперь во время обеда с зав.рассылкой, — будь моя воля, я бы всех мужчин послала на х...

— Что значит "на х..." — когда вся жизнь — фекалии?

— Послушайте, Миша, — вспыхивает Верочка. — Прошу при мне не выражаться!

— А что я — неправ? — не может успокоиться Миша. — Да вот спросим нашего администратора, как я жил в Москве? Как неаполитанский король! Старший редактор Союзторгрекламы! Зарплата! В кармане — корочки! А кто я здесь? Кто? Ну вот вы скажите, Рафа? — обращается он к новому администратору Рафаилу Хазину.

Последний его не слушает. Он с раннего утра пытается соединиться с канцелярией главы правительства Менахема Бегина. Оттуда его посылают в секретариат Шлемы Розе. От Шлемы Розе — куда-то еще, что Рафу явно не устраивает. Он одержим идеей пробить для журнала грант, для начала миллион триста тысяч и получить согласно нашему с ним договору десять процентов отчислений. Рафа считает, что у него есть два главных качества прирожденного бизнесмена: с одной стороны, страстное горячее сердце, с другой — в его жилах течет холодная рыбья кровь.

— Я, Витя, одним только взглядом своих свинцовых глаз могу уложить любого из них, — не без гордости заявляет Рафа.

В баталиях за грант он сражается как лев, но в ходе борьбы столкнулся с неожиданной трудностью — Оказалось невозможным соединиться не только с Менахемом Бегиным и Шлемой Розе, но даже с Арончиком Параном. Все его ходатайства спускались к одному единственному лицу — Моше Шварцману, от которого ничего, кроме уже знакомого нам нечленораздельного "ну", добиться нельзя было. А поскольку Рафа не был редактором газеты "Оплот Израиля", то и со Шварцманом отношения у него не сложились.

— Господин Шварцман, — звонил ему администратор журнала "Время и мы", — я к вам насчет гранта нашему изданию.

— Ну? — раздавалось на другом конце провода.

— Мы бы хотели получить следующую сумму — миллион триста тысяч.

— Ну.

— Что "ну"? — ничего не понимает Рафа и бросает трубку.

— Ты знаешь, Витя, по-моему, этот Шварцман шизофреник. Попробуем позвонить Парану.

— Кен! — берет трубку уже знакомая нам Сареле.

Рафа сообщает, что звонит из редакции "Время и мы" по рекомендации Шлемы Розе, насчет гранта.

— Мы грантами не занимаемся. Звоните Моше Шварцману, — отвечает Сареле.

Рафа делает еще пару звонков и говорит, что он желает мне получить не миллион, а три миллиона, но отказывается от своих отчислений в пользу малолетних сирот Израиля. И с завтрашнего дня ищет другую работу.

— А я-то думал, — пропел Миша Гилельс из-за своего стола,-что мы уже около денег.

— А что, Миша, Сильвия вас уже не кормит? — поднимается из-за композера беременная Верочка.

Миша отвечает, что Сильвия — это чистое золото, но у них проблема с регистрацией брака. До сих пор не пришли бумаги из раввината. И далее — уж который раз — следовал рассказ о том, что в раввинате над Мишей нависло самое тяжкое подозрение, которое только могло нависнуть в его ситуации, а именно, что он никакой не Михаил, а Моше Гилельс, и, согласно святым книгам, является коэном. А коэн, как сообщил ему главный раввин отдела бракосочетаний, мог жениться только на девственнице. Мишу эта ситуация настолько озадачила, что он потерял сон. К тому же его мучило, не бросил ли кто анонимку насчет его первой жены Людмилы, с которой он переписывается.

— Очень возможно, Миша, — с олимпийским спокойствием заявляет Рафа. — Говорят, что раввинат получает от олим из СССР до ста анонимок в день.

Да иди ты! — лицо Миши становится белым как бумага. — А я Людке послал только вчера 200 лир.

— Значит, Миша, застукали.

— Что же делать, братцы?

— Ничего, Миша, вы честный мужчина, может, еще обойдется.

Но Миша уже выведен из равновесия. Он нервно бегает из угла в угол и, как всегда в таких случаях, говорит, что зря он тогда в Нагарии эту бодягу не кончил.

Бодягой наш зав.рассылкой называет предпринятую им в ульпане попытку покончить с собой. Хотел ли он действительно свести счеты с жизнью или только припугнуть администрацию, — оставалось загадкой.

Известно лишь, что после того, как его сосед по комнате предотвратил трагедию, Миша дал объявление в румынскую газету, что московский журналист, интеллигент ищет подругу жизни, скромную, обеспеченную, домовитую и желательно знающую идиш и румынский. Это было два иностранных языка, которыми владел наш зав.рассылкой.

Подруга нашлась в первую же неделю.

— И, вы знаете, — продолжал он, — как взглянул на Сильвию, так и влюбился.

По ходу оказалось, что у Сильвии, которая была на семь лет старше нашего зав.рассылкой, не одна, а две квартиры. Чтобы не упустить шанс, он тотчас же отправился с ней в раввинат. А там второй месяц хранили молчание.

— Неужели, братцы, анонимка, — не устает сокрушаться Миша.

— А что же еще? — подбрасывает поленья в огонь Рафа.

— Скажите, Миша, а что, ваша Сильвия красивая? — вылезает с новым вопросом Верочка.

— Она, конечно, не Мерелин Монро, — отвечает Миша. — Но для меня она дороже всякой красавицы.

— Ах, как я вас хорошо, Мишенька, понимаю! — восклицает Верочка.

Но настал день и раввинат проснулся. И Миша явился в белой сорочке и галстуке.

— Не надевал со времен Союзторгрекламы, — сообщил он коллективу редакции. — Ну, теперь, братцы, все. Теперь ты, Гилельс, в дамках. Уезжаем с женой в отпуск, в Соединенные Штаты.

— Не забудьте, Гилельс, вернуться, — говорит Рафа.

И, надо же, как в воду глядел — молодожены-таки забыли вернуться, застряв у дочери Сильвии в штате Айова.

Уехал Миша, оставив такой балаган в картотеке, что новый зав.расссылкой Мордехай Корш при виде этого ужаса, чуть не ушел по собственному желанию. Но не ушел, а стал уже третьим по счету сотрудником на этом горячем участке журнала "Время и мы".

Что касается Гилельса, то он недавно дал о себе знать — прямым звонком на Пятую авеню из далекого штата Айова.

— Ну как жизнь, как дела? — допытывал я своего настрадавшегося в эмиграции сотрудника.

— Да разве это жизнь? Фекалии. Не с кем словом перемолвиться.

Он поинтересовался, нет ли работенки в редакции, может, что-нибудь по рассылке? И спросил, не буду ли я возражать, если он станет собкором журнала по штату Айова.

— Если согласен, высылай удостоверение и жди подписчиков!

Больше никаких сведений от нашего собкора по штату Айова я не имел, и потому снова возвращаюсь в Тель-Авив к творческой жизни редакции, а именно, к нашему критику номер один.

Она сидит в моем кабинете и, стеснительно улыбаясь, нежно сообщает:

— Вы знаете, Виктор, я ухожу. Ребята зовут из нового журнала.

— Что так вдруг?

— Виктор, миленький, не вдруг, а перст судьбы! К тому же зарплата вдвое выше. Вот у меня письмо. Ах, где же оно, неужели посеяла?

Как и Нехемию, нашего критика номер один я больше не видел..

Нет, нет, она не ушла в мир иной, как не ушел туда и Нехемия Просто она больше не появлялась в журнале, хоть и был он мечтой ее жизни, которой обещала отдать все силы.

Но что есть жизнь? Что есть судьба в нашем театре абсурда? Может быть, вы еще о принципах заговорите? О логике? О бойких, необгонимых тройках?

Мчались мы с нашим критиком номер один в одной тройке, а она взяла и перескочила в другую. И помахала пальчиками своей старой мечте и, гордо тряхнув кудряшками, устремилась навстречу новой. И опубликовала письмо, полное гнева и обличений, письмо беглой критикессы, соскочившей с ненавистной пролетки.

На сцене цокот копыт. В ушах невообразимый свист. "Да, постойте же, да поглядите, уж не в Америку ли мчится эта подозрительная птица-тройка? Не затем ли , чтоб "заловить свой шанс" в джунглях свободы?" Это ее голос со страниц конкурирующего издания. Не нужен ей берег турецкий и Африка ей не нужна, не говоря уже о Канаде или США, куда она разослала столько заявлений. Но, так и "не заловив своего шанса", почувствовала, как просыпается в ее душе гордый сионистский дух. Да, да, не нужен ей берег турецкий...

Какое же это, право, удовольствие, гнать вперед бойкую, необгонимую тройку нашей литературы и на всем лету перескакивать с облучка на облучок: "Ты наш Панаев! Ты наш Краевский!" — весело приветствовать вас с одного и, перескочив на другой, с эдакой победной лихостью воскликнуть: "Да он с коммунистом Цирюльниковым якшается! Да он портрет товарища Сталина в туалете бросает! Да это вовсе и не журнал, а чтиво на потребу обывателя!" Вам все понятно, джентльмены? В общем — подписывайтесь на единственный теперь в Израиле литературный журнал "Цвай унд цванцих"!

ПИР ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Дорогие товарищи и господа! Леди и джентльмены! Сегодня в моем доме, в этом маленьком гнездышке на три левеля с бассейном и лифтом, собрались необычные гости, а

лучшие из лучших, гвардейцы эмиграции: врачи и лойеры, дантисты и бизнесмены, президенты и вайс-президенты компаний. И мы с женой Броней счастливы приветствовать вас всех на нашем скромном семейном торжестве. Бронечка, по-моему, на тот край стола не подали хлеб. Подали? Гуд. Все подали? Файн! Так вот, господа, я предлагаю тост за дорогих гостей! За нашу доблестную эмигрантскую гвардию! Ура, джентльмены!

Разрешите, читатель, прервать этот тост и, пока мощное "ура" сотрясает сцену, сделать несколько пояснений. Кое-что вам, наверное, ясно и так. Ну, например, что мы снова перенеслись с моей исторической родины в страну высшей цивилизации. Но на этот раз не в редакцию на Пятой авеню и не в Леонию, где, упершись взглядом в дом моего соседа Винограда, я пишу эту книгу. Нет, джентльмены. На сей раз мы находимся даже не в Нью-Йорке, а на Западном берегу Соединенных Штатов, в гуще эмигрантской общественности, на серебряной свадьбе одного из лучших ее представителей Лени Кауфмана.

Вас, конечно, интересует, с какой целью я сделал этот вираж с улицы Нахмани, 62, где перед вами развертывались такие насыщенные будни нашего издания, в дом к эмигрантскому нуворишу Кауфману. Во-первых, чтобы дать вам немного отдохнуть и расслабиться после пережитого вами напряжения редакционной жизни. Релакс, джентльмены! Релакс! А во-вторых, для того чтобы исследовать вместе с вами обратную связь. Вы же знаете, что делается нашей редакцией и мной как редактором для завоевания сердец читателей. Но, может быть, вам интересно увидеть плоды нашей деятельности, то есть, как эмигрантская общественность относится к журналу "Время и мы"?

Ах, что я вам кручу голову! Какая еще общественность? Просто каждый живой человек способен уставать. Вот и решил я слетать на Западный берег, где круглый год море и солнышко, и круглый год "релакс", как на моей исторической родине.

За ненужностью опускаю авторские ремарки, а именно,

что дом Кауфманов находится в одном из живописнейших районов города, что внизу плещется бассейн, что стол ломится от вин и закусок, что за столом стоит такой шум, что голоса произносящих тосты почти не слышны.

Справа от меня сидит круглый энергичный брюнет с повязанной на шее белоснежной салфеткой и бронзовым лицом древнего римлянина. Подав руку, он представляется: "Миля Файнзильбер, зубной врач". Месяц назад открыл кабинет. Взявшийся быть моим гидом Миля представляет мне соседей слева — чету Соловейчиков: Сему и его супругу Розу.

Сема, или, как все его зовут, Семочка, — полная противоположность моему гиду Миле. В нем нет ничего от древнего римлянина и вообще ничего выдающегося, разве лишь то, что он худ и миниатюрен, как оловянный солдатик, и без конца рвется поднимать тосты. Но его жена Роза, я бы сказал, гренадерша Роза, упорно сковывает его инициативу.

— Сема, ты можешь хоть на минуточку замолкнуть!

Мой гид Миля басит мне в ухо, что Семочка — отличный техник по монтажу, служил вместе с Розой в крупной компании, пока не заели тэксы и они не купили маленькое, на четыре столика, кафе.

— А вон тот, с трубкой во рту, Пищик, — лойер. Между нами, такая бестия, пробы негде ставить. Холостяк. До сих пор живет с мамой.

Он хотел добавить еще что-то, но прямо надо мной раздался голос Семочки:

— Дамы и господа! Могу я сказать пару слов как еврей и бизнесмен?

— Семка, умоляю, сядь! — шепчет Розочка. — Миля, умоляю, ведь сейчас такую херню понесет!

— Нет, Розочка, не херню, как раз нет! Я, господа, хоть и выпил, но хочу предложить очень важный тост.

— Милька, умоляю! Дерни его за жопу, он же еле стоит.

— Нет, Роза, не нужно меня ни за что дергать. Я, если надо, сам кого хочешь дерну. Ну вот, джентльмены, тут есть журналисты, писатели и, если я выпил, то вы меня извините. Но я хочу поднять тост за нашу новую родину. Мы, братцы, эту землю целовать должны!

— Правильно, Семочка! И за товарища Рейгена! Чтобы тэксы уменьшил, — воскликнул мой гид Файнзильбер, а Семочка выразительно вскинул палец:

— Золотые, Миля, слова!

В этом месте, дорогие читатели, я снова прерываю говорящих и, в частности, Сему Соловейчика, чтобы двинуть сюжет дальше, сообразно развитию событий на семейном торжестве Лени и Брони Кауфманов.

Итак, после упоминания имени Рейгена гости один за другим стали подниматься из-за стола. А хозяйка дома Броня Кауфман изо всех сил крикнула:

— Мужики энд бабы! Кто хочет кофе, поднимите левую ногу!

— Я-я-я! — вдруг услышал я знакомый хрипловатый басок и увидел, как на противоположном конце стола действительно задрала ногу высоченная девица, чье лицо мне было страшно знакомо. Господи! Кого я уж действительно не ожидал встретить здесь, так это поэтессу, приславшую к нам в редакцию "Поэму желания" и "Венок сонетов". Да, это была она. Жанна, или Жанет, как ее здесь звали.

— Я-я-я-! Хочу кофе, — пробасила она, еще выше задрав ногу.

— А я, Броня, еще выпить хочу, — неожиданно заявил Семочка. — Розка, отпусти пиджак; Я ведь и двинуть могу!

— А вы надолго в наши края, господин Перельман? — поднялся вместе со мной из-за стола Миля Файнзильбер. — Очень, очень приятно.... — И вдруг, увидев приближавшуюся к нам поэтессу, спросил — Вы с нашей Жанет не знакомы? Между прочим, большая дебилка. Никогда не даст поговорить. Если б вы знали, как мы читали в Остии "Время и мы"! Как читали! Как сейчас помню, была там статья про Фанни Каплан. Оказывается, в нашего Владимира Ильича и не она стреляла. Господин Перельман, я, конечно, сейчас выпил, но еще с тех пор я хотел вас спросить, кто все-таки стрелял — она или не она? Ой, Господи, опять эта сумасшедшая! Ну что ты, Жанночка хочешь? Что, май дарлинг? Выпить? Закусить?

— Нет, Файнзильбер, не выпить и не закусить. Я другое

думаю: кому бы отдаться? Тебе что ли, или вот Семочке! Ха, а это идея! Ох, простите, вы не господин Перельман? Майн гот, какой сюрпрайз! А я – Жанна, помните? Кстати, у меня для вас кое-что есть. Совершенно новое. "Поэма мук и откровений". Париж готов хоть сейчас печатать, а я им сказала: "Эхо" – это прекрасно. Но на сей раз только "Время и мы"! Господин Перельман, дайте я пожму вашу мужественную руку. Да если хочешь знать, Файнзильбер, "Время и мы" – самый гениальный в мире журнал. А, да что ты понимаешь! Ну ладно, господа, по-моему, меня Пищик ищет. Бай!

– Слава Богу, ушла. Ох, господин Перельман, что делает с людьми эмиграция! Да я сам себя не узнаю. Честное слово, не узнаю! А вы, кажется, в "Литературке" работали? Я слышал, что Чаковский – еврей. Это правда? А какой негодяй! У нас в Пятой зубоврачебной, на Арбате, заведующий тоже еврей был – Нойштадт, похлеще вашего Чаковского. Я ему, главное, говорю: "Ной Соломоныч, мне характеристика для ОВИРа нужна", – так он мне отвечает: "А что я вам могу, Файнзильбер, написать? Что вы сионист? Изменник родины? Так мне скажут, а где вы, Нойштадт, были, если вы такое говно столько лет держали?" В общем, что вам сказать, господин Перельман, столько пришлось пережить, что не приведи Господи. А как у вас бизнес идет? Не очень? Вы меня извините, если я вам откровенно скажу: не хотят люди по-русски читать. Вчерашний день. Хотите, с ходу, идею? Выпускайте журнал по-английски. Да вот про ту же Фаню Каплан, но на английском. О-го-го! А? Как? А вообще-то приезжайте к нам из Израиля почаще. Что? Вы уже не в Израиле? Боже, как бежит время! Семочка, ты слышишь, что "Время и мы" уже не в Израиле!

– Не в Израиле? – часто заморгал Семочка, – а я, если бы не Розка, уже был там. Я вам, господа, скажу прямо: евреи должны жить в Израиле. Но вы бы видели, что она мне устроила в Вене: "Шизоид! От тебя родить можно! Там же война!" Но я ей сказал: "Знаешь что, Роза, этого я тебе никогда не прощу". И не прощу! Она меня знает. А вы, значит, с "Нового русского слова"? – обратился он ко мне.

— Да ты что, Соловейчик, с луны свалился? — прервал его Миля. — Это же редактор журнала "Время и мы". Ты что, не знаешь "Время и мы"?

— Это я-то не знаю "Время и мы"? — в свою очередь возмутился Сема. — Да я получше тебя все знаю! Когда мы с Розкой в компании работали, то все подряд читали. Розка, скажи, сколько мы читали? Теперь, конечно, за день так накувыркаешься. Какое уж тут "Новое русское слово"! А вам, товарищ редактор, я так скажу: давайте побольше для дома, для семьи. И еще юридические консультации: как списывать налоги. Это самый жизненный вопрос в Соединенных Штатах! Вот и Боря Пищик вам подтвердит. О! А он все с Жанночкой, все с Жанночкой! Между прочим, он у нас старый холостяк. Вы не знакомы? Найс интродъюс ю...

— Это, Боря, редактор журнала "Континент". Я им говорю: больше, братцы, давайте юридических консультаций. Вот ты как лойер скажи — прав я или неправ?

— Ну, во-первых, не "Континента", а "Времени и нас", — не спеша набивает трубку Пищик. — Вы знаете, господин Перельман, столько приходит американской периодики, что до русской не доходят руки. Кстати, какова цена подписки? Ах, Боже, неужели забыл чековую книжку? Мне, как вы понимаете, не до этого. Но я хотел бы для мамы выписать. Надеюсь, вы такс-шелтер и подписка списывается с налогов? Что? Нет? Ну если хотите, мы сделаем из вас нон-профит...

Неожиданно на Пищика кто-то сзади прыгнул. Это была Жанет. Из-за своего роста она никак не могла оторвать ног от пола, хотя и пыталась это сделать изо всех сил. Визжала, пока наконец не повисла всей тяжестью на Пищике. И он, весь напрягшись, вскинул Жанет на себя и покорно понес на диван.

На мгновение я остался один. От выпитого шумело в голове. Нет, я не был пьян, но я не был уже и трезв — это был тот самый "релакс", которого мне так не хватало в Нью-Йорке и ради которого я и прилетел на Запад. Постойте, постойте. Как я попал на этот вечер? Кажется, сюда пригласили моего товарища из местной газеты, а он спросил, не хочу ли я встретиться с читателями? Но, как выяснялось, здесь не бы-

ло ни одного моего читателя. И все чудно обходились без журнала "Время и мы". Не становлюсь ли я сам творцом происходящих абсурдов? И не паранойя ли это? Что, у мира нет других забот, кроме как читать и выписывать журнал "Время и мы"?

Когда я выпиваю, то всегда мысль острее, чем обычно. Нужно было как-то менять жизнь. А то ведь недолго и рехнуться. И именно в этот момент чьи-то нежные женские пальцы взяли меня за локоть. Я обернулся. Это была пожилая, полнеющая блондинка, которая своим обликом тотчас испортила впечатление от нежного прикосновения ее пальцев. Ее лицо я где-то видел.

— Адон Перельман! Ах как хорошо, что я вас встретила. Три раза бралась написать письмо и все три раза порвала...

Она говорила полунамеками, и все это было похоже на какой-то дурной роман, пока вдруг не наступила развязка, которая тотчас вывела меня из того неповторимо прекрасного состояния, в которое я только что погрузился. Я понял, что никакого "релакса" не наступит, и журнал со своими проблемами будет преследовать меня, как злой рок, как вот эта романтическая толстуха,

— Скажите, вам нравится здесь? Я просто схожу с ума. А помните, как мы первый раз встретились на улице Нахмани? Адон Перельман, миленький, мы же первые ваши подписчики. Неужели не помните? Гуревичи из Хайфского техниона? Когда вы уехали из Израиля, мы прервали подписку. В знак протеста. И вдруг читаем в "Новом русском слове" — "Время и мы", годовая подписка 43 доллара". Я тут же сказала мужу: "Мы должны подписаться!" Но, с другой стороны, адон Перельман, мы же вас осудили... А за что осудили? Между нами говоря, нас в технионе теперь тоже осудили. Так в моей голове все перепуталось, что я просто не знаю, что вам сказать. Адон Перельман, а можно я прямо сейчас подпишусь?

Мадам Гуревич вручила мне чек на пятьдесят долларов, то есть с экономической поддержкой редакции. И я почти влюбленным взглядом провожал ее удалявшуюся располневшую фигуру. Нет, мне никуда не уйти от своего рока, но, может

быть, это и неплохо, если человек и его рок так по-братски верны друг другу.

— Дамы энд господа! Кто хочет мороженое? — Это хозяйка дома Броня обращается в очередной раз к гостям.

— Я-я-я! — снова вскидывает ногу Жанет и, потеряв равновесие, чуть не валится на пол. — У, бле, теперь, кажется, и я упилась.

Она разглядывает всех сидящих вокруг, пока не встречается взглядом со мной.

— А это кто? Господин Перельман? Хочу вас, мистер Перельман, поблагодарить как поэтесса — от имени всех наших дам. Да если хотите, я хоть сейчас на ваш журнал подпишусь.Пищик, у тебя чек при себе? Выпиши редактору сто долларов на русскую культуру. Что? И у тебя нет? Ну тогда я пошла... Мистер Перельман, здесь просто нет мужчин, — грустно сказала Жанет. И, увидев подплывающий к ней мороженый торт, смахнула его на пол.

— Да на хер мне ваш айс-крим! Мне мужчину дайте! Пищик, где ты? Ах, Боже, я же хотела подписаться на "Время и мы"... Ой, братцы, посмотрите на Семочку! Розка, лук, как твой хазбэнд закимарил посреди зала. Как интересно! Ой, не могу.

— Ну, господин Перельман, как вам все это? — услышал я над своим ухом бас Мили Файнзингера. — А мне, знаете, нравится. Люди много и тяжело пашут. Так, почему им не сделать брейк, маленький релакс? Кстати, как насчет перевода журнала на английский? Это же гениально! Я уже говорил кое с кем. Вы же такс-шелтер. Так что затраты спишем. Что? Вы не такс-шелтер? А вы с Пищиком говорили? О Господи, опять эта поэтесса...

— Господин редактор... — качаясь, поднялась из-за стола Жанет.

Но виновник торжества Леня Кауфман решительно опустил ей руку на плечо, отчего плечо обнажилось, и бретелька поехала вниз, а сама Жанет без сил опустилась на колени к Пищику. Усадив Жанет, Кауфман поднялся, и тоже слегка покачиваясь, сказал:

— Ша! Евреи! На правах хозяина дома вношу предложение спеть. Только вот что?

— Рабинович стрельнул, стрельнул, промахнулся, — неожиданно приоткрыл один глаз, сладко дремавший в кресле Семочка.

— На Деребасовской открылася пивная, там собиралася компания блатная! — вдруг затянула своим низким баском Жанет и снова попыталась подняться из-за стола. И Кауфман, снова положив ей руку на плечо, усадил ее на место.

— Так что будем петь? Конкурс на самую старую советскую песню. А победитель? Постойте, господа, что же получит победитель?

— Победителя я поцелую! — воскликнула Жанет.

— Азохон вэй, большое счастье, —дыхнул мне в ухо Файнзингер и тотчас затянул, — Броня крепка и танки наши быстры...

— И наши люди мужеством полны, — подхватил Кауфман и, потеряв бдительность, не заметил, как Жанет выскользнула из-за стола.

— Последний раз спрашиваю — есть здесь мужчины или нет?

— Есть Жанночка, есть, — хлопнул себя в грудь окончательно проснувшийся Семочка.

— Тогда за мной! — воскликнула она и, выбежав легкой трусцой на балкон, в платье прыгнула в бассейн.

— Да здравствует свобода! Родина или смерть! — устремился вслед за ней в воду Семочка.

За ними Роза, Броня и еще кто-то. Семочка вынырнул первым, забулькал и поднырнул под Жанет.

— Пищик! Ты знаешь, что он со мной делает? Если бы ты знал!

Семочкин крик прервал ее:

— Тону, гвардейцы, спасите, она же утопит меня!..

Я вышел на балкон. Где-то внизу плескалось море, оно мне показалось розовым, над ним было голубое небо, усыпанное звездами, вдоль берега разъезжали роскошные лимузины, а может быть, этого ничего и не было, и просто сейчас, когда я печатаю на машинке, я вижу в окно розовый закат. Розовые краски последнее время почему-то преследуют меня.

— Родина или смерть! — кричит и хрюкает в воде Семочка. — Она же утопит меня! Она же опасная девушка!

...Наутро я летел обратно в Нью-Йорк, отдохнувший и развеявшийся. А вы, джентльмены, отдохнули? Вы развеялись? Это вам не потеть на улице Нахмани, 62 с Шацманом, Виолеттой, композеристкой Верочкой и прочими моими героями. Разве вы не почувствовали, что такое истинный релакс? Только, ради Бога, не умствуйте и не мучьте меня вашими вопросами. Кто я в конце концов вам — Борух Спиноза? Или Сема Житницкий? Или французский раввин дядя Саня? Мне бы со своими справиться. Ну, например, для чего я издаю журнал, который уже давно превратился в мой рок?

В этом подлунном мире есть только одно существо, точно знающее, чего оно хочет. Это мой пес Чарлик, который, разлегшись на деревянном ложе миссис Дарлинг и уткнувшись кожаным носом в окно,тоскует о черемухе, своем незабвенном Хадар-Йосефе.

Впрочем, и мне пора назад, на мою историческую родину, которую я рисую отнюдь не в розовых тонах. За что и подвергаюсь постоянно перекрестному обстрелу: "Кто вы, господин Перельман?" "С кем вы, господин Перельман?" "Кому вы служите?" и прочая и прочая. Ах, как мне хотелось бы иметь розовую родину, с мирном голубым небом, с джентльменами, разъезжающими в черных лимузинах, с соседями, приветствующими меня по утрам: How are you doing? Но что поделаешь, нет у меня такой родины. А та, что есть, окрашена совсем в другой цвет. И тут, джентльмены, самый великий абсурд: окрашенная в Бог весть какой цвет (если бы я знал, в какой?) вместе со всем своим балаганом, со всеми своими шмоками, гениями и членами Кнессета, она продолжает меня притягивать. Только не ловите меня на противоречии и не спрашивайте меня, чем именно притягивает? И отчего я здесь, а не там? И почему пишу так, а не эдак? Я, как и вы, всего-навсего актер известного вам театра, и у меня нет никаких объяснений. И потому я покупаю билет и снова лечу в Тель-Авив, где будет печататься очередной журнал и где столько лет то едва плелась, то мчала меня вперед моя бойкая,необгонимая тройка.

ОБЛАКА ПЛЫВУТ, ОБЛАКА...

Впрочем, это только я пишу о бойких, необхонимых тройках, а на самом деле нет в мире города более медленной езды, чем Тель-Авив. И, как назло, ползет мой "Форд", подобно черепахе, навстречу самому счастливому мгновению моей израильской жизни. Оно должно свершиться на бульваре Гар-Цион, в доме № 84, на четвертом этаже, где уже много лет ведет свой бизнес фирма братьев Шмуелли.

В этом месте расположен промышленный район Тель-Авива, и, хотя, может быть, кто-нибудь и воскликнет: "Азохон вэй этой промышленности!" — я считаю необходимым отметить, что в пяти корпусах здесь размещается около полутора сотен предприятий. Ну а то, что здесь вечный гвалт и не все блестит, как на заводах Форда, так вы меня извините: евреи делают товары, евреи делают деньги и, если при этом говорят немного громче обычного, то это их дело, и не нам с вами их учить. И вообще проблема не в том, что промышленность Гар-Циона еще не достигла вершин цивилизации, а в том, как утром пробиться в этот район через базар Таханы-Мерказит.

Базар Таханы-Мерказит — одно из самых экзотических мест Тель-Авива, и не только потому, что тут расположен единственный в городе кинотеатр порнофильмов. И не потому, что здесь торгуют всем что хотите, но и потому, что ни на одном базаре мира не зазывают так покупателей, как на этом.

Вдоль прилавков стоят маленькие приемники, а продавцы помидор, арбузов, огурцов и прочих овощей и фруктов и не думают расхваливать их, как где-нибудь на Привозе в Одессе или на рынке "Американо" в Риме. Они зазывают покупателей исключительно политическими сенсациями и новостями, о которых только что услышали в последних известиях.

— Помидоры Галиля! Помидоры Галиля! — кричит великан-марокканец и тут же без всякой связи: "Работай (т.е. господа), последняя новость! Шимон Перец попал в автокатастрофу. В Иерусалиме! Чтоб я так жил! Только что передали! Адони, слышал? У Рабина сердечный приступ. Не веришь? Только что передали. От Навона ушла жена...

...Из дома я уезжаю в шесть. Но из-за этого балагана, сквозь который мой "Форд" пробивается все утро, мы прибываем к братьям Шмуелли только к девяти. Мы — это я и новый зав.рассылкой Мордехай Корш.

Корш — полная противоположность паникеру Гилельсу. Он никогда не работал в Союзторгрекламе, не имеет проблем с раввинатом и вообще большую часть времени молчит.

Но вот мы подъезжаем к воротам дома № 84.

— Шмуелли! — кричу я изо всех сил наверх. — Лифт готов?

— Одну минуту, — еще громче кричит мне в ответ Шмуелли.

Я бегу, перескакивая через ступеньки, по лестнице. За мной косолапит маленький Корш, и я наконец вижу тележку, доверху нагруженную свежими журналами. — Братья Шмуелли только что вывезли ее из своей переплетной.

Я хватаю первый, лежащий сверху номер и начинаю судорожно его тискать — все ли страницы, сгибаю во все стороны, — не переломится ли переплет — и листаю в обратном направлении и комкаю, и глажу, и смотрю на свет — счастливейшее из мгновений! Именины сердца! С чем его сравнить? Из чрева матери вылезшее дитя? Творение живописца? Ах, убожество фантазии, способной на одни лишь штампы. Какое еще там творение! Когда одни лишь пот да зной и утопающий в этом вареве Гар-Цион, из чрева которого вылезло божество.

Божество сравнимо лишь с божеством. Это, что родилось сегодня, с тем, что появилось тогда, когда Сема Житницкий выскочил в одних трусах на лестницу и воскликнул: "Женюрка! Вставай! "Время и мы" везут!"

Тогда открылась новая эпоха. Теперь она продолжалась, номер за номером, на бульваре Гар-Цион, в переплетной братьев Шмуелли, обладающих поразительной способностью — привносить прозу жизни в самые божественные минуты.

Автоматически выписав и отдав старшему Шмуелли чек, я все еще любуюсь только что рожденным божеством и вдруг чувствую, как кто-то сбоку подкрадывается ко мне и осторожно берет за рукав. Это Шмуелли-младший — Эли.

— Адон Виктор, — говорит он на иврите, протянув широкую, как лопата, руку, — подкинь детишкам на леденцы!

Я достаю молча сто лир и отдаю. Тем временем мальчик-арабчонок, работающий подмастерьем, тянет тележку с журналами к лифту. Мордехай поддерживает ее сбоку. Я иду сзади и чувствую, как снова меня кто-то догоняет. На этот раз Шмуелли-старший — Йорам. Он легонько хлопает меня по плечу:

— Адон Виктор, подкинь мальчику несколько лир.

Мальчик-арабчонок перегружает в машину журналы. Поэтическая часть дня закончена. Мы с Мордехаем везем их на почту.

В отличие от Шварцмана у Мордехая с КГБ-Мизрахи прекрасные отношения, он моментально оформляет все документы, и за какие-нибудь два-три часа мы отправляем журналы подписчикам.

Я уже говорил об особенностях своей памяти — выхватывать из прошлого самое смешное и нелепое и предавать забвению самое существенное. И еще я очень хорошо помню голоса — не музыку, нет — я типичный представитель тех, кому слон наступил на ухо, — но голоса прошлого не смолкают в голове. Сохраняется все, вплоть до мельчайших интонаций. Если бы я вел этот разговор с психиатром, я бы, может, и постеснялся этой откровенности — как бы не за того приняли!

Так вот, дорогой читатель, чьих голосов я только не слышу: моего хозяина Гилдесмана, передающего мне бесконечные приветы, Гриши Шацмана, автора "Лефортовской одиссеи", композеристки Верочки, Семы и Женюрки Житницких, братьев Шмуелли, КГБ-Мизрахи. Но это не все, нет...

На сцене Тель-Авив, улица Нахмани, 62. Редакция журнала "Время и мы". Уже два или три дня, как разослан журнал. В редакции не смолкает телефон. Телефон — это главное средство обмена мнениями между редактором и членами редколлегии. Поразительное дело! — особенно веселы голоса тех, кого давно уже нет — даже здесь судьба не избавляет меня от абсурда — и самый занятный из всех, самый веселый, самый прокуренный и прерываемый одышкой, — это голос Миши Ледера.

Я помню, как шел по Хулонскому кладбищу и нес на носилках его легкое, почти воздушное тело, а сзади шла с

красными от слез глазами его комсомолка-Наташа, как он ее называл. И еще быстро семенил раввин, стирая со лба пот и подметая брюками землю... Все было как будто со мной и не со мной. С ним и не с ним. В этом и не в этом мире. А голос звучит, как сейчас. Он был главным нашим переводчиком и самым активным членом редколлегии, и ни один из них не пришел к нам так, как пришел он.

Я был в библиотеке Тель-авивского университета и вдруг ко мне подлетел человек в клетчатой рубахе и с сигаретой в зубах. У него было красивое лицо с правильными чертами и блестящий серебряный бобрик волос. Я сразу же заметил: он не мог стоять на одном месте и вертелся вокруг меня как юла.

— Вы Перельман? А я, понимаете, Ледер. Моше Ледер. Я тут библиотекарь в периодике. — Он быстро и тяжело дышал. — Давно хотел с вами поговорить. Хотел вас, понимаете, попросить об одном деле. Я ж библиотекарь и карточки делаю. Так через мою голову проходят такие горы материалов — ужас сколько материалов. Вы представить не можете. Страшное дело! Просто голова пухнет! И все уходит, как в прорубь. Я, знаете, пухну от информации. И что с ней делать — шут ее знает. Хотите вам ее буду передавать? Сделайте одолжение! Вы только скажите, что нужно. И я с преогромнейшим удовольствием! — Он закурил и побежал куда-то в сторону. Но тут же вернулся. — Что? Что вы сказали? Гонорар? На кой хрен он мне нужен! Нет, нет! — Снова отбежал он в сторону и снова вернулся. — Мы с Наташкой, моей комсомолкой, зарабатываем — будьте здоровы! Кто такая Наташа? Да жена! Мучает меня страшно: не пей, не кури! Если б она видела, как я тут курю, она б меня убила. Убила бы! Нет, нет, я не шучу. А я, знаете, иногда и рюмочку пропущу... А они там, дома, начинают: "У тебя ж грудная жаба — помрешь". Хотите сигарету? Не курите? И никогда не курили? Ай какой молодец! Хотите я вам завтра что-то принесу? Какой у меня есть материал. Какой материальчик! Но я ни на чем не настаиваю, нет, нет! А материальчик — жемчужина.

Вот так мы и познакомились. Раз в неделю он приезжал на своей старенькой "Пежо" в редакцию на Нахмани. Но сил

подниматься у него уже не было. Поэтому он чаще звонил. Первый звонил после выхода журнала. Мы уже давно были на ты.

— Виктор, сукин сын! Это же, едрить твою мать, какой номер. Просто жемчужина! Черт вас знает, как это вам удается! Борис Хазанов ''Час короля'' — это же клад. А Зиник? Просто дьявол какой-то! Как я себя чувствую? Как сердце? Хорошо, очень хорошо! Вчера врач был. Говорит, нужна операция. Виктор, ну их всех к дьяволу, этих докторов. Да, чуть не забыл. Есть у меня для вас кое-что. Ах, если б вы знали, что! Да, да, Кестлер. ''Иуда на перепутье''. До трех ночи переводил. Вы можете не давать. Нет, нет, смотрите сами. Ой, звонок! По-моему, Наташка, бегу в постель. Бегу, бегу — она ж меня убьет!

А вот Фаня Баазова, дочь знаменитого грузинского раввина Баазова. Вся ее семья расстрелена, осталась только младшая сестра Полина, с которой они и приехали в Израиль.

Нашла ли она здесь то, что искала?

В журнале напечатана ее автобиографическая повесть ''Прокаженные''. И еще два эссе: ''Дело Рокотова'' и ''Кровавая ночь в Тбилиси''.

Фаня – полная противоположность Ледеру. Единственное, что их объединяет, — это то, что ее уже тоже нет. В Хулонской больнице, где я ее последний раз видел, она была без сознания, металась по постели и, по-моему, хотела мне что-то сказать. Что-то очень личное. Но что? Сквозь стоны невозможно было разобрать.

— Виктор, ах, Виктор, Виктор... Что ж это делается?

Вот и все, что осталось от той ночи, после которой она прожила всего одиннадцать дней. Я уже был в Америке и не провожал ее в Хулон. Но голос Фани я так часто слышу — и совсем не похожий на тот, полный ужаса, каким она мне хотела что-то сказать в хулонской больнице.

У нее был множественный инфаркт. Она была приговорена. ''Виктор, ах, Виктор, Виктор''. Но что она хотела мне сказать? Что-то о Грузии? Или об Израиле? Или, может, о театре абсурда, в котором у нее была своя роль? — Приехать в Из-

раиль, чтобы воздать должное семье Баазовых и в муках, еще молодой, раздираемой сомнениями (ох, сколько у нее их было!) умереть в маленькой хулонской больнице.

Если Ледер — бурлящий котел, то кто же тогда Фаня? Ах, оставьте меня с вашими метафорами! И то, что Миша — бурлящий котел, это тоже вы сказали, а не я (если я — то так, по инерции) Вы слышали прокуренный, низкий, восторженный голос Ледера? Вы помните, как он, словно юла, крутился вокруг меня: "Виктор! Это же гениально! Я не шучу, нет, нет! Алеф Бет Иошуа — гений! Не веришь? Ну и иди к черту!" — это Ледер, его голос, он, стоящий передо мной. А про другого — я ничего не говорил...

Фаня Баазова, адвокат, бывший адвокат, выступала по делу Рокотова, она — воплощенное спокойствие: "Граждане судьи, граждане народные заседатели! Вы только что выслушали речь товарища прокурора..." Она говорит на чистом русском языке, но все-таки с акцентом, едва уловимым, особенно, когда волнуется. Я никогда не слышал ее выступлений, но чувствую их интонации и малейшие переливы...

— Виктор, это Фаня Баазова. Ну, как дела, Виктор? Как настроение?

— А, Фаня, здравствуйте. А как у вас? Вы знаете, вышло ваше "Дело Рокотовых".

— Вышло? (Она говорит "вишло", она явно волнуется.) Послушайте, Виктор, что говорят читатели? Нет, слушайте, таких разговоров: "Зачем эта Баазова не за свое дело взялась?" Я же не писатель. Я же адвокат. Слушайте, дорогой, Полина меня замучила: "Когда Виктор с Аллочкой приедут на хачипури?" Я ей говорю: "Слушай, Полина, что у Виктора есть время к тебе ездить?" Что, не права я? Ну, если не права, так приезжайте! Слушайте, Виктор, ей-богу, когда приедете? — Она почему-то снова волнуется. — Посидим, поговорим, обсудим. А?..

И еще один голос — опять же ушедший и словно записанный на барабанную перепонку кочует со мной через все страны и материки.

Впервые я увидел его поющим, сидел он на полу в кварти-

ре режиссера Габая на Аэропортовской. Габая провожали, а он, пьяный и отрешенный, под собственную гитару пел свои песни. Про них и про его поэзию мне бы как литератору писать и писать. Но все тут написано. И лишь голос не дает покоя, голос умершего, а может, убитого поэта, оказавшегося на сцене моего театра. Он без фрака, без гитары, в легкой, наверное, еще из России сетке, облегавшей его волосатую грудь. Из-за хамсина нечем дышать. Исчезла сводящая с ума его поклонников актерская осанка. Стареющий, с тяжелой одышкой еврей, каким и положено ему быть на этои сцене.

— Что будем пить? Коньяк? Водочку? — расхаживает он по своему номеру на шестнадцатом этаже тель-авивской гостиницы "Шератон".

В окне виднеется море, а по другую сторону тянется узкой лентой уже знакомая нам улица Аяркон. Помните, именно здесь начали и бесславно закончили свою деятельность Илюшины партнеры по фирме "Замки Гудзона". И моя сокровенная мечта о союзе замков и литературы так и осталась мечтой.

— Ох, если бы ты знал, — продолжает он, — как неохота в Германию! А если мне остаться в Израиле? Надо с кем-то говорить в Сохнуте? Ты случайно не знаешь, с кем? Но что я буду здесь делать? А что там? А, где, скажи, нам есть, что делать? — В его больших детских глазах просыпается беспомощность, но тут же появляется что-то неуловимо насмешливое. — Я говорил тебе, что пишу для "Времени и нас" "Блошиный рынок" — плутовской роман? Как выпирали из Одессы в Израиль одного еврея. А начинается, знаешь, с чего? Я все помню наизусть: "Во вторник, второго декабря одна тысяча девятьсот семьдесят третьего года, в три часа дня, на улице Малая Арнаутская, у входа в бар "Броненосец Потемкин", остановился Семен Таратута и поднял плакат — кусок обоев в цветочек, на которых с обратной стороны тушью было написано: "Свободу Лапидусу!"

Он замолчал и вдруг предложил:

— Ну давай по рюмочке, за Таратуту, Лапидуса и всех людей доброй воли. Лехайм!

Я посадил его в такси и не успел захлопнуть дверь, как ко

мне приблизился старый еврей весьма странного вида: в джинсах, в голубой ситцевой рубахе, на которую был повязан невообразимой яркости галстук, и в широченном, как аэродром, кепи.

— Я очень извиняюсь, адон, но вы мне не скажете, кто это был? Это тот знаменитый бард, которого мы слышали вчера с Розочкой в Ихал-Атарбут? Так он же аид! Ну, скажите на милость, зачем ему надо было креститься? По-моему, он порядочный человек.

— Понимаете, адони, он же русский поэт, — пытаюсь я ему что-то втолковать.

— Русский? Он такой же русский, как мы с вами. Вы видели, какое у него выражение лица? По-моему, у него нехорошо на душе. Но если это и так, то надо вешать крест? Если вы его увидите, скажите, что ему передавал привет Лапидус, да, да, Моше Лапидус, из Одессы. Только, пожалуйста, без всяких идиотских пышностей. Просто скажите: "Адон Галич, привет вам от Миши Лапидуса из Одессы , нет, нет, из Израиля."

— Так у него же герой Лапидус!

— Ну и что вы хотите заявить? Что я не могу передать привета? У нас на Соборке, каждый третий был Лапидус. Правда, в Израиле оказался только один шлимазл — это я.

Лапидуса я больше не видел. А с Галичем встретился очень скоро. В Париже. На улице. На берегу Сены.

— Ах, если бы ты знал, как я тебе завидую! — Мы не спеша брели по набережной, был май, или, может, конец апреля. Город благоухал. Он был без шляпы, волосы растрепались от ветра. Шел медленно, опираясь на клюку.

— Делаешь журнал — и ни от кого не зависишь и никому не должен, а я должен всем. Сколько у меня долгов! Кстати, "Блошиный рынок" прочел? Ну как? Как Михаил Моисеич Лапидус? Что? Привет от него? От Миши Лапидуса? Где ты его встретил? На улице Аяркон? Я всегда говорил: Лапидусов на земле столько же, сколько Ивановых. А, знаешь, я уже сел за вторую часть. И что там будет? Ленька Брежнев, Тель-Авив, Париж. Что там будет!

Вечером мы сидели в грузинском ресторанчике на краю Парижа. Он тянул коньяк и уж не помню — с гитарой или без нее — едва слышно мурлыкал:

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино,
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило.
Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь на века...

Все в моей жизни связано и все разорвано. В голове опять голоса и какие-то клочья картин, какой-то бред, то ли на Западе, то ли на Ближнем Востоке, на Тахане-Мерказит...

— Адони, адони! Ма, гиштагата? — Ты что, рехнулся?

Я действительно чуть не въехал в прилавок, по дороге от братьев Шмуелли на почту. В машине — только что полученный номер двадцать четыре. Номер открывается траурным портретом Галича и напечатан в нем "Блошиный рынок"... И надо же! Ну совсем как в сказке. Из маленького радиоприемника на иврите вырвался чей-то незнакомый голос: "Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино..."

На почте КГБ-Мизрахи внимательно проверяет журнал.

— А это кто? — подозрительно оглядывает он Галича.

— Это великий русский поэт.

— На еврея похож, — говорит он.

— Нет его больше. Умер, а может, убили.

— Все там будем, — спокойно замечает Мизрахи и ставит штамп "Разрешно к рассылке".

Мысль, как стрелка компаса, вращается вокруг моей собственной жизни во времени и пространстве. Чем ближе старость, тем ярче детство, обретающее вдруг необычную выпуклость, ну как будто бы происходит все сейчас, а то, что сейчас, бессмысленно и абсурдно.

Были у меня три школьных друга, о которых я писал в первой своей книге "Покинутая Россия", — Витя Натансон, Марк, или Мара Шамран и Лева Энтин, учились мы в Петровском переулке, в сто семидесятой школе. И когда собира-

лись у Натансона на вечеринки, то начинали с того, что ставили одну и ту же пластинку: Вертинского "Чужие города". Почему именно ее, я сейчас уже совершенно не помню. Но отчего-то ее любили больше других и особенно ее припев, который Витя Натансон исполнял своим еще не взрослым, ломающимся голосом и выразительно прищелкивал пальцами в такт пластинке: "Тут шумят чужие города и чужая плещется вода, тут живут чужие господа и чужая радость и беда..."

Бесконечно чужими и холодыми, плывущими в далекой туманной дымке, чудились мне эти фантастические города и эти чужие господа. И, уже конечно, где мне было соразмерить их с поджидавшими меня шумными таможнями, с моей исторической родиной, с Рувкой Веритасом, с Семой и Женюркой Житницкими, с моей редакцией на Нахмани, 62 и вот теперь — с миром высшей цивилизации, где среди воротил Уолл-стрита затерялся маленький русский журнал "Время и мы" и где, верно и состоится последний акт моего театра абсурда.

Как вечный жид Агасфер, я бреду по этой земле, меняю страны и миры. Раньше я это делал один, а теперь вместе с журналом. Облака плывут, облака, не спеша плывут, как в кино...

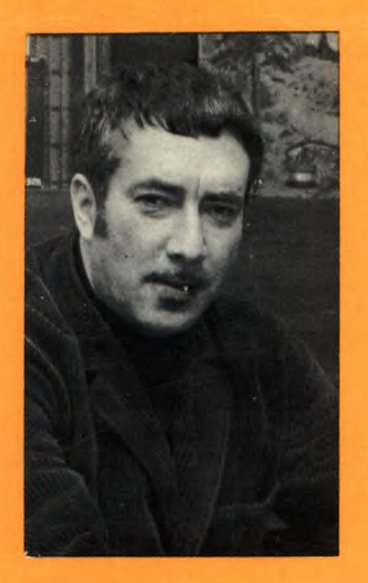
Но ради чего, джентльмены, вся эта смена действий? Хотите получить ответ? Обратитесь к моим доброжелателям. Они-то уж знают про меня все. Даже то, чего не знаю я сам, и все про меня расскажут: как и что я предал забвению, ради того, чтобы "заловить свой шанс" в мире высшей цивилизации, где молочными реками омываются кисельные берега. Помните? "Кто вы, господин Перельман?" "С кем вы, господин Перельман?" "Кому вы сейчас служите?" Боюсь, что все так и останется невыясненным и потому оставляю вам доспорить, где какие жар-птицы, где полнее молочные реки и где прекраснее кисельные берега — там ли, где каждый второй шмок, или гений, или член Кнессета, или там, где каждое утро сосед весело машет вам со своего крыльца: "How are you doing?" и где вы, словно заведенный на всю жизнь автомат, отвечаете: "Fine!"

Я сижу у окна и тихо стучу по клавишам своей "Оптимы".

Мой сосед Виноград только что встал и, прихватив мыло, мочалку и махровое банное полотенце, не спеша отправляется к своей "Субаре". Сегодня суббота, а по субботам, как когда-то бывало у меня в Сундунах, у его "Субары" банный день. Чарлик лежит, уткнувшись кожаным носом в окно, вспоминая свою черемуху, и прямо с кровати миссис Дарлинг изредка бросает в мою сторону преданный собачий взгляд: не подошло ли время гулять? А я печатаю последние строки книги и вижу, как медленно опускается занавес.

Конец первой книги

Нью-Йорк — Тель-Авив. 1983-1984



Виктор Перельман — журналист и писатель, главный редактор журнала "Время и мы". Родился в 1929 году, в Москве. Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты "Труд", заведующим отделом и специальным корреспондентом "Литературной газеты". В 1973 году выехал в Израиль. На Западе выступал в газетах "Нью-Йорк Таймс", "Стампа", "Фиера литтерариа", "Едиот Ахронот", "Давар", "Русская мысль" и других. Автор книги "Покинутая Россия", удостоенной второй премии Иерусалимского университета. В настоящее время живет в США.